НОВЫЙ ЖУРНАЛ

XVII

НЬЮ-ЙОРК

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатель М. ЦЕТЛИН

THE NEW REVIEW

Под редакцией

М. М. КАРПОВИЧА

XVII

6-й год издания

НЬЮ-ИОРК

1947

ОГЛАВЛЕНИЕ

Б. Зайцев — Жуковский 5
Г. Газданов. — Призрак Александра Вольфа. 26
Н. Берберова. — Воскрешение Моцарта 60
Р. Гуль. — Конь рыжий. 83

СТИХИ:

Ю. Балтрушайтиса, В. Ильяшенко, М. Кригер, Т. Тимашевой 140

ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ:

А. Керенский. — Два Октября..... 146
Н. Тимашев. — Обречена-ли Россия?..... 159
Г. Аронсон. — Социализм в наши дни. 167

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

В. Александрова. — Тридцатилетие советской литературы. 180
Г. Струве. — Три судьбы (Блок, Гумилев, Сологуб). 193
С. Яблоновский. — Качалов и Москвин. 212
В. Коварская. — Искусство у индейцев Северной Америки. 220

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ:

М. Вишняк. — Вышинский. 232
М. Шабле. — В доме предварительного заключения НКВД. 253
М. Коряков. — В советском посольстве. 274
С. Мельгунов. — Осада Зимнего Дворца. 290
И. Херасков. — Ленинец середины прошлого столетия..... 311
М. Карпович. — Генерал Деникин. 320
Б. Ижболдин. — Памяти М. В. Бернацкого. 322

БИБЛИОГРАФИЯ :

Д. Федотов-Уайт. — «Крымская война» Е. Тарле. 326
Ю. Денике. — Воспоминания б. Государственного Секретаря Дж. Бэрнса. 335
Н. Тимашев. — Книги о советском воспитании. 339
М. Карпович. — «Русская идея» Н. Бердяева 340
Указатель содержания книг 1—17 «Нового Журнала» 344

ЖУКОВСКИЙ

МИШЕНСКОЕ И ТУЛА

Она берет начало несколько южнее Орла. Худенькая еще в Орле и скромная, скромно восходит прямо на север, к Калуге. Там возрастает Угрой. Медленно, неустанно пронизывает извивами зеркальными Русь через Рязань до Волги — светлая душа страны.

На полпути между Орлом и Калугой протекает через уездный городок Белев. Он небогат, незнатен. Чем ему похвалиться? Собором, острогом, убогой гостиницей да садами над Окой, яблонями и вишнями?

Ничего выдающегося, но хороший край, Окою украшенный. Как бы перепутье между лесами Брянска, Полесьем и хлебно-степными просторами за Орлом, к Ельцу. Ни леса, ни степи. В меру полей, перелесков, лугов, деревень, барских усадеб. Ничего дикого и первобытного. В необъятной России как бы область известной гармонии — те места подмосковья, орловско-тульско-калужские, откуда чуть не вся русская литература и вышла.

А всего в трех верстах от Белева, в том же соседстве Оки неторопливо-прозрачной, село Мишенское, в конце XVIII века принадлежавшее Афанасию Ивановичу Бунину, одно из многих его поместий. Все здесь широкого размаха: огромный дом с флигелями, оранжереи, пруды, садки, парк, роща дубовая. Недалеко церковь сельская — как бы своя. Речушка, конечно, в Оку впадающая, вид на далекие, пышные луга. Просторная, бессвязная, во многом бестолковая помещичья жизнь.

Сам Афанасий Иваныч человек добрый и благородный,

Copyright 1927, by "New Review". All rights reserved.

ничего в нем сурового, несмотря на суровое крепостное время. Конечно, все довольно простое: охота, водочка, развлечения деревенские. И слабость явная — по женской части.

Он женат на Марье Григорьевне Безобразовой. Нередкое вообще в русской жизни сочетание, в те времена особенно: мужа неплохого, но распущенного, и женщины несущей бремя, покорно и безответно, «подымающей» дух дома.

Одиннадцать раз рожала Марья Григорьевна, шесть раз за кроткое время пережила горе смерти детей, среди них единственного сына, уже студента Лейпцигского университета. Но остались четыре дочери, в Мишенском и возраставшие: Авдотья, Наталия, Варвара и Екатерина.

Женская половина, конечно, и более просвещенна, и духовно культурнее: без арапников и доезжачих, пейзанок и водочки. Дочерей ведет Марья Григорьевна в религиозном духе и в духе литературной образованности. Сама читает много, но лишь русские альманахи и журналы. (Какие названия! «Приятное и полезное препровождение времени», «Распускающийся цветок», «Ипокрена, или Утехи любословия»). Девицыже насыщаются и французскими: «Новая Элоиза» Руссо, «Адель и Теодора» г-жи Жанлис, и в подобном роде, — чувствительное и романическое. Все с детства говорят по-французски, дом полон гувернанток и учителей. Доносятся иногда звуки и крепостничества — то рекрутский набор, то продажа людей, а то, может, и наказание. Но в те времена все это уживалось. Впрочем, дом Буниных совсем не был суровым. Скорее мирный дом.

Разумеется, сохранились и черты древние: приживалки, бедные родственники, даже домашний шут был у Афанасия Иваныча, Варлашка — смешил во время обеда.

Жил у них в доме небогатый дворянин из Украины, полудруг, полу-служащий, полу-приживал Андрей Григорьевич Жуковский. Скромный человек, богобоязненный, хорошо играл на скрипке, аккомпанировал одной из дочерей, Варваре Афанасьевне, игравшей на фортепьяно и «изрядно» певшей. Был и «управителем» богослужебного пения в доме и церкви. Этот

Андрей Григорьевич оказался не зря в доме Буниных. Да и русской литературе принес смиренный дар свой.

В 1770 году Марья Григорьевна родила младшую дочь Екатерину, а в следующем рекруты уходили из Мишенского на войну с турками. Одному из них сказал на прощанье Афанасий Иваныч полу-в шутку: «Вот, идешь, воевать, турок бить — ты бы мне турчанку с войны привез, да помоложе».

Война оказалась удачная. Все что надо было забрали, что надо — сожгли и разграбили. Взяли город Бендеры. Народу при этом перебили достаточно и воитель из Мишенского ухитрился захватить в плен не одну, а двух турчанок, сестер, вовсе молоденьких: на глазах старшей, Сальхи — а было ей всего шестнадцать лет, убили ее мужа. Фатьме, младшей, едва исполнилось одиннадцать. Воитель сам был собственностью Афанасия Иваныча; турчанки — собственность воителя. Но возвратившись в Мишенское с награбленным, турчанок передал он Афанасию Иванычу. Может быть, тот велел поднести ему чарку водки.

Так в Мишенском появилась Турция. Грабителям предстала она в облике очаровательном и трогательном — Сальхи, молодой вдовы, «прекрасной, ловкой, кроткой, добронравной» и бедной девочки Фатьмы, захиревшей и скоро умершей: Бог знает, что испытала она на войне и в плену.

Сальха-же выжила. Ее сделали няней младших дочерей Бунина, Варвары и Екатерины. Ее странная звезда медленно начала подыматься. Умерла прежняя домоправительница, Сальха заняла ее место — русские девочки госпожи обучили ее русскому языку. Она поселилась отдельно, во флигеле сбоку.

Не в характере Афанасия Иваныча было бы пропустить Сальху такую. Нравился он ей или не нравился, нам неизвестно. Может быть что и нравился. Все равно, если-бы нет, пленница безответна и беззащитна. Но безответной привыкла она быть и на родине, в Бендерах своих, как и все женщины ее народа. Она стала ему близка. Можно думать, что просто даже он полюбил эту милую, молодую, прелестную Сальху. Во всяком

случае так она сделалась ему необходима, что и сам он к ней переехал во флигель.

Времена были не такие, чтобы Марья Григорьевна могла от него уйти. Ей оставалось терпеть. Она и терпела. Сопротивляться могла лишь отчуждением от мужа и холодом, отделением своих детей от отцовского мира. Варе и Кате запретили бывать во флигеле. Сальха появлялась в большом доме только по вызову, принимая хозяйственные распоряжения. Так что жизнь ее, тихая и покорная, полная труда и порядка, шла в этом флигеле незаметно, так бы незаметно и прошла, если-бы . . .

Одна за другой появлялись у ней девочки, ненадолго, и умирали. Их было три. Безвестно родились, ушли безвестно, Но вот 29-го января 1783 года явился на свет Божий мальчик. Этот не умер.

Очевидно по просьбе самого Бунина, Андрей Григорьевич Жуковский в это время в доме у них уже не живший, явился через два дня после рождения младенца к Марье Григорьевне для переговоров: хотел быть восприемником турецкого мальчика, крестной-же матерью предлагал Варю Бунину — ей тогда минуло пятнадцать.

Не так легко было согласиться, но Марья Григорьевна согласилась. И выиграла. Добром, прощением взяла. Жизнь ее была нелегка. Она знала, что такое горе. Последнее, ею испытанное, была смерть единственного сына, студента в Лейпциге. Теперь посылался ей новый сын, плод «греха» и обиды. Каков будет он, разумеется, не могла себе и представить. Но вот зов услыхала. Маленький, новый, полу-пленный, беззащитный человечек . . . Сердце ее дрогнуло и открылось. «Безмолвно усыновила она его в своей душе».

Так все и вышло. Андрей Григорьевич и Варя крестили его. Имя ему нарекли Василий, по-гречески царь. Но по-русски звучит мягко, скорее женственно.

Младенца, явившегося на свет от союза барина русского со своей смиренной турчанкой, записали: Жуковский. Василий Андреич Жуковский.

*
**

Мальчик явился в семью знаком мира. Полюбив его, Марья Григорьевна вполне приняла положение. Афанасий Иванович вернулся в большой дом. Отношения их стали лучше — над чем то поставлен крест. К Сальхе-же Марья Григорьевна и вообще благоволила: подкупал и характер турчанки, и то, что она ведь неправославная, в Турции там у них всюду гаремы, сошлась не по своей воле, покорность и кротость проявляла полнейшую. Теперь-же, когда хозяйка дома приняла сына ее как родного и повела его наравне с собственными детьми, у Сальхи к Марье Григорьевне отношение стало прямо благоговейное. Сальхою, впрочем, она перестала быть: ее окрестили тоже, имя дали Елизавета Дементьевна. Она обратилась просто в ключницу Буниных.

Сыну этой Елизаветы Дементьевны было два года, когда крестная его, Вера Бунина, вышла замуж за Петра Николаевича Юшкова и переехала в Тулу. Там родилась у ней, несколько преждевременно, дочь Анна, девочка слабенькая, едва живая. Ее взяла бабушка Марья Григорьевна в Мишенское. Она оказалась первой подругой детства Васи Жуковского, его «одноколыбельницей», как он потом выражался (маленьким,, он ложился иногда к ней в кроватку, когда она плакала, и успокаивал ее). Другая подруга была Маша Вельяминова, дочь Наталии Афанасьевны Буниной, вышедшей замуж за Вельяминова.

Так среди девочек, в тишине и раздолии барской России, под благословением Оки, начал свою жизнь мальчик Жуковский. Был он характером жив и весел, лицо нежное, темные глаза, темные, хорошо вившиеся от природы волосы, ранняя склонность к мечтательности (несколько и рассеян) — светлое дитя, вызывающее расположение. Царственный оттенок имени его имел характер мирный и возвышенный. Выясниться это могло лишь позже. Про эти-же, младенческие годы его можно сказать, что они шли в воздухе мягкой женственности.

Но вот появляется и «мужественное», тоже довольно рано,

в облике непривлекательном. Первый его учитель, немецкого происхождения, но из Москвы, из портняжного заведения, учит его грамоте. Мальчику шесть лет. Учится он неохотно. Учитель сердится, ставит его на колени (на горох), пускает в ход даже розги. Но Жуковский счастливее в этом Ивана Тургенева, столько в детстве терпевшего от собственной матери: духу Мишенского жестокость несвойственна. И Марья Григорьевна и крестный Жуковский вынести такого обращения с мальчиком не могли. Коль скоро приехал, так-же незамедлительно и отослан Яким Иваныч в портняжную свою мастерскую на Балчуге или в Хамовниках.

Андрей Григорьич пробует сам учить крестника. Нельзя сказать, чтобы удачно. Голова ученика занята другим. Вместо дела рисует он на столе фигуры — с ранних лет в нем сидела страсть к рисованию, прошла через всю жизнь. Вот однажды увидел он в комнате Елизаветы Дементьевны икону Божией Матери Боголюбской. Никого вокруг не было. Он ее срисовал мелом на полу, и повидимому удачно. Сам ушел. А когда горничные явились, то были поражены: крестясь, с молитвою побежали сообщить православной турчанке о чуде. Она спокойно все объяснила — у мальчика руки испачканы были мелом.

Андрей Григорьич очень его полюбил. Очевидно, что обращался не так, как Яким Иваныч. Близость была большая — есть глухое упоминание, что одно время крестник жил даже с ним, отдельно от семьи, «на чердаке во флигеле». Почему вышло это — неясно. А как будто показывает, что несовсем естественно было положение мальчика в семье. Да иначе и быть не могло.

В дальнейшем не видно Андрея Григорьича. Незаметно, бесшумно ушел он из жизни крестника. След-же, конечно, оставил (благотворный).

А вокруг произошли некоторые перемены. Афанасий Иваныч получил место в Туле. Туда переехали всей семьей, Мишенское осталось для лета. На учении мальчика это отозвалось тем,

что его отдали в Туле в пансион Роде, полупансионером. Учился он там неудачно.

Крупнейшим-же событием этого времени оказалась для него смерть Афанасия Иваныча, в марте 1791 года. Не то чтобы любил он его или был близок. Скорее обратно — далек, да и неясно восьмилетнему мальчику кто это, барин не барин, отец не отец — некое неопределенно-высшее существо. Но это была первая встреча со смертью. Встреча торжественная. Духовенство и ризы, погребальные свечи, церковное пение, траур, могила в часовне, стоявшей на месте старой церкви (похоронили в Мишенском, где тогда и жили — весну и лето). А затем постоянные службы заупокойные, куда ежедневно ходил он с «бабушкой» и полу-племянницей, «одноколыбельницей» Аней Юшковой. Церковь сельская чуть не через дорогу (позже он сам и нарисовал ее, рисунок сохранился). Этот храм — первое пристанище души его, начало длинного и не без сложностей духовного пути. А натура видна с первых лет. Ему нравился нежный херувим на царских вратах. После Херувимской, когда врата затворяются, подходил он к ним и целовал херувима в обе щечки. Аня достать не могла — он ее подымал и прикладывал.

Но не вечно-же серьезное и возвышенное. Он ребенок живой, веселый, вокруг него девочки — кроме Ани, Дуня и Маша, Катя Юшковы, сестры Вельяминовы, еще разные по соседству. Жизнь для них в Мишенском очень привольная, много игр и забав. Есть даже и военные, где он командует: ставит сверстниц во фронт, заставляет брать укрепления, сажает под арест (между кресел). Они живут очень дружно со своим «дядюшкой», который им довольно странно приходится, как бы и свой, но и сын турчанки, обратившейся в Елизавету Дементьевну, скромно позвякивающую ключами.

Года два продолжается для него так: летом Мишенское, на зиму опять переезжают в Тулу, опять пансион Роде, теперь уже полный, домой только в субботу.

Но затем и его, и Аню совсем поселяют в тульском доме Юшковых, Марья-же Григорьевна остается с частью внучек и Елизаветой Дементьевной в Мишенском.

*
**

Варвара Афанасьевна Юшкова, «крестная», была милая, образованная женщина, умница и натура поэтическая. Любила и музыку — музыка еще в Мишенском процветала, при Андрее Григорьевиче Жуковском со скрипкою его и хоровым церковным пением.

В Туле размах оказался шире. Варвара Афанасьевна занялась даже городским театром, вводя там усовершенствования, а у себя устраивала литературно-музыкальные вечера.

Литература в доме ее почиталась и сама она была направления передового — сентиментализм только еще появился. На вечерах ее читали новые произведения Карамзина, Дмитриева и других того-же духа. Интересовалась она и текущею литературой альманахов, журналов.

Крестник учился уже не в пансионе Роде, закрывшемся, а в народном тульском училище.

Старший учитель училища этого, Феофилакт Покровский, человек образованный, сам немного писавший (сотрудничал в «Полезном и приятном препровождении времени» под псевдонимом «Философ горы Алаунской»), не приручил мальчика к науке и вообще его не понял. «Я помню», писал старый Жуковский старой Анне Петровне Зонтаг, бывшей Ане Юшковой: «как он запретил мне ходить в училище, но совсем не помню, что было причиною его ко мне неприязни».

Особенного, разумеется, ничего не могло быть. Просто был он ребенок своеобразный, со своими вкусами. А ему вдалбливали нелюбимое (например, математику). Заинтересовать не умели, ничего и не вышло. Училище пришлось бросить.

Но у Юшковых достаточно было гувернанток и учителей. Французский язык знал он с раннего детства, немецкому учился теперь дома, да и еще многому другому.

Главное-же, что было в доме Варвары Афанасьевны, это дух культуры и уважения к искусству. Это скорее доходило до турецкого мальчика, чем математика философа Алаунского. Доходило и что-то в нем возбуждало. Возбуждение с ранних

лет рвалось выразиться. Зимой 1795 года крестнику было всего двенадцать лет. Очевидно, он уже много читал и недетского — сочинил, например, подражая, пьесу «Камилл или освобожденный Рим», которую и поставил сам, к приезду Марьи Григорьевны в гости из Мишенского.

Занятие замечательное. Сам он и автор, режиссер, актер — играет Камилла. Девочки в белых рубашках, с шарфами, лентами, изображают сенаторов в тогах. Место представления — столовая дома Юшковых. Сцена освещена церковными свечками, горят также плошечки из скорлупы грецких орехов с налитым туда воском. Занавес — простыня. Кулисы и декорации — мебель из других комнат. В первом ряду зрителей бабушка Марья Григорьевна, гость почетный, в чепце и наколке. А с непочетных берут при входе по гривеннику на расходы.

Героиню, Олимпию, играла довольно полная тульская девица в белой рубашке поверх розового платья. Красная шаль на голове изображала порфиру. Это была какая-нибудь миловидная и здоровая Anastasie или Eudoxie соседней семьи дворянской, но тут обращалась в царицу. Камилл перед собранием сенаторов дает отчет о своей победе. Приводят Олимпию, раненую, с распущенными волосами. «Познай во мне», говорит она: «Олимпию, Ардейскую царицу, принесшую жизнь в жертву Риму!» «О боги, Олимпия, что сделала ты?» восклицает Камилл. «За Рим вкусила смерть!» И Anastasie падает мертвая.

Так прославили в Туле Рим. Пьеса имела успех шумный. Автор и актеры в восторге. Автор — как и многие авторы молодые — сорвав успех в одной пьесе, решает написать другую. Насколько-же это интереснее, чем зубрить правила арифметики у философа горы Алаунской!

Выбирается произведение, еще более подходящее (по духу чувствительности): простодушный, идиллический роман Бернардена де С.-Пьера «Павел и Виргиния». Драматург двенадцатилетний выкроил из него пьесу «Г-жа де ла Тур». Теперь уже он опытный режиссер, труппа у него закаленная, он гораздо увереннее и крепче. Но театр вещь коварная. Не все

знаешь заранее, подымая занавес — оттого столь и суеверны актеры.

Все вышло не так, как ждали. Возможно, что исполнители не совсем поняли роли и сплоховали в игре. Но решил дело случай, непредусмотренный.

На сцену явился дессерт, изображавший завтрак действующих лиц. Перестаралась-ли Варвара Афанасьевна — был ли дессерт слишком вкусен, обилен? Слишком-ли проголодались все эти Анеты, Машеньки, Anastasies? — Летописец сообщает кратко: «Актеры вышли из ролей и представление расстроилось» — разумеется к ужасу будущего романтика занялись больше дессертом, чем искусством. И насколько «Камилл» прошумел, настолько провалилась «Г-жа де ла Тур». Автор был очень подавлен. Зейдлиц, первый его биограф, трогательный и верный друг, считает, что неуспех этот на домашнем спектакле, казалось бы пустяковый, оставил след в сердце автора навсегда: робость некоторую, неуверенность в себе. С этого раза он всегда отдает сочинения свои сперва на суд сверстниц-девушек («девический ареопаг», будто-бы повлиявший даже на общий склад поэзии его), а потом на суд друзей-профессионалов. Во всяком случае опыт с неудачей был ранний. Разумеется, и плодотворный.

***

Может быть, частию плодотворно было и странное положение его в семье. Пусть наравне с девочками воспитывается и учится, и любит его Марья Григорьевна (полу-матерински), все-таки он не совсем равный. Кто отец его? В очень ранних годах это еще не имеет значения, но вот время идет, он уже автор «Камилла», вопрос должен вставать — и перед ним, и перед девочками. Кто-же этот Вася Жуковский, полу-братец, полу-дядя, и свой, да не очень? В какой-то момент, конечно, все станет ясным. Очень возможно, что в женской половине дома юшковско-бунинского это вызовет даже сочувствие к нему с тенью укора Бунину старому. Все-же отрок, чья мать

турчанка-ключница, хоть и уважаемая, но полу-прислуга, полурабыня, отец-же незаконный — такой ребенок ступенью ниже настоящих барских детей.

В жизненном смысле для молодого Жуковского это было труднее, в нравственном-же полезнее: удаляло от кичливости, высокомерия барства. Скромно пришел в жизнь, скромно ее проходит. В Пушкине, даже в Иване Тургеневе все-же сидит помещик, «дворянин», от которого надо было освобождаться (Пушкина — смерть и страдания ее освобождали). Жуковский сразу явился странником, почти не укорененным в быту крепостничества. Не приходилось ни знатностью, ни богатством гордиться. Он, может быть, первый из «интеллигентов» литературы российской.

Этого интеллигента, однако, в конце 1795 года решила направить Марья Григорьевна по военной части. (Сын он был Елизаветы Дементьевны, а судьбою его распоряжалась «госпожа» — он ее звал всегда: бабушка).

Знакомый майор Постников повез его в Кексгольм, в Финляндию, где стоял Нарвский полк — в нем некогда служил и Афанасий Иванович. Туда был записан Жуковский с самого своего рождения.

Кое какие следы предприятия этого сохранились. Сам Жуковский вспоминал через много лет, как проездом, в Петербурге, видел императрицу Екатерину на великолепном празднике в честь Потемкина. Уцелели и письма его из Кексгольма к матери, простодушно-ребяческие, почтительные и в наивности своей милые. Мать он называет «милостивая государыня, матушка Елизавета Дементьевна», спрашивает о ее здоровьи, говорит о своем («здоров и весел»). Описывает и свою жизнь: «Здесь со многими офицерами свел знакомство и много обязан их ласками». (Дар располагать к себе был щедро ему дан — с ранних лет).

«Всякую субботу я смотрю развод, за которым следую в крепость. В прошедшую субботу, шодши за разводом, на подъемном мосту ветром сорвало с меня шляпу и снесло прямо в воду, потому что крепость окружена водой, однако по дружбе

одного из офицеров ее достали. Еще скажу вам, что я перевожу с немецкого и учусь ружьем».

Подписывается он: «Навсегда ваш послушный сын Васинька».

В другом письме сообщает, что у них был «граф Суворов, которого встречали пушечной пальбой со всех бастионов крепости. Сегодня у нас маскерад, и я также пойду, ежели позволит Дмитрий Гаврилович».

Он родных он вдали, но ему там неплохо. В следующем письме, от января 1796 года, пишет: «У нас здесь, правду сказать, очень весело; в Крещение была у нас Иордань, куда ходили с образами и была пушечная пальба и солдаты палили из ружей . . .». «Всегда ваш послушный сын Васинька».

Правда, что развлечения больше в пальбе, но очевидно драматург и режиссер тульский не очень и требователен, мирже перед ним открывающийся вовсе для него нов.

Войти в этот военный мир ему не предстояло. Екатерина умерла, на престол взошел Павел и отменил прием в войска малолетних. Постников отвез «Васиньку» обратно в Тулу. Ему надлежало учиться другому — не ружейным приемам, и не арифметике философа Алаунского.

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПАНСИОН

В 1779 году поэт Херасков, тогда куратор Университета Московского, основал при нем Благородный Пансион — нечто вроде гимназии и лицея, исключительно для дворянских детей. К концу XVIII века, после некоторых перемещений, Пансион обосновался между Тверской и Большою Никитской, в приходе церкви Успения на Овражке, в доме Шаблыкина. Главный вход с Вражского переулка (позже Газетного). Во дворе особняк, а у входа небольшой белый флигель — квартира инспектора. Очевидно, свой сад, целая усадьба. В особняке жили, учились, воспитывались юные дети дворян российских.

Заведение было особенное, в своем роде единственное. Им управляли «директор Университета» Тургенев и инспектор

Прокопович-Антонский, люди культурнейшие, настроения возвышенного. Они ставили себе целью не только обучить, но и воспитать, просветить душевно. Где-то на горизонте тень знаменитого Новикова, мистика, масона, узника Шлиссельбургского, просветителя и «друга человечества».

Удивительно обучение этого Пансиона: в шести классах преподавали тридцать шесть предметов. От математики до мифологии, от Закона Божия до наук военных. Но главное — литература, история, знание языков. Были уроки и искусств: музыки, живописи. Особенное внимание обращено на языки — русский в первую голову и живые иностранные. На них ученики обязаны были даже говорить в самом Пансионе.

Для многопредметности поправка была такая, что не все обязательно. Учащиеся, по своим склонностям, выбирали группу знаний. Над всем-же — дух воспитания и просвещения нравственно-религиозного. Он живым было потому, что живые люди вели дело. В Италии XV века Витторино да Фельтре, известный педагог, создал свою Casa gioiosa, учебное заведение проникнутое гуманностью и свободой — оно воспитало ряд людей замечательных и знаменитых, оставило в Возрождении светлый след. Московский Пансион, хоть и иного оттенка, имел с ним общее. И знаменитостей выпустил тоже немало, среди них: Жуковский, Лермонтов, Грибоедов.

Для Жуковского вышло отлично, что судьбой его распорядилась не мать, а «бабушка». Эта бабушка у смертного ложа Афанасия Ивановича обещала никогда не расставаться с Елизаветой Дементьевной, а «Васеньку» вести как сына.

Обещание выполнила. Заботясь о будущей его независимости, выделила ему из наследства каждой дочери по 2500 рублей, так что к совершеннолетию у него появились, хоть и небольшие, все-же свои средства. Главное-же, ввела в культурный круг того времени. В Благородный Пансион отдавала как бы и в родственное заведение: Юшковы были знакомы с Тургеневым. Конечно, отлично знали характер Пансиона.

Для Жуковского трудно представить себе школу более подходящую. Порядок, спокойствие и размеренность, хорошие

учителя, товарищи любопытные, благочестие, литература и искусства . . . — можно подумать, что прямо готовили будущих писателей.

Некогда Яким Иваныч ставил его на колени за нерадивость, философ горы Алаунской удалил из Народного Училища, но вот теперь все оборачивается по иному. Из тридцати шести предметов выбирает он не математику и фортификацию, а что сердцу ближе («словесное отделение» Пансиона). И преуспевает в высшей степени. Уже через год, на акте 1798 года признан голосом всего класса первым.

Это первенство не было случайным. Оно прочно, ибо связано с натурою его — поэзией.

Прокопович-Антонский, благожелательный масон, в самом рукопожатии с незнакомыми пускавший свою масонскую трель, был первым председателем Общества Любителей Российской Словесности. Для заседаний Общества этого отдавал залу Пансиона, а распорядителями были ученики. Наблюдали за порядком, усаживали гостей, и т. п. Литература взрослых шла сама к ним, ею они дышали, впитывали ее. Среди них самих основалось Собрание воспитанников — литературное общество молодежи. Тут уж они не только слушали, но и выступали сами. На этих собраниях автор «Камилла» заявил себя сразу, и в 1799 году, при первом-же открытом заседании, выбран был председателем, произнес речь. Так до конца председателем и остался.

Собрания эти происходили часто, раз в неделю, а иногда и дважды: значит, интерес был большой. От шести до десяти вечера заседали, читали произведения свои, переводы из иностранных авторов, обсуждали, спорили. Прокопович-Антонский всегда присутствовал. Иногда приглашал и знаменитостей литературы — Карамзина, Дмитриева.

Окончив, ученики шли ужинать — ужин для них подавался отдельно, позже. Разговоры и споры продолжались за ужином, а затем в спальнях. Спать, может быть, и мешали. Но как возбуждали, в высокую сторону, юные души!

Сохранился документ, касающийся жизни юнцов этих.

(Старобельский мещанин Коханов спас в Харькове в мелочной лавке от рук лавочника протокол одного заседания юношеской Академии 18-го мая 1799 года).

«Председатель В. А. Жуковский» (ему шестнадцать лет) открыл заседание речью «О начале общества, распространении просвещения и об обязанностях каждого человека относительно к обществу». Потом читали стихи воспитанника Лихачева: «Ручеек» — передали на отзыв. Жуковский «внес, сверх месячных работ, перевод из Клейста, в стихах», некто Поляков тоже отрывок перевода. Жуковский читает замечания свои на сочичинение секретаря Родзянки: «Нечто о душе». Возникает обмен мнений. С некоторыми замечаниями его соглашаются, с некоторыми нет. А в заключение Александр Тургенев читает «Россу по взятии Измаила».

....«Председатель В. А. Жуковский назначил чередного оратора, чем и кончилось заседание».

⁂

Жуковского времен Пансиона можно представить себе юношей тоненьким, изящным, с вьющимися волосами, очень миловидным и благовоспитанным. Как и все вокруг, а вернее, даже больше товарищей, ведет он жизнь труда. В Пансионе встают в 5 утра, а в 6 уже за повторением уроков, в 7 на молитве и так дальше, классы, занятия весь день с большой точностью, до 9 вечера, когда после ужина и молитвы, предписано «спать ложиться благопристойно, без малейшего шума». Все вообще в Пансионе «благопристойно»; не ссориться, не шуметь, быть вежливым, законопослушным.

Это для него и нетрудно — как раз таков склад его душевный, с добавлением истинной, врожденной скромности.

Не видно, чтобы мечтательность мешала тут занятиям его учебно-литературным: надо думать, что в них было нечто, утолявшее и мечтательность и фантазию — все учение и все выступления в Собрании воспитанников вращались ведь вокруг литературы и искусства.

Как и в Мишенском, находился он здесь в несовсем естественном положении. Товарищи его — вплоть до ближайших

друзей Андрея и Александра Тургенева, принадлежат к крупному русскому барству. Все это — старое дворянство, с вотчинами, крепостными, более чем обеспеченной жизнью. Вопроса материального для юношей этих нет. Предки их давние и всем известные. Жуковский происхождения сомнительного, «усыновленный» мелким дворянином. Платят за учение его Бунина и Юшков; денег карманных у него очень мало. В этом он один из последних в Пансионе. Приходится подрабатывать переводами. Правда, снобизма в заведении не было. И к счастью, жизнь его так сложилась, что внутренней стесненности не оказалось, самолюбие не задето. Не видно, чтоб он страдал от своей относительной бедности и незнатности. Товарищи его любили. Культ дружбы вообще начался для него с этого Пансиона.

Духовная-же его одаренность всеми ценилась и признавалась. Сверстники выбрали его председателем, начальство поручило ему и Костомарову даже некоторое водительство над учениками. Им предписывалось, чтобы они давали вечерние молитвы «лучшим из старшего возраста». Чтобы читались избранные места из Св. Писания и других нравственных книг. Тут-же указывалось: «Утренние и вечерние размышления на каждый день года» протестантского проповедника Штурма, «Книга премудрости и добродетели» Додслея. «Все сие послужит к величайшей вашей пользе, к назиданию вашего сердца».

Жуковский читал, значит, и сам, и другим, мистические толкования Христофора Христиана Штурма, одного из последователей Клопштока. Это — хвалебные гимны Творцу. Величие Бога в природе: гусеница, муравей, «обыденная муха». Жизнь моря, красота лугов, гром, и т. п. — все проявление и обиталище Бога. Книга Додслея также проникнута религиозно-мистическим духом.

Если представить себе общий облик духовный Жуковского, на протяжении всей жизни, то вполне можно думать, что именно эти чтения мистиков, в раннем и нежном возрасте, залегли глубоко, вошли чуть-ли не основным в окончательное сложение его души.

*
**

Наибольшая слава того времени, разумеется, Державин. Подоблачное, поднебесное, откуда громы летят, голос трубный, скорее природно-стихийный, чем человеческий.

Слог крупнозернистый. Все мужественно, прямо, сильно, иногда дико, иногда путано, в общем величественно, масштаба перворазрядного. Легче удивляться ему, чем любить. Для скромного мальчика Жуковского это некоторый Синай, перед которым он благоговеет, чью оду «Бог» переводит на французский язык, к самому-же Синаю относится со священным ужасом. Но это не его мир. Сам он иной закваски. Из другой породы душ. Державинско-екатерининское, век «орлов» и прямолинейного грандиоза (все во внешнем), отходил. Карамзин более выражал эпоху. Карамзин мог сесть вечером на берегу Эльбы под Дрезденом и созерцая заход солнца вдруг от умиления заплакать. Но он выразил в России новый уклон души — на западе проявившийся уже и раньше.

К сердцу, душе человека, мимо громов, побед, государств, космоса — к великому космосу сердца — уклон вглубь. На него юный Жуковский сразу откликнулся. Это свое для него, родное и милое. Державину благоговение, самому жить в воздухе Карамзина, карамзинистов.

Оду «На благоденствие России» он читал в Пансионе в 1797 году — ему было четырнадцать лет. Произведение, разумеется, детское. Внешне — из владений Державина: восхваление Павла, в тоне напряженно-возвышенном. Есть строка, прямо Державина напоминающая («Зиять престали жерла медны»), но пропето все голосом иным, и не в том дело, что голос этот еще слишком юный и неустановившийся, а в том, что выражает он совсем иную душу. Для нее не «жерла» характерны, а

«С улыбкой ангельской, прелестной,
В венце, сплетенном из олив.
Нисшел из горних стран эфира
Сын неба, животворный мир».

Певец, так поющий, никогда по державинскому пути не пойдет.

Рядом, того-же года, мотив и иной, совсем уже духа интимного. По форме — первый намек на летучий, сквозной строй Жуковского взрослого. Это «Майское утро».

Белорумяна
Всходит заря
И разгоняет
Блеском своим
Мрачную тьму
Черные ночи.

Подымается солнце, воздадим хвалу жизни, посмотрим, как бабочки вьются, пчелы летят, все живет и все дышит («да будет» всему творению, как и у Штурма, всегдашнее благословение Жуковского) — но дальше горлица стонет по погибшем друге. Меланхолический звук заканчивает стихотворение:

«Жизнь, друг мой, бездна
«Слез и страданий.
«Счастлив стократ,
«Тот, кто достигнув
«Мирного брега
«Вечным спит сном».

В «Майском утре» этом есть, конечно, Дмитриев, тот известный в свое время сладковато-изящный карамзинист Дмитриев, лирик и баснописец, важный сановник и впоследствии министр, который бывал в Пансионе на Собраниях воспитанников, слушал молодого Жуковского, одобрил его, пригласил к себе и ободрил. Дмитриевский «Стонет сизый голубочек» в Жуковском засел не напрасно, как и все карамзинское. Если это еще подражание, то уже показавшее в полу-ребенке легкого и нежного музыканта слова.

Замечательно, что уже в ранних, ученических стихах Жуковского черты будущего его облика во многом означены. «Добродетель», «К Тибуллу», «К человеку» — стихи несколько более поздние. Во всех них одно: да, мы мгновенны, смертны, «вся наша жизнь лишь только миг», «в тени ветвистых кипарисов брожу средь множества гробов», «Тибулл, все под луною тленно», и т. п. — но над всем высшее и оно побеждает.

Смерть не последнее. Она преодолевается (для Жуковского этого времени) силою нравственной:

«Тогда останутся нетленны
«Одни лишь добрые дела.

И еще позже, в 1800 году:

«Любя добро и мудрость страстно
«Сремясь друзьями миру быть,
«Мы живы в самом гробе будем».

Важно не то, как именно решает юноша мировые вопросы, важно устремление его души: преодоление смерти. Всегда, с ранних лет, при веселом и живом характере, подверженном, однако, приступам меланхолии, ощущал он остро бренность жизни. И всегда жило сознание, что есть нечто сильнее смерти.

⁂

Его первые шаги в литературе не были трудны. Печататься он начал очень рано, с четырнадцати лет, и без усилий. Сохацкий и Подшивалов издавали журнал «Приятное и полезное препровождение времени» — там помещались и лучшие из писаний молодежи Благородного Пансиона. Жуковский, глава и председатель Собрания воспитанников, легко принят был сотрудником.

Правда, в этом было еще нечто детское («Мысли у гробницы» появились с подписью: «Сочинил Благородного Унив. Пансиона воспитанник Вас. Ж.) — все-же начало литературы, открывающаяся дорога. Пансион и в этом ему помогал, да и вообще шаг Марьи Григорьевны, поместившей его сюда, оказался для всей его жизни решающим. Он возрастал в тишине и труде, в воздухе культуры, любви к поэзии. Это было важнейшее, важнее самих наук, усердно им изучавшихся. В Пансионе была своя атмосфера, ею он и напитывался, с ней приезжал летом в Мишенское — там гость и брат дорогой для всей юной женской части населения. Девицы Юшковы и Вельяминовы обожали его — десятилетняя Дуня Юшкова, позже

Киреевская, мать известных славянофилов бр. Киреевских, писала ему в Пансион, называла «Юпитером моего сердца». Приезжая из Москвы, начиненный возвышенностями и прекраснодушием, он читал им и собственные писания, и произведения Фонтенелля, Бернардена де С.-Пьера и другие. Был это, разумеется, для деревни некий духовный пир.

А в Москве сам он, через тот-же Пансион, вошел в общение с замечательными людьми, глубокий след в нем оставившими.

У директора Университета, Ивана Петровича Тургенева бывал запросто, «по воскресеньям приходил читать переведенные украдкою по четыре пьесы вдруг». Это потому вышло, что с сыновьями его, Александром, учившемся в Пансионе в одном с ним классе, и с Андреем, студентом Университета, он вел близкую дружбу. О Тургеневе-же отце сохранились у него воспоминания светлейшие.

Еще гораздо больше значила дружба с Андреем и Александром — это просто часть его внутренней жизни, воспитание лучших, чистейших свойств.

Андрей был старше его, крепче, мужественнее, с характером кипучим, по складу, видимо, поэт. Александр мягче и сентиментальнее, раскидистей и беспорядочней. Андрей более центр кружка молодежи тогдашней, коновод, собственным путем идущий, других за собой увлекающий. Он задает тон, утверждает вкусы литературы. Для Жуковского он на первом месте, Александр на втором. Очень одарен, переменчив, сосредоточиться трудно, нечто от диллетанта в нем, но доброта и очарование огромные. Этот — на всю жизнь, сорок с лишним лет до самой смерти) переписка. Плющ вокруг древа — так вместе и прошли с пансионских времен.

Через тот-же Пансион познакомился он с Карамзиным, к которому благоговение сохранил на всю жизнь. Оттуда-же и знакомство с Дмитриевым — тот выслушивал его стихи, делал замечания благосклонные, поддерживал. Дмитриева называл он впоследствии своим учителем — главнейшим в мастерстве

стиха, а Карамзина «евангелистом» — этот как бы открывал ему самому его душу.

В 1880 году Жуковский блестяще окончил Пансион, имя его было записано на золотую доску. Прокопович-Антонский весьма к нему благоволил: выйдя из Пансиона, Жуковский даже жил у него некоторое время в маленьком флигеле у входа в дом Шаблыкина, что в приходе Успения на Овражке.

Бор. Зайцев.

ПРИЗРАК АЛЕКСАНДРА ВОЛЬФА *)

(Роман)

Я расстался с ней почти на рассвете, — и на следующий день в час пополудни я снова подходил к подъезду ее дома. Я не мог бы объяснить, что именно изменилось за эту ночь, но мне было ясно, что я никогда не видел такими ни rue Octave Feuillet, ни Av. Henri Martin, — ни дом, в котором она жила. Это все, — каменные стены, деревья без листьев, ставни домов и ступени лестниц, все, что я знал так хорошо и так давно, все это теперь приобрело новый, до сих пор не существовавший смысл, так, точно служило декорацией к единственной и, конечно, самой лучшей пьесе, которую могло создать человеческое воображение. Это могло быть похоже на декорацию. Это могло быть похоже еще на нечто вроде зрительной увертюры к начинающейся — и тоже, конечно, самой лучшей, — мелодии, которую из миллионов людей слышал я один, и которая была готова возникнуть в ту минуту, когда передо мной отворится дверь на втором этаже, такая же, как тысячи других дверей, и все таки единственная в мире. Мне казалось тогда, — и весь мой опыт и все, что я знал, видел и понял, и все истории измен, несчастий, драм, и трагическая неверность всего существующего были бессильны что либо нарушить в этом, — мне казалось тогда, что произошло то, чего я так тщетно ждал всю мою жизнь, и чего не мог бы понять ни один человек, кроме меня, потому что никто не прожил именно так, как я, и никто не знал именно того соединения вещей, которое было характерно для моего существования. Мне казалось, что если бы в истории моей жизни нехватало какой нибудь одной подробности, то мое ощущение счастья и мое понимание его не могли

*) См. 16-ю книгу «Нового Журнала».

бы быть такими полными. Мне все казалось одновременно и совершенно несомненным и столь же невероятным. Когда я шел по avenue Victor Hugo, мне вдруг показалось, что всего этого не может быть и я ощутил нечто вроде душевного головокружения, — как будто это была страница из детской книжки о чудесных исчезновениях.

Анни сказала мне, что Madame сейчас выйдет и провела меня в столовую. Небольшой стол был уже накрыт, на нем стояло два прибора и бокалы для вина, — и в одном из них, точно наполняя его невидимой и прозрачной жидкостью, играла световая тоненькая струйка; я вспомнил тогда, что была солнечная, зимняя погода. Я сидел в кресле и курил папиросу. Я заметил, что курю папиросу только в ту минуту, когда упавший пепел обжег мою руку и попал мне в рукав.

Елена Николаевна вошла в комнату за несколько секунд до того, как Анни стала подавать завтрак. Перед этим она только что приняла ванну и не дала себе труда одеться. Она была в купальном халате, волосы ее были зачесаны назад, и это придавало ее лицу особенную четкость очертаний и одновременно с этим, выражение душевной и физической уютности, неожиданное и приятное. Она спросила меня с иронической нежностью в голосе, хорошо ли я спал и есть ли у меня аппетит. Я ответил утвердительно, не сводя с нее глаз. Она тоже изменилась, как все, что я видел вокруг себя, с ее лица исчезло то выражение отчужденности, которое я знал до сих пор. Когда она наклонилась над столом, я увидел крупную родинку под ее правой ключицей, — и по мне сразу прошла теплая волна благодарности и нежности к ней, и тогда я поймал ее остановившийся взгляд.

— О чем ты думаешь? — спросил я.

— О том, что мы с тобой так недавно знакомы и что вот, мне кажется, я никогда не знала никого, кто был бы мне ближе, чем ты.

Потом она прибавила:

— Я не всегда буду говорить тебе такие вещи, так что лучше не привыкай.

Она налила в бокалы вино, — какое то особенное, — душистое и крепкое, и как ни плохо я разбирался в винах, даже я не мог не заметить, что оно, вероятно, очень хорошее, — и сказала:

— За что мы с тобой выпьем?

— За то, чтобы мы не привыкли — сказал я.

Она покачала головой и мы молча выпили. И несмотря на то, что это был, в сущности, обыкновенный завтрак с женщиной, которую я встретил неделю тому назад, и которая вчера стала моей любовницей, и, точно так же, как она не была первой или единственной в моей жизни, так я не был ее первым или единственным любовником; несмотря на то, что внешне во всем этом не было, казалось бы, ничего исключительного или необыкновенного, — это звучало почти торжественно, как слова, которые произносят, может быть один раз в жизни, отправляясь на войну или уезжая навсегда.

После завтрака мы сидели с ней очень долго за кофе. В солнечном свете, проникавшем через окно, вились и исчезали струи папиросного дыма. Она так и осталась в купальном халате, и когда я ей заметил это, она ответила с улыбкой.

— Я никого не жду, мне не для кого одеваться. Что касается тебя, то мне кажется, что ты предпочитаешь меня даже без купального халата, и все вообще так нетрудно предвидеть. Нет, подожди, — сказала она, видя, что я сделал движение, чтобы подняться с кресла. — Подожди, я здесь, я никуда не уйду — и у меня нет желания уходить от тебя. Но я хотела поговорить с тобой. Расскажи мне, как ты жил до сих пор, кого ты любил и как ты был счастлив.

— Я не знаю, с чего начать — сказал я. — Это сложно, долго и противоречиво. Каждое утро, когда я просыпаюсь, я думаю, что именно сегодня по настоящему начинается жизнь, мне кажется, что мне немногим больше шестнадцати лет и что тот человек, который знает столько трагических и печальных вещей, тот, который вчера ночью засыпал на моей кровати, — мне чужд и далек и я не понимаю ни его душевной усталости, ни его огорчений. И каждую ночь, засыпая, я чувствую себя

так, точно я прожил очень долгую жизнь, и все, что я из нее вынес, это отвращение и груз долгих лет. И вот, идет день, и по мере того, как он подходит к концу, эта отрава душевной усталости все глубже и глубже проникает в меня. Но это, конечно, не рассказ о моей жизни. Это я говорю тебе о том, как я себя чувствовал обычно вплоть до того вечера, когда у тебя не оказалось — к счастью — билета на матч.

— Ты сравнительно молод, и совершенно, по моему, здоров — сказала она. — И что бы ты мне ни говорил, я плохо верю в твою душевную усталость. Если бы ты сам мог видеть себя в некоторые минуты, ты бы понял, почему твои слова об усталости звучат так неубедительно.

— Я никогда не говорил, что я могу ощущать душевную усталость по отношению к тебе. И когда я вижу тебя . . .

— То это так, как если бы это было утро?

— То это так, как если бы это было утро.

— Но мы уклоняемся от главного — сказала она. — Где ты родился, где ты рос, куда и почему ты уехал и как твоя фамилия? — потому что до сих пор я знаю только твое имя. Где ты учился и учился ли ты вообще?

— Да, — сказал я. — Вероятно напрасно, но учился я долго и довольно разным вещам.

И я стал рассказывать ей о себе. Мне казалось, что никогда до этого дня моя собственная судьба не была мне так ясна, как теперь. Я нашел в своих воспоминаниях много такого, чего я раньше не замечал, какие то почти лирические вещи — и я только смутно чувствовал, не переставая говорить, что если бы не было Елены Николаевны, я бы, наверное, не сумел обрести их внезапно возникшую силу и свежесть которой, быть может, даже вообще не существовало вне мысли о ней, и вне присутствия рядом со мной этой женщины в купальном халате — с гладко причесанными волосами и далеким взглядом задумчивых глаз.

— Ты меня извинишь, если в моем рассказе не будет строгой хронологической последовательности — сказал я.

Она кивнула головой. Я говорил ей в тот день о многом:

о войне, о России, о путешествиях, о своем детстве. Передо мной возникали самые разные люди, которых я знал, учителя, офицеры, солдаты, чиновники, товарищи, — и целые страны проходили перед моими глазами. Я вспоминал субтропические пейзажи, ровные квадраты коричневой земли, белые узкие дороги и далеко слышный в жарком и неподвижном воздухе скрип бедной деревянной телеги; печальные глаза маленькой и худой, как скелет, коровы, запряженной рядом с ослом в соху, которой греческий крестьянин в темно-сером суконном бурнусе и белой войлочной шляпе, пахал жесткую землю; и то, что в Турции расстояние измеряют временем — до такого то места не столько то километров, а столько то часов ходьбы; ледяные ветры средней России и упругий хруст снега под ногами, потом моря и реки, и диких уток над Дунаем, потом пароходы и поезда — все, через что шло необъяснимое движение моей жизни. Затем я опять вернулся к войне и к этим тысячам трупов, которые я видел — и вдруг вспомнил речь моего учителя русского языка, которую он сказал на выпускном акте:

— Вы начинаете жить и вам придется участвовать в том, что называется борьбой за существование. Грубо говоря, есть три ее вида: борьба на поражение, борьба на уничтожение и борьба на соглашение. Вы молоды и полны сил и вас, конечно, притягивает именно первый вид. Но помните всегда, что самый гуманный и самый выгодный вид, это борьба на соглашение. И если вы из этого сделаете принцип всей вашей жизни, то это будет значить, что та культура, которую мы старались вам передать, не прошла бесследно, что вы стали настоящими гражданами мира и что мы, стало быть, тоже не даром прожили на свете. Потому что, если бы это оказалось иначе, это значило бы, что мы только потеряли время. Мы старые, у нас нет больше сил создавать новую жизнь, у нас остается одна надежда, — это вы.

— Я думаю, что он был прав — сказал я. — Но к сожалению, мы не всегда имели возможность выбирать тот вид борьбы, который мы считали наилучшим.

— Ты сохранил хорошие воспоминания о твоих учителях?

Мы сидели с ней на диване, я обнимал ее правой рукой, и сквозь мохнатый халат я чувствовал теплоту ее тела.

— Нет, далеко не обо всех, — сказал я и улыбнулся; потому что подумал об одном из священников, который преподавал нам Закон Божий уже в старших классах; это был высокий, рассеянный человек в лиловой шелковой рясе. Он говорил скучающим голосом:

— Существует много доказательств бытия Божия. Есть доказательство юридическое, есть доказательство логическое, есть доказательство философское.

Потом он задумался на минуту и прибавил:

— Есть даже доказательство математическое, но я его забыл.

— Где ты поступил в университет? в Париже?

— Да, и это было не так просто.

И я рассказал ей, что мне нужно было получить у бывшего русского консула бумагу, которую мог мне выдать только он, и которая заменяла метрику. Это был маленький, сердитый старичок с огромной седой бородой, который мне сказал:

— Ничего я вам не дам. Откуда я знаю, кто вы такой? Может быть, вы профессиональный преступник, может быть, убийца, может быть бандит. Я вас вижу первый раз в жизни. Кто вас знает в Париже?

— Никто — сказал я. — Здесь у меня есть несколько товарищей, с которыми я учился, но они все такие же, как я, никто из них вам лично неизвестен и ничто вам не мешает предположить, что каждый из них тоже профессиональный преступник и убийца и еще, к тому же, мой сообщник.

— Зачем вам эта бумага?

— Я хотел бы поступить в университет.

— Вы? в университет?

— Да, — если вы все-таки дадите мне эту бумагу.

— Для этого, батюшка надо иметь среднее образование.

— У меня есть аттестат зрелости.

— И по французски знать надо.

— Я знаю.

— Где же вы могли научиться?

— Дома, в России.

— Бог вас знает — сказал он с сомнением, — может быть вы и не бандит, я ведь этого не утверждаю категорически, у меня нет для этого фактических данных. Покажите ка мне ваш аттестат.

Он просмотрел его, потом вдруг спросил:

— Почему средние отметки по алгебре и тригонометрии? а?

— У меня нет склонности к так называемым точным наукам.

— Ну хорошо, дам я вам бумагу. Но смотрите, на вашу ответственность.

— Хорошо — сказал я, — если меня арестуют и посадят в тюрьму, обещаю на вас не ссылаться.

Я смеялся, вспоминая этого старичка и она смеялась вместе со мной, и всей кожей моей руки я чувствовал, как вздрагивало ее тело. Потом она встала, посмотрела на меня, как мне показалось, с упреком, задернула шторы и комната стала темно-серой. И в наступившей тишине до меня только доходила музыка из верхней квартиры, где кто то играл на рояли, очень отчетливо и медленно и было впечатление, что в жидкое стекло падают, одна за другой, огромные звуковые капли.

*
**

Я не мог не заметить, что главным отличительным признаком моего отношения к ней было то, что не существовало, казалось, ни одной минуты, втечение которой я не испытывал бы постоянно обостренного чувства. Если это не было желание ее близости, то это была нежность, если это не была нежность, то это была целая последовательность других чувств или душевных состояний, для определения которых я не знал ни слов, ни возможности найти эти слова. Во всяком случае, ее существованию я был обязан возникновением мира, которого не знал до сих пор. Я не представлял себе, что значит физическая

близость женщины — мне было странно подумать, что я мог бы сравнить это с моими прежними романами. Я знал, что каждая любовь, в сущности, неповторима, но это было очень схематическое и приблизительное утверждение; при сколько нибудь внимательном отношении к этому, сходство всегда можно было найти, неповторимомсть заключалась в некоторых случайных оттенках некоторых случайных интонаций. Теперь это было другое, непохожее на предыдущее и во всем своем душевном опыте я не находил ничего, что напоминало бы мне мое теперешнее состояние. Мне казалось, что после разрушительного усилия этой любви у меня не осталось бы сил ни на какое другое чувство, и я ничто, наверное, не мог бы сравнить с этим нестерпимым воспоминанием. Где бы я ни был и что бы я ни делал, мне было достаточно задуматься на несколько секунд, чтобы передо мной появилось ее лицо с далекими глазами, ее улыбка, в которой было такое наивное бесстыдство, как если бы она стояла совершенно голая. И вместе с тем, несмотря на всю силу моего физического тяготения к ней, это было непохоже на самую бурную страсть, потому что в этом, как мне казалось, всегда проходила струя ледяной чистоты и какой то удивительной и нехарактерной для меня бескорыстности. Я не знал, что был способен к таким чувствам; но я полагаю, что они были возможны только по отношению к ней — и в этом заключалась для меня ее настоящая неповторимость и замечательность.

Как всегда в моей жизни, всякий раз, когда передо мной возникало нечто новое, я не мог сказать, что именно вызвало его из небытия. Думая о том, что, собственно, в Елене Николаевне создавало ее непреодолимую для меня притягательность, я не находил ответа. Я знал женщин, которые были красивее ее, я слышал голоса более мелодичные, чем ее голос; неподвижное ее лицо и унизительно спокойные глаза могли бы, казалось, произвести на меня скорее тягостное впечатление. Она был почти лишена той душевной теплоты, которую я так ценил, в ней почти не было нежности, или, вернее, она проявлялась чрезвычайно редко и всегда как будто нехотя. В ней не

было никакой «очаровательности», это понятие совершенно не подходило к ней. И все таки, именно она была неповторима и замечательна в моем представлении и этого ничто не могло изменить.

Ее нельзя было бы назвать скрытной; но длительное знакомство или тесная душевная близость были необходимы, чтобы узнать, как до сих пор проходила ее жизнь, что она любит, чего она не любит, что ее интересует, что ей кажется ценным в людях, с которыми она сталкивается. Мне очень долго не приходилось слышать от нее каких бы то ни было высказываний, которые бы ее лично характеризовали, хотя я говорил с ней на самые разные темы; она обычно молча слушала или отвечала односложно. За много недель я узнал о ней чуть больше, чем в первые дни. Вместе с тем, у нее не было никаких причин скрывать от меня что бы то ни было, это было просто следствие ее природной сдержанности, которая не могла не казаться мне странной. Когда я ее спрашивал о чем нибудь, она не хотела отвечать и я этому неизменно удивлялся, она замечала:

— Не все ли тебе равно?

Или:

— Какой это может иметь интерес?

А меня интересовало все, что ее касалось и мне хотелось знать, что было с ней до нашей встречи.

Для нее была характерна своеобразная душевная медлительность, не соответствовавшая быстроте и точности ее движений вообще, ее стремительной походке, мгновенности и безошибочности ее физических рефлексов. Только в том, что представляло из себя неопределимое соединение душевного и физического, например, в любви, только в этом нарушалась обычно безупречная гармония ее тела, и в этом случайном несовпадении для нее всегда было нечто почти мучительное То впечатление странной дисгармонии, почти анатомической, которое я заметил в ней в вечер нашей первой встречи, именно, сочетание высокого и очень чисто очерченного лба с этой жадной улыбкой, — не было случайным. В ней был несомнен-

ный разлад между тем, как существовало ее тело и тем, как, вслед за этим упругим существованием, медленно и отставая шла ее душевная жизнь. Если бы это можно было разделить — и забыть об этом — она была бы совершенно счастлива. Любовь к ней требовала постоянного творческого усилия. Она никогда не делала ничего, чтобы произвести то или иное впечатление; она никогда не думала, как подействуют слова, которые она говорит. Она существовала сама по себе, ее чувства к другим были продиктованы или физическим тяготением, столь же несомненным, как желание спать или есть, или каким то душевным движением — похожим на душевные движения большинства людей — с той разницей, что ни в каком случае она не поступала иначе, чем ей хотелось. Желания других играли для нее роль только тогда или только до тех пор, пока совпадали с ее собственными желаниями. Меня поразила чуть ли не с первых же дней ее душевная небрежность, ее безразличие к тому, что о ней подумает ее собеседник. Но она любила, холодной и упорной любовью, опасные и сильные ощущения.

Такова была ее природа — и изменить это, я думаю, было чрезвычайно трудно. И все-таки, по мере того, как проходило время, я начал замечать в ней некоторые проявления человеческой теплоты, она как будто понемногу оттаивала. Я подолгу расспрашивал ее обо всем, она отвечала мне сравнительно редко и сравнительно немногословно. Она рассказала мне, что выросла в Сибири, в глухой провинции, где прожила до пятнадцати лет. Первый город, который она увидела, был Мурманск. У нее не было ни братьев ни сестер, ее родители погибли в море: во время путешествия из России в Швецию их пароход взорвался на плывучей мине. Ей было тогда семнадцать лет, она жила в Мурманске. Вскоре после этого она вышла замуж за американского инженера, того самого, о скоропостижной смерти которого она получила телеграмму в Лондоне, год тому назад. Она объяснила мне, что он понравился ей тогда потому, что у него была седая прядь волос и еще оттого, что он был хорошим лыжником и конькобежцем и очень интересно рассказывал об Америке. Вместе с ним она уехала из России; это

было, приблизительно, в то время, когда, на другом конце этой огромной страны, в томительном безумии гражданской войны, я блуждал по раскаленным южным степям с выжженной травой, под высоко стоявшим солнцем. Она рассказывала о кругосветном плаваньи, о том, как трансатлантический пароход, на котором она ехала, проходил ночью Босфор, потом Мраморное и Эгейское море, как было жарко и как она танцевала фокстрот. Я вспомнил эти ночи и их особенный темный зной и то, как я сидел часами на высоком берегу Дарданельского пролива и смотрел из душной тьмы на эти огни огромных пароходов, проходивших так близко от меня, что я слышал музыку их оркестров и следил за медленно удалявшимися рядами освещенных иллюминаторов, которые, по мере того, как пароход уходил, сливались в одно, сначала сверкающее, потом тускнеющее, и, наконец, туманное световое пятно. Я думаю, что может быть, я видел и ее пароход и следил за ним с тем же жадным и слепым напряжением, в котором я находился тогда, все эти первые годы моего пребывания заграницей.

Она прожила много лет интересной жизни, полной неожиданных событий, путешествий, встреч, нескольких «неизбежных», как она сказала, романов. Она была в Австрии, Швейцарии, Италии, Франции и Америке, в каждой из этих стран она провела довольно много времени. В Англию она приехала впервые два с половиной года тому назад.

— После этого все было просто — сказала она.

— Просто, это значит — Париж, rue Octave Feuillet, матч Джонсон-Дюбуа и так далее? Между прочим, на что ты рассчитывала, не имея входного билета? На барышников?

— На барышников — или на случайность. Как видишь, я не ошиблась.

— Результаты матча превзошли твои ожидания?

— В некоторых отношениях — да.

Чем больше я ее узнавал, тем больше я привыкал к неестественному разделению между душевной и физической жизнью, которое было для нее так характерно. Вероятно, это разделение существовало в ней всегда, но теперь в нем было

нечто почти болезненное и мне неоднократно приходила в голову мысль, что данному периоду ее существования должно было предшествовать какое то потрясение, о котором я ничего не знал, и о котором она, в свою очередь, избегала упоминать. Жизнь с ней заключала в себе два резко различных романа: чувственное сближение, в котором все было вообще естественно, и душевная близость, бесконечно более трудная, более медленная и которой могло совсем не быть. Первоначальное суждение о том, что происходит — у всякого человека, который стал бы ее любовником — неизбежно должно было быть ошибочным; эти ошибки были бы тем более несомненны, что они были бы совершенно естественны. Я неоднократно представлял себе их последовательность. Первая состояла бы в представлении, что то или иное развитие событий зависит от этого человека. На самом деле выбор всегда исходил от нее, и не только выбор, но даже то, трудно уловимое первое движение, которое определяет начало романа и в котором нередко заключено все, что произойдет в дальнейшем. Но эта ее особенность, конечно, не являлась чем то исключительным — в очень многих случаях, как я это всегда знал, и завязка и развязка романа зависели именно от женщины. Вторая ошибка состояла бы в том, что это можно было бы считать чем то окончательным. В действительности это не значило ничего или почти ничего и могло прекратиться в любую минуту, без всякого объяснения и без какой бы то ни было возможности возобновления. И третья, самая главная, — это, что только через много времени и только в случае редкого и счастливого совпадения, начинался наконец настоящий роман, который, — если бы судить по внешним признакам, — давно уже был свершившимся фактом. Я долго искал сравнения, которое могло бы это характеризовать, и все не находил: это, пожалуй, могло бы быть похоже н а прикосновение к холодным губам, которые медленно согреваются и лишь потом приобретают свою утерянную горячую прелесть, — или не приобретают ее вообще и оставляют воспоминание ледяной неудовлетворенности и напрасного сожаления о том, что могло бы быть и чего не было.

Но самым неизменным в отношении к ней было то бессознательное и неизбежное напряжение всех душевных сил, вне которого близость с ней могла быть только случайной и эпизодической. Это вовсе не зависело от ее чрезмерной требовательности, но получалось само собой и даже, казалось бы, помимо ее желания. Во всяком случае, это было так и повидимому не могло быть иначе. И из немногих ее признаний нетрудно было вывести заключение, что так думали, вероятно, все, кто ее близко знал, — с большей или меньшей степенью правильности.

Вспоминая много позже мою встречу с ней и то, как все началось, мне было легче это восстанавливать, закрывая глаза и сознательно и условно исключая из этого содержание нашего первого разговора в кафе, расставание под дождем и вообще вещи, сущность которых укладывалась бы в связный рассказ. Явственнее, чем когда либо в моей жизни, я чувствовал, что все это сводилось к слепому и темному движению, к последовательности зрительных и слуховых впечатлений, одновременно с которыми неудержимо развивалось бессознательное мускульное тяготение. Торс Джонсона, рухнувший Дюбуа, прикосновение моих пальцев к ее руке, когда я помогал ей войти в автомобиль, вообще эта немая мелодия кожи и мышц, это встречный толчок ее тела, в котором она, быть может, даже не успела отдать себе отчет, — именно это было главным и именно это предопределило дальнейшее. Что она знала обо мне в тот туманный февральский вечер, почему после этого она ждала моего телефонного звонка неделю? Когда она в первый раз улыбнулась мне этой своей жадной улыбкой, такой неожиданной, я знал уже, что она будет мне принадлежать, а она это знала раньше, чем я. И, конечно, этому предшествовало крушение всего того мира отвлеченных вещей, который пренебрегал примитивными и чисто физическими понятиями, и где своеобразная философия жизни, построенная на предварительном отказе от преобладающего значения материалистических моментов, была несравненно важнее, чем любые чувственные реакции, — этого мира, который в тот вечер мгновенно

растворился в этом безмолвном мускульном движении. Когда я сказал как то об этом Елене Николаевне, она ответила с улыбкой:

— Может быть потому, что без философии мы бы всетаки прожили, а если бы не было другого, о котором ты говоришь, то человечеству угрожало бы исчезновение, в той или иной форме.

Я нередко чувствовал себя несвободным в ее присутствии, особенно первое время. Я очень скоро убедился, что ее реакции на все происходящее были не такими, как у большинства других женщин. Для того, чтобы ее рассмешить, например, нужны были не те вещи, которые смешили всех; для того, чтобы вызвать в ней проявление какого нибудь чувства, надо было сначала найти для этого особенный путь, непохожий на обычный. И на это сложное перестраивание того эмоционального мира, в котором проходила моя близость с ней, мне понадобилось много времени и много усилий. Но я жил теперь, наконец, настоящей жизнью, которая не состояла наполовину, — как это всегда было до сих пор, — из воспоминаний, сожалений, предчувствий и смутного ожидания.

Мы часто и подолгу гуляли с ней по Парижу; она знала его поверхностно и плохо. Я показывал ей настоящий город, не тот, о котором писалось в иллюстрированных журналах и который был неизменным в представлении иностранцев, приезжающих сюда раз в год на две недели. Я показывал ей нищие рабочие кварталы, провинциальные отдаленные от центра улицы, постройки на окраинах, некоторые набережные, Севастопольский бульвар в четыре часа утра. Я помню, с каким удивлением она смотрела на rue St.-Louis en l'Ile, — и действительно, было трудно себе представить, что в том же городе, где существуют avenues, отходящие от площади Etoile, может находиться этот узкий и темный проход между двумя рядами бесконечно старых домов, пропитанных вековой затхлостью, против которой была бессильна всякая цивилизация. Была уже поздняя весна — и тогда, после долгого холода зимы и всех ее печальных пейзажей, не уезжая никуда, мы увидели другой

Париж: прозрачные ночи, далекое красное зарево над Монмартром, и сплошные каштановые деревья на бульваре Араго, куда мы почему то попадали несколько раз подряд. Я шел, держа ее за талию и она мне сказала ленивым и спокойным голосом, без малейшего оттенка протеста:

— Ну, милый мой, ты ведешь себя совершенно, как апаш.

Иногда, перед возвращением домой, мы заходили в ночное кафе или бар и она удивлялась тому, что, в каком бы районе это ни происходило, я знал в лицо всех гарсонов и всех женщин, сидевших на табуретах у стойки и ожидавших очередного клиента. Она пила только крепкие напитки, у нее была необыкновенная сопротивляемость опьянению, объяснявшаяся, я думаю, долгой тренировкой и пребыванием в англо-саксонских странах. Только выпив довольно значительное количество алкоголя, она становилась не такой, какой бывала обычно, и ее непременно начинало тянуть туда, куда не нужно. — Поедем на Бастилию, в bal musette, я хочу посмотреть на gens du milieu. — Поедем на rue Blondel, в знаменитый публичный дом. — Это неинтересно, Леночка. — А где здесь собираются педерасты? Ты это должен знать, какой же ты журналист, если ты этого не знаешь? Поедем, я тебя прошу, я так люблю педерастов. — Вот мы поедем, и меня ранят ножом, что ты тогда будешь делать? — Не надо настраивать себя на такой напрасно-героический лад, никто тебя не ранит, это вообще плохая литература. Иногда ей приходили в голову совершенно дикие мысли. Я помню, как она однажды расспрашивала меня, где ночью можно купить конфет. Не подозревая ее подлинных намерений, я сказал ей это. Мы были в такси, она велела шоферу ехать туда и вышла из магазина с руками полными мешочков конфет.

— Что ты со всем этим будешь делать?

— Мой милый, — сказала она совершенно несвойственным ей нежным голосом, по которому я услышал, что она была совсем пьяна, — до тех пор это не было внешне заметно. — Я тебя поцелую, я сделаю все, что ты захочешь, но ты должен исполнить мою маленькую просьбу.

— Кажется, дело плохо — сказал я, думая вслух.

— Вот такую маленькую — продолжала она, показывая ноготь своего мизинца. — Ты должен знать, я уверена, что ты знаешь, в каком районе Парижа есть девочки-проститутки от десяти до пятнадцати лет.

— Нет, я не имею об этом представления.

— Ты хочешь, чтобы я расспрашивала шоффера? ты будешь в глупом положении.

— Но зачем тебе эти девочки?

— Я хочу им раздать конфеты. Ты понимаешь, это будет им приятно.

Мне удалось отговорить ее от этого с большим трудом. Но иногда она настаивала так, что мне предоставлялся только выбор — либо удерживать ее силой, либо уступать, и таким образом, мы побывали почти всюду, где ей хотелось, и я заметил, что все эти места ее не очень, в сущности, интересовали. Она просто давала волю какому то своему неожиданному желанию, но как только оно становилось легко исполнимым, оно теряло для нее значительную часть соблазнительности. Она была готова на все ради сильных ощущений. Но сильных ощущений не было, были только — в одном случае, сутенеры в светло серых кепках, относившиеся с почтительной боязнью к полицейским, дежурившим у входа в bal musette; — в другом голые, полноватые женщины с вялыми телами и мертвенно-животной глупостью в глазах, в третьем — подведенные молодые люди с развинченной походкой и каким то необъяснимым налетом душевного сифилиса на лице. И она говорила:

— Ты прав, это скучно.

Она любила очень быструю езду на автомобиле. Когда однажды она попросила меня взять на прокат машину без шоффера, мы поехали за город и я доверчиво дал ей руль, она повела автомобиль с бешеной скоростью и я не был уверен, что из этой прогулки мы вернемся домой, а не в госпиталь. Она прекрасно умела править, но все-таки, на поворотах и перекрестках, мне каждый раз хотелось закрыть глаза и забыть

о том, что происходит. Наконец, после того, как мы чудом, казалось, избежали третьей катастрофы, я ей сказал:

— У нас могло уже быть три столкновения.

Не уменьшая хода, она отняла от руля левую руку, показала мне указательный палец и ответила:

— Одно.

— Почему?

— Потому что после первого столкновения мы бы дальше не поехали, у нас не было бы никаких других возможностей.

Но на обратном пути я категорически отказался пустить ее за руль, и когда мы ехали, она мне сказала:

— Я тебя не понимаю, ты едешь так же быстро, как я, чего же ты боишься? Ты думаешь, что ты правишь лучше меня?

— Нет, — сказал я — я в этом не уверен. Но я знаю дорогу, я знаю, какие перекрестки опасны, какие нет, а ты едешь вслепую.

Она посмотрела на меня со странным выражением глаз и сказала:

— Вслепую? Я думаю, что так интереснее. Вообще все.

В этот период времени мне удалось, наконец, избавиться от случайной и неинтересной работы и я получил заказ на серию статей о литературе. Елена Николаевна пришла ко мне однажды днем, — это был ее первый визит, — без предупреждения — и я очень удивился, отворив дверь на неожиданный звонок и увидев ее.

— Здравствуй, — сказала она, осматривая комнату, в которой я работал, — я хотела застать тебя врасплох и может быть в чьих нибудь объятиях.

Она стояла у полок с книгами, быстро вынимала том за томом и ставила их на место. Потом она вдруг посмотрела на меня остановившимися глазами с таким оттенком выражения, которого я в них никогда еще не видал.

— Что с тобой?

— Ничего, меня просто заинтересовала одна книга. Я все хотела ее прочесть и нигде не могла найти.

— Какая книга?

— «Золотой осел» — быстро сказала она. — Можно его взять почитать?

Меня удивило, что эта книга могла произвести на нее такое впечатление.

— Конечно, — сказал я, — но в ней нет ничего замечательного.

— Мне ее подарил мой муж во время свадебного путешествия, я начала ее читать, и уронила в море. Потом я ее всюду спрашивала, но ее не было. Правда, то был английский перевод, а это русский. Что ты пишешь сейчас?

Я показал ей свою работу, она спросила, может ли она мне помочь.

— Да, конечно, но я боюсь, что тебе будет скучно рыться в книгах и выписывать цитаты.

— Нет, наоборот, это меня интересует.

Она так настаивала, что я согласился. Ее работа заключалась в переписывании и переводе подчеркнутых мной цитат, которые входили в статью, как иллюстрация того или другого литературного положения, которое я развивал. Она это делала так быстро и с такой легкостью, точно занималась этим всю жизнь. Кроме того, она обнаружила познания, которых я в ней не подозревал; она была особенно сильна в английской литературе.

— Откуда это у тебя? — спосил я. — Все путешествия и романы, как ты говоришь, — когда же ты успела все это прочесть?

— Если тебе не помешали статьи о политических мерзавцах или о людях, которые бьют друг друга по физиономии, или о разрезанных на куски женщинах, то почему мне могли помешать мои романы? Многие романы, это быстро: раз-два и готово.

И она смотрела на меня насмешливыми глазами, подняв голову от книги, которую держала.

Она стала приходить ко мне почти каждый день. Когда я как то обнял ее, она отстранила меня и сказала:

— Целоваться мы будем вечером, сейчас надо работать.

Она вносила в это такую серьезность, что мне невольно делалось смешно. Но я не мог не оценить ее помощи; моя работа шла вдвое скорее. Иногда она приходила утром и будила меня, потому что, в силу многолетней привычки, я ложился спать очень поздно и поздно вставал. Был конец мая, уже становилось жарко. Днем я работал с ней, вечером мы обедали вместе, потом чаще всего куда нибудь шли, затем я провожал ее домой и почти всегда оставался у нее и присутствовал при ее вечернем туалете. Когда она выходила из ванной, с побелевшим лицом и побледневшими губами, с которых была снята краска, я снимал с нее халат, укладывал ее в кровать и спрашивал:

— Теперь тебе нужно колыбельную?

Когда потом, расставшись с ней глубокой ночью, я выходил на улицу и отправлялся домой, моя жизнь начинала казаться мне неправдоподобной, я все не мог привыкнуть к тому, что наконец у меня нет никакой трагедии, что я занимаюсь работой, которая меня интересует, что есть женщина, которую я люблю так, как не любил никого — и она не сумасшедшая, не истеричка, и я не должен каждую минуту ждать с ее стороны либо припадка неожиданной страсти, либо приступа непонятной злобы, либо неудержимых и бесполезных слез. Все, из чего до сих пор состояло мое существование, — сожаления, неудовлетворенность, и какая то явная напрасность всего, что я делал, — все это стало казаться мне чрезвычайно далеким и чужим, так, точно я думал о чем то давно прошедшем. И в числе этих исчезающих вещей и слабеющих воспоминаний было воспоминание об Александре Вольфе и его рассказе «Приключение в степи». Его книга попрежнему стояла на моей полке, но я очень давно не раскрывал ее.

*
**

Однажды, войдя в квартиру, — у меня был от нее собственный ключ, — я услышал, что Елена Николаевна поет. Я остановился. Она пела вполголоса какой то испанский романс. Это был один из тех мотивов, которые могли возникнуть только

на юге и возможность возникновения которых нельзя было себе представить вне солнечного света. Эта мелодия непостижимым образом заключала в себе свет, как другие могли бы заключать в себе снег, как некоторые, в которых чувствовалась ночь. Когда я вошел в комнату, она улыбнулась и сказала мне:

— Самое смешное, это, что я никогда не подозревала, что знаю эту песенку. Я ее слышала года четыре тому назад на концерте, потом как то раз в грамофоне — и вот вдруг выяснилось, что я ее помню.

— И, может быть, действительно — сказал я, отвечая, как мне казалось, на ее мысль, — все, в конце концов не так печально и все положительные вещи не всегда и не непременно иллюзорны.

— Ты вообще теплый и мохнатый — сказала она без всякой связи с началом разговора — и когда ты не иронизируешь, то мысли у тебя тоже теплые и мохнатые. И тебе очень мешает способность думать, потому что без нее ты был бы, конечно, счастлив.

Меня больше всего интересовал прежний вопрос о том, что было с ней до ее приезда в Париж. Что именно, какое чувство так надолго застыло в ее глазах и откуда был этот душевный ее холод? Я знал, однако, по длительному опыту, что для меня очарование или притягательность женщины существовали только до тех пор, пока в ней оставалось нечто неизвестное, какое то неведомое пространство, которое давало бы мне возможность — или иллюзию — все вновь и вновь создавать ее образ, представляя ее себе такой, какой я хотел бы ее видеть, и наверное, не такой, какой она была в действительности. Это не доходило до того, что я бы предпочитал ложь или выдумку слишком простой истине, но особенно углубленное знание несло в себе несомненную опасность: к этому не хотелось возвращаться, как к прочитанной и понятой книге. И вместе с тем, желание знать всегда было неотделимо от чувства и никакие доводы не могли это изменить. Вне этой душевной и такой явной опасности жизнь мне показалась бы, наверное, слишком вялой. Я был убежден, что на известный период

существования Елены Николаевны легла какая то тень, и я хотел знать, чьи глаза нашли свое неподвижное отражение в ее глазах, чей холод так глубоко проник в ее тело — и, главное, как и почему это произошло.

Но как ни сильно было мое желание узнать это, я не торопился, я надеялся, что у меня для этого еще будет время. Я впервые почувствовал возможность душевного доверия со стороны Елены Николаевны, когда однажды, сидя рядом со мной на диване, она вдруг положила мне руки на плечо каким то неуверенным и точно непривычным движением, и этот жест, совершенно для нее не характерный, был более показателен, чем любые слова. Я посмотрел на ее лицо; но ее глаза еще не поспевали за ее телом и сохраняли свое спокойное выражение. И я подумал, что она уже не такая, какой была некоторое время тому назад — и может быть, больше никогда не будет такой. Иногда, рассказывая мне некоторые незначительные вещи о том или ином периоде ее жизни, она говорила — «мой тогдашний любовник» или «это был один из моих любовников», и каждый раз я испытывал неприятное ощущение, слыша эти слова именно в ее устах и именно по отношению к ней, хотя я знал, что это не могло быть иначе и что из ее жизни нельзя произвольно исключить ни одного события без того, чтобы после этого она не перестала существовать для меня, так как я ее никогда бы не встретил, если бы у нее было одним любовником больше или меньше. Кроме того, она произносила это слово таким тоном, точно речь шла о каком то неважном и всегда временном служащем.

Мне неоднократно приходилось замечать — с неизменным удивлением — что женщины обычно бывали чрезвычайно откровенны со мной и особенно охотно рассказывали мне свою жизнь. Я слышал множество признаний, иногда такого характера, что мне становилось неловко. Самым небъяснимымы мне казалось то, что к большинству моих собеседниц я не имел, в сущности, никакого отношения, меня с ними связывало простое знакомство. Я неоднократно задавал себе вопрос — чем, собственно говоря, можно было оправдать такие излияния,

которые не имели решительно никакой, ни внешней, ни внутренней причины? Но так как это меня в конце концов не очень интересовало, то я никогда не терял слишком много времени на обсуждение этого. Я только знал, что по отношению ко мне женщины были откровенны и этого для меня было более чем достаточно, потому что иногда мне приходилось попадать из за этого в неловкое положение. Елена Николаевна была в этом смысле исключением. Она, правда, была способна несколько раз повторить «мой бывший любовник», «мой тогдашний любовник», все тем же тоном, каким она сказала бы «моя прачка» или «моя кухарка», — но этим ограничивалась. Очень редко у нее бывали короткие минуты откровенности, тогда она кое что рассказывала и была неожиданно жестока по отношению ко мне — простотой выражений, которые она употребляла, упоминаниями некоторых, слишком реалистических, подобностей, и мне становилось обидно за нее. Но то, о чем она никогда и ни при каких обстоятельствах до сих пор не говорила, была ее душевная жизнь.

Как то раз я сидел у нее вечером; сквозь полузадернутые портьеры с улицы доходил матовый свет круглых фонарей. Над ее диваном горело бра. Я встал и подошел к окну. Небо было звездное и чистое.

— Мне иногда жаль тебя — сказал я. — У меня такое впечатление, что тебя неоднократно обманывали и каждый раз, после того, как ты говорила что либо, о чем лучше было молчать, тебе впоследствии приходилось раскаиваться в этом. Я боюсь, что в числе твоих поклонников были люди, которых нельзя назвать джентльменами — и вот теперь, обжегшись на молоке, ты дуешь на воду.

Я обернулся. Она молчала, у нее было рассеянное и далекое выражение лица.

— А может быть — продолжал я — у тебя нечто вроде душевного пневмоторакса. Но у какого доктора хватило жестокости это сделать?

— Два года тому назад, в Лондоне — сказала она своим

спокойным и ленивым голосом — я познакомилась с одним человеком.

И какая то почти неуловимая ее интонация заставила меня сразу насторожиться. Я продолжал стоять у окна. Мне казалось, что если я подойду к ней или сяду в кресло рядом с диваном или вообще сделаю несколько шагов по комнате, то первое же мое движение вдруг нарушит ее настроение и я так и не узнаю, что она хотела мне сказать. Я даже не повернул головы — и в такой напряженной неподвижности я стал слушать ее рассказ. Она говорила на этот раз с полной и беззащитной откровенностью, — произошло то, чего я так давно и упорно ждал.

Это началось на вечере у ее знакомых. Хозяин дома был человек пятидесяти лет, его жена была на двадцать лет моложе, чем он.

Мне хотелось спросить, какое значение для дальнейшего имеют подробности о возрасте хозяев, но я промолчал.

После очень плотного обеда были импровизированные выступления. Один из гостей недурно пел, другой читал стихи; какая то дама очень мило танцовала. Последним выступал высокий мужчина, который играл на рояли вещи Скрябина. На Елену Николаевну эта музыка произвела крайне тягостное впечатление, которое невольно связывалось с ее исполнителем. Когда, в середине вечера, он пригласил ее танцовать, ей нужно было сделать усилие над собой, чтобы не отказать ему. Но танцовал он прекрасно и оказался, как она сказала, самым занимательным собеседником, какого она когда либо встречала. У него было бледное лицо и очень блестящие глаза. То, что он говорил, было умно и верно и как то всегда попадало в ритм музыки, под которую они танцовали. Этот человек был другом хозяина дома и любовником его жены: Елена Николаевна видела пристальный взгляд ее синих глаз, не покидавший ее партнера все время.

Они говорили об Америке, о Холливуде, об Италии, о Париже, он все это очень хорошо знал, точно прожил всюду целые годы. Он читал все книги, вышедшие за последние годы, в этом у него была исключительная эрудиция; он хорошо знал

музыку и ничего не понимал в живописи. Когда вечер кончился и он подошел к ней попрощаться, она с удивлением в первый раз заметила, что он не слишком молод; в его лице за эти несколько минут произошла, казалось, какая то странная перемена. Но она вспомнила об этом впечатлении только значительно позже.

Прошла неделя, она встретилась с ним — он позвонил ей по телефону — в ресторане, где они ужинали. Он опять был таким же, как в вечер их первого знакомства. Играл оркестр венгерских цыган — с плачущими звуками скрипок, с неизменными и тягостно-соблазнительными удлинениями мелодии, которые внезапно обрывались, и вслед за которыми начинался быстрый ритм, похожий на звуковое изображение скачки лошадей по какой то воображаемой и огромной равнине. Он слушал внимательно и потом сказал:

— В Европе есть только одна страна, где можно понять по настоящему что такое пространство, это Россия. Но вы, может быть, не любите географии, — особенно в ресторане? Вам не кажется, что все происходящее, в сущности, чудесно?

— Я так часто слышала именно эту фразу, что она потеряла для меня убедительность.

— А между тем это имено так, и ваши бедные собеседники были правы.

— Нет ничего скучнее, — иногда, — чем быть правым.

— Конечно. Но если вы дадите себе труд проследить последовательность событий какой нибудь одной человеческой жизни, то вы должны будете согласиться, что это почти всегда чудесно.

— Очень часто это просто неинтересно. И во многих случаях бывает непонятно, зачем, собственно, так ненужно и бессмысленно прожил такой то или такой то человек.

— Я знаю одну биографию—сказал он,—биографию бедного еврейского юноши из Польши, который родился в семье бакалейщика, но мечтал о карьере портного. Он участвовал в войне, был в плену, сражался, был ранен, и после долгих мытарств попал в Англию, где ему удалось стать портным, как он

надеялся на это всегда. Он мечтал об этом в сырых окопах, под звуки стрельбы, в госпитале, в плену. И после того, как он получил свой первый заказ, он заболел воспалением легких и умер через десять дней. Посмотрите — какая исключительная последовательность, какой замечательный конец!

— Вы видите в этом проявление какого то высшего смысла?

Его лицо стало серьезным, блестящие его глаза смотрели на нее чрезвычайно пристально.

— Разве вам это не кажется очевидным? Это был бег к смерти. Он мечтал сделаться портным, как другие мечтают о славе или богатстве. Судьба хранила его, казалось бы, именно для того, чтобы он мог достигнуть этой цели. Он не был убит на фронте, не погиб в плену, не умер от гангрены или заражения крови в госпитале. И, наконец, когда его мечта осуществилась, оказалось, что ее осуществление несло в себе его смерть, к которой он так упорно стремился все время. Всякая жизнь становится ясна, — я хочу сказать, ее движение, ее особенности — только тогда, в последние минуты. Вы знаете персидскую легенду о садовнике и смерти?

— Нет.

— К шаху пришел однажды его садовник, чрезвычайно взволнованный и сказал ему: дай мне самую быструю твою лошадь, я уеду как можно дальше, в Испагань. Только что, работая в саду, я видел свою смерть. Шах дал ему лошадь и садовник ускакал в Испагань. Шах вышел в сад; там стояла смерть. Он сказал ей: зачем ты так испугала моего садовника, зачем ты появилась перед ним? Смерть ответила шаху: я не хотела этого делать. Я была удивлена, увидя твоего садовника здесь. В моей книге написано, что я встречу его сегодня ночью далеко отсюда, в Испагани.

Потом он прибавил:

— Я знаю много случаев, в которых смысл такого движения представляется особенно ясным. Я вам говорил о портном. Вот вам другой пример: русский офицер, участник великой, потом гражданской войны в России. Он провел на передовых

позициях шесть лет. Почти все его товарищи погибли. Он был несколько раз ранен, однажды прополз под обстрелом, с двумя пулями в теле четыре километра. Много раз он спасался от смерти просто чудом. Но он остался жив. Потом война кончилась и он приехал в мирную Грецию, где уже ничто, казалось бы, не могло ему угрожать. Через день после своего приезда он шел ночью по окраине маленького азиатского городка, упал в колодец и утонул. Подумайте, — стоило ли тогда ползти под обстрелом, теряя сознание от слабости, с таким страшным усилием, стоило тратить столько несокрушимого мужества и героизма, чтобы однажды ночью утонуть в колодце, после того, как все опасности остались позади?

— И вы думаете, что смысл всего существующего сводится к этому смертельному фатализму?

— Это не фатализм, это направление жизни, это смысл всякого движения. Вернее, даже не смысл, а значение.

— Вы посвятили повидимому много времени обсуждению этого вопроса. Вам наверное приходилось думать о том, в какой степени ваша собственная жизнь . . .

Он вдруг еще больше побледнел. Скрипки играли с особенной пронзительностью .

— Много лет тому назад — сказал он — я встретил свою смерть, я видел ее так же ясно, как этот персидский садовник. Но в силу необыкновенной случайности она пропустила меня. Ell m'a raté, не знаю, как это сказать иначе. Я был очень молод, я летел ей навстречу сломя голову, но вот, эта случайность, о которой я говорил, спасла меня. Теперь я медленно иду по направлению к ней — и в сущности, я должен быть ей благодарен за то, что она, повидимому, ошиблась страницей, так как это дает мне счастье смотреть в ваши глаза и излагать вам эти полуфилософские обрывки.

— Мне казалось, что все тогда было против меня — сказала Елена Николаевна — вечер, музыка, это лицо с блестящими глазами. Но у меня еще были силы сопротивляться этому. Их, однако, хватило не надолго.

Она встречалась с ним примерно раз в неделю. После пер-

вого свидания в ресторане он на время изменил своей тогдашней, философской, как она сказала, манере, — он говорил о скачках, о фильмах, о книгах, и чем больше она его узнавала, тем очевиднее для нее становилось, что он был головой выше всех, с кем ей до сих пор приходилось встречаться. И все таки, несмотря на умные и верные вещи, несмотря на то, что перед ней открывался целый мир, которого она не знала, — на всем этом был налет холодного и спокойного отчаяния. Она никогда не переставала внутренно сопротивляться этому. Она не могла противопоставить его рассуждениям что то другое, это был бы слишком неравный и заранее проигранный спор. Но все ее существо протестовало против этого, она знала, что это неправильно, или если это правильно, то нужно — и стоит — сделать нечеловеческое усилие, чтобы это сразу забыть и никогда к нему не возвращаться.

— Всякая любовь есть попытка задержать свою судьбу, это наивная иллюзия короткого бессмертия, — сказал он как то. — И, всетаки, это, наверное, лучшее, что нам дано знать. Но и в этом, конечно, легко увидеть медленную работу смерти. "Vouloir nous brule et pouvoir nous détruit"; вы найдете это в «Шагреневой коже» Бальзака.

Она ставила себе вопрос: что давало этому человеку силу жить? То, во что верили другие, для него не существовало; даже самые лучшие, самые прекрасные вещи теряли свою прелесть, как только он касался их. Но его притягательность была непреодолима. Елена Николаевна знала, что это неизбежно и когда она стала его любовницей, ей казалось, что она вспоминает нечто случившееся уже давно. И еще несколько позже она поняла, как этот человек мог существовать и что поддерживало его в этом длительном путешествии навстречу смерти: он был морфиноман. Она однажды спросила его, как могло случиться, что он, с его умом и способностями, он, который был несомненно выше всех, кого она знала, — мог дойти до такого безнадежного состояния?

— Это потому, что я пропустил свою смерть — ответил он.

Ее роман с ним был омрачен еще одним трагическим со-

бытием. Прежняя его любовница, хозяйка того дома, где Елена Николаевна впервые услышала музыку Скрябина, не могла примириться с новым положением. Она писала угрожающие письма, грозила разоблачениями, сторожила часами у подъезда его дома. Это была вздорная женщина, которая, как он выразился, прожила свою жизнь, задумавшись раз навсегда о какой то ерунде, затем влюбилась в него и это заполнило все ее существование. Любил ли ее он? Нет, это было затянувшееся недоразумение. Но кончилось оно трагически: она отравилась, оставив мужу подробное письмо, в котором рассказывала историю своего романа и объясняла, что лишает себя жизни, так как этот человек не хочет больше с ней жить. С наивной жестокостью она прибавила: ты, который меня так любил, ты должен понять, что это такое.

Он пытался приучить Елену Николаевну к морфию, — и в сущности, это было единственное, что ему не удалось. После первого опыта она ощутила, как она сказала, ледяную, непостижимую до тех пор, прозрачность, но потом ей было дурно и она никогда больше не повторяла этой попытки. Во всем остальном она чувствовала, что сдает и, в конце концов, гибнет. То, что она вначале воспринимала, как интересные вещи, как возможность нового постижения мира, стало постепенно казаться ей естественным. То, что она всю жизнь считала важным и существенным, неудержимо и, казалось, безвозвратно, теряло свою ценность. То, что она любила, она переставала любить. Ей казалось, что все увядает и что вот, остается только — время от времени — какая то смертельная восторженность, после которой пустота. Ей казалось, что ее отделяли от встречи с ним уже целые годы утомительной жизни и что в ней не оставалось ничего от прежней Леночки, какой она была как будто бы так недавно. Изменился даже ее характер, ее движения стали медлительнее, ее реакции на происходящее теряли свою силу, словом, все было так, точно она была погружена в глубокий душевный недуг. Она чувствовала, что если это будет еще продолжаться, то кончится небытием или падением в какую то холодную пропасть. Те попытки, которые она де-

лала, чтобы изменить его жизнь, — потому что она несомненно любила его — ни к чему не привели. И та теплота, которая в ней была, постепенно слабела и уходила.

И вот, как у человека, наполовину отравленного газом, и почти теряющего сознание, хватает силы доползти до окна и отворить его, так у нее хватило силы, проснувшись однажды утром, уложить свои вещи и уехать на вокзал, а оттуда в Париж. Но до этого она сделала все, что могла, пытаясь вернуть его к сколько нибудь нормальной жизни. Она рассказала мне о своем последнем разговоре с ним. Это было вечером, в его квартире. Он сидел в кресле, у него было усталое лицо и потухшие глаза. Она сказала ему:

— Все как то так чудовищно в твоей жизни, что у меня опускаются руки. Ты говоришь, что любишь меня?

Он кивнул головой.

— Ты себе представляешь, что у меня может быть ребенок?

— Нет.

— Мне кажется, что я так же имею право быть матерью, как всякая другая женщина.

Он пожал плечами.

— Я могла бы выйти за тебя замуж. Вместе с тем, ясно, что это абсурд. Ни то, ни другое невозможно. Почему? Ты считаешь себя осужденным на смерть. Но мы все осуждены на смерть.

— Иначе.

— Почему?

— Потому что все понимают это только теоретически, а я знаю, что это такое. Почему? не могу объяснить. В некоторых тюрьмах арестантов отпускают в город, под честное слово, на день или на два. Они так же одеты, как все остальные, так же могут обедать в ресторане или сидеть в театре. Но они все-таки непохожи на других — не так ли? Меня отпустили на некоторое время; я не могу ни думать, ни жить так, как все, потому что я знаю, что меня ждут.

— Это одна из форм сумасшествия.

— Может быть. Кстати, что такое сумасшествие?

— Ты понимаешь во всяком случае, что это не может так продолжаться. Я не могу так жить.

— Всякая другая жизнь показалась бы тебе теперь неинтересной и лишенной привлекательности. Ты никогда не станешь такой, какой была раньше.

— Почему?

— Во первых потому, что это маловероятно.

— А во вторых?

— Во вторых потому, что я этого не допущу.

— Ты хочешь сказать, что ты остановишь меня?

— Да.

— Каким путем?

— Это не важно, каким угодно.

Если бы этого разговора не было, она, вероятно, осталась бы с ним еще на некоторое время. Но мысли, что ее можно к чему то принудить или удержать какой то угрозой, она не могла перенести.

И уехав от него, она убедилась, что в его словах была значительная часть истины. Она была отравлена его близостью, может быть, надолго, может быть навсегда. И вот, как будто только теперь, впервые за все эти месяцы и годы, она почувствовала, что, можеть быть, это не безвозвратно. Она буквально сказала эту фразу:

— И вот только теперь я начинаю думать, что это может быть не безвозвратно.

Я отошел от окна и сел рядом с ней на диване.

— Какой ты теплый — сказала она.

— Он, конечно, не знает, где ты?

— Нет он знает только, что я уехала. Я не думаю, чтобы он мог меня найти. Можно, я лягу? Я устала оттого, что рассказала тебе это. И вместе с тем, я всегда знала, что когда нибудь я буду кому то рассказывать о моей жизни, потому что он будет меня спрашивать об этом и потому что в эти минуты я буду его любить. Ты видишь, как давно я знала о тебе?

— Да, конечно. А потом ты кому то будешь рассказывать

обо мне. И ты скажешь: он писал некрологи и спортивные отчеты и статьи о женщине, разрезанной на куски, — и что еще, Леночка?

— Еще — что ты больше понимал, чем умел сказать и что твои интонации были выразительнее, чем слова, которые ты говорил. Но может быть, я этого никому не скажу.

*
**

Я снова возвращался домой по пустынным ночным улицам и несмотря на то, что мне хотелось заснуть и не думать ни о чем, я все же не мог избавиться от размышлений по поводу этого человека, о котором рассказывала Елена Николаевна. Что могло случиться с ним, что вызвало в нем этот странный вид душевной болезни? Я знал, что поиски какого то отправного момента, с которого начинается всякий душевный недуг, всегда мучительно трудны и чаще всего совершенно бесплодны. Кроме того, даже если бы я нашел абсолютно правильное решение этого вопроса, у меня не было никакой возможности его проверить. И затем — какое мне, в сущности, было дело до этого человека? Я только лишний раз убеждался в том, что в силу неизменно повторяющейся случайности, может быть, в силу каких то других причин, которых я не знал, в каждом моем романе всегда был ненужно-трагический элемент и это почти никогда не было по моей личной вине. Обычно это бывала вина одного из моих предшественников, за которую невольно приходилось расплачиваться мне. В некоторых случаях судьба была особенно насмешлива по отношению ко мне. Я не мог забыть, как я встретил одну женщину, замечательную во многих отношениях, но отличавшуюся непонятно-адским характером; я провел с ней несколько лет, мне было ее искренно жаль и я делал все, чтобы она была менее несчастной, так как она сама была первой жертвой своих собственных недостатков. Долгий период душевного спокойствия повлиял, наконец, на нее благотворно — и после этого она ушла от меня, особенно настаивая на том, что не питает ко мне никаких дурных чувств и

считая, с бессознательным простодушием, что это одно должно мне казаться чуть ли не незаслуженным счастьем. И через некоторое время ее новый любовник, очень милый, вообще человек, сказал мне, что она ему много рассказывала обо мне и он рад со мной познакомиться и что она удивительная женщина с совершенно идеальным характером — и это так редко, как он заметил, в наш нервный век.

И мне начало казаться, что вообще моя роль заключается в том, что я появляюсь после катастрофы и все, с кем мне суждена душевная близость, непременно перед этим становятся жертвами какого то несчастья. В некоторых случаях это принимало более трагический характер, в других менее, но это всегда бывало тяжело и осложнялось еще тем, что по вредной и давней привычке, от которой я не мог избавиться, я всякий раз длительно и постоянно обдумывал это, не принимая вещи такими, какими они были и строя вокруг них целую систему моих собственных и напрасных предположений о том, как это могло бы быть, если бы было иначе. Я всегда искал причин, вызвавших ту или иную катастрофу, — и вот теперь я думал о моем лондонском предшественнике, об этом человеке с таким непонятным тяготением ко всему, что заключало в себе идею смерти. Чем могло объясняться возникновение такого душевного недуга? У меня не было решительно никаких данных, чтобы судить об этом. Но этот вопрос интересовал меня помимо всего еще чисто теоретически — как могла бы меня интересовать какая нибудь произвольная психологическая проблема. Судя по его возрасту — Елена Николаевна как то сказала, что он был лет на десять старше меня — он наверное участвовал в войне и, может быть, это повлияло на него? Я знал по собственному опыту и по примеру многих моих товарищей, то непоправимо разрушительное действие, которое оказывает почти на каждого человека участие в войне. Я знал, что постоянная близость смерти, вид убитых, раненых, умирающих, повешенных и расстрелянных, огромное красное пламя в ледяном воздухе зимней ночи, над зажженными деревнями, труп своей лошади и эти звуковые впечатления — набат, разрывы

снарядов, свист пуль, отчаянные, неизвестно чьи крики, — все это никогда не проходит безнаказанно. Я знал, что безмолвное, почти бессознательное воспоминание о войне преследует большинство людей, которые прошли через нее и в них всех есть что то сломанное раз навсегда. Я знал по себе, что нормальные человеческие представления о ценности жизни, о необходимости основных нравственных законов — не убивать, не грабить, не насиловать, жалеть, — все это медленно восстанавливалось во мне после войны, но потеряло прежнюю убедительность и стало только системой теоретической морали, с относительной правильностью и необходимостью которой я не мог, в принципе, не согласиться. И те чувства, которые должны были во мне существовать и которые обусловили возникновение этих законов, были выжжены войной, их больше не было и их ничто не заменило.

Он не мог, конечно, не знать об этом всего, что знал я. Но, с другой стороны, сотни тысяч людей прошли сквозь это и не стали сумасшедшими. Нет, конечно, естественнее было предположить, что в его жизни произошли какие нибудь особенные события, о которых ничего не знала даже Елена Николаевна, и которые предопределили его теперешнее состояние. Что значила, например эта фраза: Elle m'a raté? Во всяком случае, в ее глазах надолго застыло неподвижно и неестественно спокойное выражение, как забытое изображение в зеркале — и это уже относилось ко мне непосредственно, не так, как все остальное, потому что все остальное тоже, к сожалению, относилось ко мне. Я чувствовал иногда, и, в частности, этой ночью, возвращаясь домой, необыкновенное раздражение против невозможности избавиться от того мира вещей, мыслей и воспоминаний, беспорядочное и безмолвное движение которого сопровождало всю мою жизнь. Я готов был иногда проклинать мою память, сохранявшую для меня многое, без чего мне было бы легче жить. Но изменить это было невозможно — и лишь в редкие периоды моего существования, требовавшие от меня наибольшего напряжения душевных сил, все это на некоторое

время удалялось от меня — с тем, чтобы потом снова вернуться.

Я прошел полдороги пешком, затем остановил проезжавшее такси и, вернувшись домой, заснул мертвым сном.

Я помню, что на следующий день была прекрасная погода, солнце и синее небо с белыми, перистыми облаками. Мне очень легко работалось, я за несколько часов написал большую статью, на этот раз не о преступлении и не о банкротстве, а о некоторых особенностях Мопассана. Вечером, когда я был у Елены Николаевны, она сказала мне, что чувствует себя помолодевшей на несколько лет; она опять, повидимому, подчинялась тому же невольному движению, что и я, как это уже было вначале, в день моего первого визита к ней и втечение той недели, которая предшествовала ему.

Гайто Газданов.

(Окончание следует)

ВОСКРЕШЕНИЕ МОЦАРТА

I.

В самых первых числах июня девятьсот сорокового года, то есть, в те самые дни, когда французская армия начала свое последнее бесповоротное отступление после прорыва у Седана, в тихий и теплый вечер, общество, состоявшее из четырех женщин и пяти мужчин, сидело в саду, под деревьями, в ста верстах от Парижа. Говорили именно о Седане, о том, что последние дни вернули этому имени, давно ставшему старомодным, как кринолин, его прежнее роковое содержание. Говорили о том, что самый этот город, никем, никогда, конечно, не виденный, умерший в дедовские времена, словно воскрес сейчас для повторения каких то ему одному сужденных трагических событий.

Была такая тишина, что когда люди умолкали и каждый принимался думать о своем, было слышно в раскрытое окно, как в большом, старом доме тикают стенные часы. Небо, зеленое, чистое, прекрасное, только начинало сиять зелеными звездами, из которых еще ни одну нельзя было признать — так они были одиноки и далеки от всякого узора. Старые деревья — акация, липа — не дышали, не дрожали, словно своей неподвижностью оберегая что то, что было, невидимо для людей, заложено в этом летнем вечере. Хозяева и гости только что отужинали; скатерть была не убрана; на столе оставались стаканы и рюмки. Лица сидящих медленно менялись в зеленом свете темневшего неба, заволакиваясь тенями. Говорили и о самой войне, и о ее предзнаменованиях. Молодая женщина, гостья, приехавшая на автомобиле из города с мужем и сестрой, умеряя свой сильный, с металлическим звуком голос, рассказала про виденный ею недели полторы тому назад метеор.

— Это было в такой же час. Небо было такое же нежное. Он сначала показался мне падающей звездой, но это продолжалось так долго и было так ярко.

— Год назад вы бы его наверное и не заметили, — улыбнулся один из гостей, лысый, крепкий Чабаров, с черными висячими усами, в ярко-синей рубашке, живший дворником в замке, верстах в двенадцати, и приехавший нынче на велосипеде.

— Год назад, — сказал Василий Григорьевич Сушков, хозяин дома, высокий, на целую голову выше всех, седой, нестарый, с быстрым и острым взглядом, — да, ровно год сегодня, как умер Невельский. Он многое предчувствовал из того, что случилось, многое предсказал.

— Отлично сделал, что умер, хоть не видит того, что мы. А воскрес бы — плюнул бы или заплакал.

Напротив хозяйки, на другом конце стола, сидел француз, привезенный Чабаровым и никому как следует не знакомый. Он просто, без лишних извинений, попросил перевести ему, о чем шла речь.

— Мосье Дону, мы говорим о том, что бы сказали воскресшие покойники на то, что сейчас происходит, — ответила Мария Леонидовна Сушкова.

Дону вынул изо рта черную трубку, опустил брови и усмехнулся:

— Да стоит ли их беспокоить? — сказал он, глядя прямо в глаза хозяйке. — Впрочем, императора Наполеона я бы, пожалуй, пригласил полюбоваться нынешним временем, а вот родителей своих от этого удовольствия наверное бы избавил.

Все вдруг заговорили сразу.

— Воскрешать для себя или для них? Я не понимаю, — с живым лицом и уже не тая свой громкий голос спрашивала, ни к кому не обращаясь, гостья, приехавшая из Парижа, которую звали Манюра Крайн, и у которой был полный рот своих собственных, белых, больших зубов, производивших искусственное впечатление. — Если для них, то хорошо было бы, конечно, воскресить и Наполеона, и Бисмарка, и королеву Вик-

торию и, может быть, даже Юлия Цезаря. Но если бы было возможно для себя, для одной, получить в собственность человека из прошлого, то это совсем другое. Тут надо подумать. Выбор так велик, соблазнов так много . . . Я, может быть, все таки, хотя это и банально, воскресила бы Пушкина.

— Милый, веселый, чудный человек, — сказала Мария Леонидовна Сушкова, — какое было бы счастье увидеть его живым.

— Или может быть Тальони? — продолжала Манюра Крайн. — Запереть бы ее у себя, налюбоваться досыта.

— А потом — свезти в Америку, — вставил Чабаров, — импрессарио разорвут на части.

— Ну нет, уж если воскрешать кого, так уж не Тальони, — с тайным раздражением сказал муж Манюры, бывший вдвое нее старше, Федор Егорович Крайн, приятель Сушкова. — Тут легкомыслия не должно быть. Я бы воспользовался случаем, я бы вытащил на свет Льва Толстого. А не вы ли, милостивый государь, отрицали роль личности в истории? Утверждали, что войн больше не будет? А не вы ли, уважаемый, относились скептически к оспопрививанию? Нет, вы теперь не увиливайте, поглядите ка, что из всего этого вышло. — Видно было, что у Федора Егоровича свои счеты с Толстым и если случится им на том свете встретиться, то заготовлена целая речь.

— Avec Taglioni on pourrait faire fortune! — повторил Чабаров свою мысль по французски.

— А я, господа, — заговорила сильно напудренная лиловой пудрой и пахнущая пренеприятными духами, старуха, мать Сушкова, — а я, господа, воскресила бы дядю Лешу. Вот бы он удивился.

Никто не знал, кто был дядя Леша, и все на несколько минут замолчали.

Разговор незаметно увлек всех, и мысль каждого ушла от этого вечера, из этого сада, куда то в прошлое — и близкое, и очень далекое, словно кто-то уже совсем наверное обещал им сделать жест престидижитатора и исполнить каприз каждого, и теперь вся задача состояла только в том, чтобы выбрать, —

а выбрать было так трудно, потому что хотелось не прогадать, особенно женщинам. «А я — только Моцарта, да именно Моцарта, — подумала про себя Мария Леонидовна, — и никого другого мне не надо, да и не за чем». Она решила так не потому, что болезненно любила музыку, как это бывает с достигшими известного возраста дамами, которых принято называть «культурными», а лишь потому, что с этим именем связывалось в памяти, с самой ранней юности, и жило до сих пор что то такое высокое, прозрачное и вечное, что могло заменить человеку счастье. Мария Леонидовна жадно курила и ждала, не скажут ли еще что нибудь, самой ей говорить не хотелось. Заговорила Магдалина, сестра Манюры Крайн, девушка лет тридцати, полная, бледная, с необыкновенно круглыми, как шары, плечами. При виде нее всегда смутно вспоминались какие то непреложные статистические выводы о том, что столько то миллионов девушек в Европе остаются без мужей потому, что мужей на их долю не хватает.

— Нет, я не воскресила бы ни одной знаменитости, — заговорила Магдалина с некоторой брезгливостью к людям славы, — я бы предпочла простого смертного. Какого нибудь философствующего юношу начала прошлого века, слушателя Гегеля, читателя Шиллера, или придворного времен Людовиков.

Она повела толстыми плечами и посмотрела вокруг. Но было уже почти темно и лица сидящих едва были видны. Зато звезды там, вверху, теперь уже видны были все, делая небо совсем привычным.

Чабаров долго мочал. Наконец, он издал какой то глухой, носовой звук, постучал по столу пальцами, раскрыл рот, но вдруг усомнился, ничего не сказал и опять задумался.

Девятый присутствующий, до сих пор молчавший, был Кирюша, девятнадцатилетний сын Сушкова и пасынок Марии Леонидовны. Он, как считалось в семье, был недоразвит. Медленно расклеил он толстый, широкий рот и спросил, доверчиво глядя на мачеху своими круглыми, добрыми, без уголков глазами:

— А двоих вместе можно?

Бог весть, что отражалось в это время в его сонном уме. Он считал, что какое то дело было решено присутствующими и оставалось только уговориться о подробностях.

— Mais c'est un vrai petit jeu, — с невеселым смехом заметил Дону, и все вновь словно вернулись обратно, задвигались, заулыбались. — У каждого оказалось свое пристрастие, и все рассуждают ужасно серьезно.

Мария Леонидовна только кивнула ему. «Моцарта, конечно, только Моцарта, — повторила она себе. — И хорошо, что я уже не так молода и хочу его видеть без всякой возможной чувственной корысти. И мы бы просидели до утра, а он бы играл на нашем пианино, или говорил бы нам о чем нибудь. И все пришли бы смотреть на него и слушать его, и садовник соседей с женой, и почтальон, и лавочник с семейством, и начальник станции... Какая это была бы радость! И не было бы завтра ни почты, ни поездов, ничего вообще. Все бы пошло вверх дном; и не было бы войны... Нет, война была бы».

Она опять закурила; спичка наминуту осветила ее острое, некрасивое лицо и тонкую красивую руку. Все, кроме лица, было в ней женственно, молодо и стройно, но особенно легка и неслышна была ее походка, и это все заметили, когда Мария Леонидовна вдруг встала и прошлась под деревьями и вернулась обратно, и огонек ее папиросы был виден в темноте наступившей ночи.

В это время прохлада тронулась из низкой глубины сада, оттуда, где было два небольших каменных мостика над узкими петлями зацветшей реки. Старуха Сушкова, закутавшись в шаль, дремала в кресле, Кирюша тупо смотрел вверх, и было ясно, что подобно деревьям и звездам, он только существует, но не размышляет. И внезапно где то далеко, быть может, верстах в сорока, в пятидесяти, на востоке, в том месте, где летом встает солнце, прокатился, ударился и замер, так похожий на гром и все таки совершенно иной, тяжелый пушечный удар.

— Пора ехать, пора ехать, — заговорили все сразу, и

Манюра Крайн, звеня чем то, побежала в дом за пальто и сумкой; прошли через столовую и большую, темную прихожую, и вышли на двор, где стояла машина. Мать Сушкова тоже уезжала в Париж; она надела шляпу с большим лиловым цветком и даже в чемодане ее был какой то лиловый оттенок. Несколько секунд продолжалась недвижная работа мотора, потом, осторожно заводя черные крылья, автомобиль попятился к воротам. Крайн за рулем кивнул еще раз оставшимся, и Манюра, у которой освещен был только ее фарфоровый рот, улыбнулась за стеклом и что то сказала. Автомобиль выехал, остановился, дал передний ход и, словно потянув сам себя, скрылся, оставив за собой невидимый, едкий дымок.

Чабаров пошел за велосипедами.

— Очень рады будем видеть вас у себя, — говорил Сушков французу, — все лето будем здесь жить и по воскресеньям, как видите, друзей принимаем. Милости просим.

— Enchanté, monsieur, — отвечал Дону. — Я провел незабываемый вечер.

И он вслед за Чабаровым поцеловал Марии Леонидовне худую руку.

На следующий день Василий Георгиевич, как обычно, выехал поездом в город, оставив Марию Леонидовну и Кирюшу одних. Это был тот самый понедельник, когда в час дня, с нескольких сот самолетов, был в первый раз бомбардирован Париж.

II.

Про обстрел Парижа узнали только вечером. Днем слышна была пальба, но так далеко, что нельзя было сказать, происходит ли это в Париже или в Понтуазе, как несколько дней тому назад. Вечером пришли газеты, и маленькое село, в середине которого стояла, с обрушившейся крышей, давно всеми забытая церковь, высыпало на аллейку толстеньких, кругленьких платанов, ведшую от кабака к мерии.

Село почти целиком состояло из старух. Впрочем, воз-

можно, что старух там было, как и во всякой французской деревне, всего половина населения, но так как они чаще всего попадались на глаза, находясь на улице, то разговаривая друг с другом, то идя за покупками, то вытряхивая какую нибудь тряпку, то развешивая белье, казалось, что они составляют девять десятых жителей.

Некоторым было всего лет пятьдесят, и они еще были гладки и бодры, седоваты, с румянцем и волчьим взглядом. Другие были морщинисты, жилисты и беззубы. Третьи (помнившие нашествие немцев в 70-ом году) сгорбленные, едва переставлявшие больные, толстые ноги, с темными руками, длинными черными ногтями и совершенно потухшим лицом, ни в чем не уступали друг другу, так же много, текуче и все одними и теми же словами говорили — на углах, под платанами, возле своих и чужих калиток. На всех были ситцевые передники, широкие, завязанные сзади, или застегнутые спереди. Некоторые носили на носу железные очки и, качаясь, вязали на спицах, держа клубок под мышкой. Почти все они были вдовами убитых в прошлую войну, и у всех без исключения на эту войну был уведен либо сын, либо зять.

В тенистом переулочке, где тянулся забор сушковского сада, в этот вечер тоже была нарушена тишина, и Кирюша пришел сказать Марии Леонидовне, что в Париже нынче были брошены бомбы, разрушены дома, горят склады, убитых и раненых больше тысячи. Мария Леонидовна посмотрела на Кирюшу, который широко и вяло посмеивался, и ей стало грустно, что этот человек, теперь уже совсем взрослый, остался тем же ребенком, которым она его узнала двенадцать лет тому назад. Было время, она теперь почему то особенно часто его вспоминала, когда он вдруг собрался учиться. Был какой то сумрачный и краткий расцвет в этом больном мозгу, он пытался запомнить буквы, но из этого ничего не вышло. Все кончилось кратким и сравнительно благополучным Кирюшиным романом с продавщицей колбасной лавки, сравнительно блгополучным потому, что ему только постепенно и очень медленно стало делаться все хуже.

Мария Леонидовна быстро перебрала в памяти Париж. В этом городе находился прежде всего Василий Георгиевич, затем была их квартира, хорошая, светлая, теплая, которую она так любила. Потом были Крайны, Абрамовы, Снежинские, Эдуард Зонтаг, Семен Исаакович Фрейберг, Леночка Михайлова и еще и еще многие, кто мог быть ранен или убит. И когда она думала о всех этих людях, живших в разных концах города, то тут, то там на старой, протертой в складках карте Парижа, которая хранилась в ее памяти, вспыхивало что то и потухало.

«Да. Это должно было случиться, — сказала она себе. — Еще вчера об этом говорили. И зачем он уехал, да и Крайны могли остаться. Вчера говорили . . . О чем то еще вчера говорили? Ах, да! Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь. Вместо всего этого страшного, убийственного и ложного, пожелать то, что в себе одном сочетает все прекрасное, чистое и вечное, как эти облака. Прежде, чем оглохнуть окончательно, услышать, как звезда с звездою говорит».

Она подошла к маленькому, новенькому радио-аппарату, к которому Кирюше строго запрещено было подходить, и повернула кнопку. Сначала говорил французский голос, потом английский голос, потом немецкий голос. Все это было тесно сжато в маленьком деревянном ящике и только разделено невидимыми перегородками. Голоса говорили все об одном. И вдруг раздалась музыка, пение, не то испанский, не то итальянский язык, сладостно, расслабленно задергались гитары. Но прозвучало слово «аморе» и Мария Леонидовна закрыла аппарат, и подошла к окну, оттуда видна была в зеленых, дымчатых, густых овсах, деревенская дорога.

Вторник, среду, четверг в селе был постой: тяжелые, зеленые, зеленью изукрашенные, словно с карнавала, грузовики, на которых суриком были написаны какие то цифры, привезли пятьсот молодых, шумных солдат и четырех офицеров, в длинных шинелях, с усталыми, измученными, лихорадочными лицами. К Марии Леонидовне заявился квартирьер, — дом, который снимали Сушковы, был лучшим во всей деревне, — и она тотчас же перевела Кирюшу в столовую, отдав его ком-

нату капитану и помещение во флигеле — трем подпоручикам.

Четверо офицеров спали не раздеваясь, и ночью по несколько раз приходил их будить дежурный — то маленький, смуглый, желтоглазый, то большой, прямой, с огромным лицом. Василий Георгиевич звонил по телефону каждый день; звонил он на почту, почта была на углу переулка и площади. За Марией Леонидовной прибегал мальчишка с выбитыми передними зубами, и она, в чем была, своей девичьей, неслышной походкой бежала за ним, вбегала в крошечный дом об одном оконце, схватывала трубку и слушала, как Василий Георгиевич говорит, что все благополучно, что деньги он получил, видел Эдуарда, обедал у Снежинских, приедет в субботу.

— А у меня военные, — говорила она, не отдышавшись от бега, — военные стоят. Я Кирюшину комнату отдала. И флигель.

— Может быть, мне приехать? Тебе не страшно?

— Почему страшно? Прощай!

И в самом деле, она в ту минуту думала, что ей нисколько не страшно, ей казалось, что в том, что она не была одна, а были рядом молчаливые, вежливые, чужие мужчины, было даже некоторое успокоение.

Но ночью она почти не спала. Она слушала. Издалека, в тишине мертвой ночи, начинался далекий, словно шопотом, ход мотоциклетки, еще за лесом был слышен этот звук, какой то упорный и широкий, который по мере приближения все съуживался и усиливался и вдруг мчался уже по переулку и останавливался у соседнего дома, где стоял дежурный. Мотор затихал, и тогда слышны были голоса, шаги. Стучала калитка. Кто-то входил в дом, к ней в дом, кто-то чужой, и старая слепая собака вставала со своей соломы и с рычаньем шла принюхиваться к следу на гравии двора. Где то зажигался свет, она слышала, как бегают по дому, по флигелю. Звякает что то, хлопает дверь. А Кирюша спит рядом, в столовой, куда она оставляет открытой дверь, и страшно уже не этих ночных звуков, а всего того, что делается в мире в эту ночь.

И не молчаливых, чужих мужчин было ей страшно, — они на третью ночь ушли, оставив настеж и двери дома, и калитку, без огней выведя из села разукрашенные свежими ветками грузовики, — и не дежурных, ходивших к ним, и не пятисот размещенных по селу полутрезвых, сильных солдат, — ей было страшно воздуха, июньского теплого воздуха, в котором катились по горизонту пушечные выстрелы, который тихо плыл на нее, на дом ее, на сад, вместе с летними тучами, и было несомненно, что это дуновение, которое чем то похоже на самое время, в конце концов донесет до них всех нечто сокрушительное и гибельное, как сама смерть. Как, при взгляде на календарь, уже никто не сомневался, что через пять, десять или пятнадцать дней произойдет нечто ужасное, так ощущая днем и ночью на лице этот ветерок, можно было сказать наверное, что с ним вместе придут к этим местам убийство, завоевание, разорение и тьма.

А он, этот воздух, в последние дни был тепел, прозрачен и пахуч. Кирюша работал в саду, каждый вечер поливал клумбу перед домом, выхаживал соседских утят. Мария Леонидовна, в ярком, ситцевом платье, повязав голову платком, убрала флигель, нашла забытую сумку с патронами и два распечатанных письма, которые выбросила не читая. В умывальной чашке были окурки, и обгорелая газета валялась на полу. Она постелила Кирюше в его комнате и велела пришедшей бабе вымыть во всем доме полы.

В тот же день, под вечер, к соседям приехали беженцы из Суассона, две толстые, бледные женщины, старик и дети. Матрас полосатого тика был положен на крышу грязного автомобиля и на удивленные вопросы местных жителей приезжие объясняли, что это теперь делают все, что это предохраняет от пуль. Старика за руки и за ноги втащили в дом: он был в беспамятстве.

Другие беженцы приехали к ночи в тот голубой краской выкрашенный, какой то игрушечный дом, что стоит против церкви. Говорили, что часть постоя не ушла, а осталась на ночь в другом конце деревни; казалось, в каждом доме есть кто то

чужой, пришедший или приехавший издалека, и спрятавшийся здесь на ночь. Огней не было, все было темно, но за ставнями всюду слышались голоса, кабак гудел криком, пением, галдежом, и под платанами долго не расходились шепчущие старухи.

Мария Леонидовна заперла входную дверь, занавесила окна, убрала остатки ужина и, как она это делала всегда, пока Кирюша ложился, разговаривала с ним, сидя в соседней комнате. Время от времени он радостно восклицал:

— А я зубы вычистил! А я левый башмак снял!

И если бы не знать, что там девятнадцатилетний мужчина, который страшно много ест, громко храпит во сне и не знает грамоте, можно было бы подумать, что там ложится спать десятилетний мальчик, шутки ради говорящий басом.

Когда она потушила свет в столовой и у него, и ушла к себе, она долго стояла у открытого окна и смотрела туда, где днем видны были овсы и дорога. Завтра должен был вернуться Василий Георгиевич. Эта мысль была ей приятна и утешительна, но она сегодня почти не вспоминала о нем, она весь день думала о Моцарте.

То есть, не о нем самом. Сейчас, в этой слишком тревожно стихшей ночи, в самый край которой был воткнут только что родившийся, острый месяц, мысли ее приобрели особенную ясность. Она весь день, вернее, все эти дни и весь нынешний вечер задавала себе один и тот же вопрос, и не было на него ответа: отчего все страшное, жестокое, горестное так легко материализуется, то есть приобретает твердый образ, и тем сильнее давит на душу, и отчего все высокое, нежное, полное неожиданности и очарования, проходит тенью по сердцу и мыслям и его нельзя ни тронуть, ни рассмотреть, ни почувствовать его вес и форму? «Только любовь, пожалуй, — думала она, стоя у окна, — да, одна любовь дает эту радость. Но тот, кто не хочет больше любить, кто не может любить? Мне некого, мне поздно любить. У меня есть муж, мне никто не нужен».

И внезапно ей показалось, что осторожно стукнула щеколда калитки, и она явственно услышала, как кто то вошел во двор, сделал два шага и остановился.

III.

— Кто здесь? — тихо спросила она. Полной тьмы еще не было, и неясная, слабая тень человека лежала на белесом гравии двора. Она двинулась, шорхнул гравий. Человек должен был ясно видеть Марию Леонидовну такой, какая она стояла в открытом окне, в первом справа от входной двери. Дверь эта, как помнила Мария Леонидовна, была заперта на ключ. Но человек, идущий через двор медленно и прямо, ничего не ответил. Его едва было видно. Он взошел на ступени крыльца, остановился в трех шагах от Марии Леонидовны, протянул руку и дверь открылась. И когда он уже вошел в дом, она захотела крикнуть, но, как во сне, крика не было.

Он был бледен и худ, с торчащим носом и спутанными волосами; все, от сапог до шляпы, было на нем с чужого плеча. Пыльные руки были так тонки и слабы, что он и не пытался ими что либо делать. Все лицо было устало, зелено и молодо, но это не был мальчик; видно было, что он кажется моложе, чем он есть, что на самом деле ему может быть и за тридцать.

— Простите, я испугал вас, — сказал он по французски, но с легким иностранным акцентом, — не мог бы я здесь где нибудь переночевать?

Она при свете лампы, освещавшей просторную прихожую, смотрела на него, стоя молча и едва владея собой. Но как только он произнес первые слова и взглянул на нее долгим, колеблющимся взглядом, так прошел ее страх и она спросила:

— Кто вы?

Но он опустил глаза.

— Откуда вы?

Он слегка поежился, придержал пальцами поднятый ворот широкого пиджака, надетого, быть может, на голое тело.

— О, издалека, издалека... Я так устал. Я бы прилег, если бы можно было.

«Бельгиец, — решила она, — а может быть и француз из какой нибудь незнакомой провинции. Солдат или беженец? По возрасту — солдат, по виду — беженец. Может быть — дезертир?»

Она повела его во флигель, все время думая о том, что он может ударить ее сзади, но одновременно зная, что он этого не сделает. Когда они вошли в комнату, она уже совершенно его не боялась. Он даже не взглянул вокруг себя, молча подошел к кровати, сел на нее и закрыл глаза. Между сапогом и штаниной она увидела его худую, голую ногу.

— Вы хотите есть? — спросила она, закрывая изнутри ставни низкого створчатого окна, по военному времени свет не должен был быть виден на дворе.

— Что вы сказали? — переспросил он, вздрогнув.

— Я спросила, не хотите ли вы чего нибудь поесть?

— Нет, благодарю вас. Я закусил в здешнем ресторанчике. У них все полно и они не могли мне дать ночлега.

Она поняла, что ей пора уйти.

— Вы один? — спросила она еще, мимоходом переставляя что то на столе.

— Как один?

— Я хочу сказать: пришли вы сюда, в деревню, с товарищами, или как?

Он поднял глаза.

— Я пришел один, и вот так, без всякого багажа, — усмехнулся он, не показывая зубов. — И я не военный. Я — музыкант.

Она еще раз взглянула на его руки, пожелала ему спокойной ночи и показав, где тушится свет, вышла из комнаты.

На этот раз она двумя поворотами заперла дверь и, почувствовав какую-то особенную, звериную усталость, сейчас же легла и уснула. Утром она, как всегда, встала рано; Кирюша уже был в саду и горланил какую то песню, во флигеле все было тихо. Перед завтраком она забеспокоилась, не случилось

ли чего: ставни и дверь были по прежнему закрыты. «Неужели спит?» — подумала она. В четыре часа должен был приехать Василий Георгиевич и она перед этим опять пошла посмотреть, не встал ли постоялец? Она приоткрыла дверь в крошечные сени и оттуда другую — в комнату. Человек спал, ровно дыша; из всей своей одежды он не снял ничего, даже сапог. Он лежал навзничь, на широком матраце, подушка лежала в стороне. Мария Леонидовна закрыла дверь.

Василий Георгиевич приехал с опозданием — поезд, шедший из Парижа, долго стоял на каком то мосту. От станции до дома Сушков нес на своем высоком, твердом плече привезенный из Парижа большой чемодан, почти сундук, — это были вещи, собранные в парижской квартире, без которых Василий Георгиевич не представлял ни своего, ни своей жены существования. Здесь было его зимнее пальто и ее старая беличья шубка, теплое нижнее белье, которое он всегда носил зимами, альбом пражских фотографий (он долго жил в Чехии), дорогой бинокль в чехле, фунт сушеных винных ягод, которые он любил иметь в запасе, хорошо переплетенное издание "Lettres Persanes" Монтескье и прошлогоднее бальное платье Марии Леонидовны, сшитое по случаю какого то благотворительного бала, на котором она продавала шампанское. При виде теплого белья и шуб в июне месяце Мария Леонидовна удивилась. Но Сушков уверил ее, что Париж могут отрезать, или, может быть, им придется отсюда бежать, и тогда ничего неизвестно.

«Бежать отсюда? Да, конечно, надо бежать, если все побегут. Вон беженцы из Суассона опять увязывают вещи и старика опять тащут из дому в автомобиль». Она взяла газету, привезенную мужем, но ничего не узнала из нее. А Василий Георгиевич рассудительно и нежно говорил ей что то, рассказывал, спорил сам с собой, передавая, что думают о происходящем Снежинский и Фрейберг, и все, что он говорил, было точно, справедливо и не глупо.

— Что ж, уехали твои офицеры? — спросил он ее. — Беспокойно было?

— Уехали, но во флигеле со вчерашнего дня какой то

(она хотела сказать тип, но не смогла) какой то человек ночует. Тихий, все спит. Верно, сто верст пешком прошел.

— Боже мой, остаешься одна с моим кретином и не боишься пускать чужих, — воскликнул он, никогда не стесняясь в словах, когда дело касалось Кирюши. И поймав ее руку, он, оцарапавшись ее острым ногтем, жадно поцеловал ее несколько раз.

Перед вечером Кирюша бессвязно рассказал, что живущий во флигеле ушел. А через час Мария Леонидовна услышала, как он вернулся и снова заперся.

— Этот человек вернулся и наверное опять будет спать. Ты не ходи к нему, — сказала она Кирюше.

И весь следующий день было то же: гость либо лежал, либо сидел у окна и неподвижно молчал, словно чего то дожидаясь, либо на короткое время уходил в деревню, шел переулочком, площадью, платановой аллеей, покупал себе что нибудь съестное и тихо возвращался назад.

Странные мысли приходили в голову Марии Леонидовне. То ей казалось, что человека этого непременно арестуют Почему он не сказал ей своего имени? Почему он одет в одежду ему не принадлежащую? Если он не дезертир, то шпион. Может быть, он русский? Мария Леонидовна привыкла за много лет жизни за границей к тому, что среди французов чудаков не бывает. Есть ли у него паспорт, или он все бросил, потерял? Выбежал из дому в белье, добрые люди собрали ему одежду? Но возможно, что у него все в порядке и он только сдвинутый со своего места молоденький, одинокий музикус, где нибудь пилит на скрипке или дает уроки девицам, или так что нибудь сочиняет для себя, мечтая прославиться на весь мир?

Но странные мысли приходили и уходили, а жизнь продолжалась беспрерывно, и уже непохоже было это воскресенье на предыдущее, когда так по самоварному сидели в саду с Крайнами. Из города не приехал никто. В пять часов приехали на велосипедах Чабаров и Дону. Они втроем с Василием Георгиевичем долго сидели у него в кабинете и говорили, конечно, о войне, но уже по другому, чем неделю тому назад — они гово-

рили о своих надеждах, и Дону говорил о своих надеждах, о том, что на Сене и Марне можно еще остановить это безумное, это железное наступление. Каждый раз, как Мария Леонидовна входила к ним, ей казалось, что француз хочет сказать ей что-то. Он вставал и обращался к ней одной, и это почему то было ей неприятно, он производил на нее (впрочем, только на нее одну) впечатление истерика, и она выходила из комнаты и потом боялась наткнуться на него в столовой, во дворе или в саду.

Объяснить своего чувства она не могла, но невеселое, решительное, слишком выразительное лицо Дону было у нее все время перед глазами. Она стала готовить чай, и вот он вышел в столовую, словно нечаянно притянув за собой дверь, и Мария Леонидовна почувствовала, что он ей сейчас скажет что то такое, чего она не забудет во всю жизнь.

— Nous somme perdus, madame, — сказал он негромко, глядя ей в лицо своими небольшими, неопределенного цвета глазами. — Сам император Наполеон, которого я хотел воскресить в прошлое воскресенье, ничего бы не мог сейчас сделать. Я говорю это только вам, и вы примите решение, когда и куда вам отсюда ехать. Paris est sacrifié.

Он побледнел, лицо его исказилось, но он неестественно кашлянул, и снова все стало на место. Она оставалась неподвижной с фаянсовой сахарницей в руке.

— Сражения на Луаре не будет. Линию Мажино возьмут с тыла. Ничего вообще не будет. Все кончено. Они дойдут до Бордо, до Пиренеев. И тогда мы будем просить мира.

Василий Георгиевич и Чабаров в это время вышли в столовую и все сели к столу.

Она верила ему, но до конца все таки поверить не могла, и потому, оставшись вдвоем с Василием Георгиевичем, не могла и его убедить в том, что все так и будет, как сказал Дону. Она говорила: «Знаешь, мне кажется, что лучше тебе больше в Париж не ездить. Уложимся завтра и двинемся, хотя бы во вторник, все трое на юг. Ну проведем месяц где нибудь в Провансе, пока все уляжется. Не все ли равно?» Он слушал ее

серьезно, но согласиться никак не мог». «Что скажут обо мне в конторе? Первым трусом назовут. Поеду завтра в Париж и даю тебе самое честное — расчестное, вернусь в среду, даже, если все будет спокойно, вернусь. Мы чего не видали-то? Это им страшно, а мы и не в таких бывали . . . И никакие события не идут таким алюром. Таким а-лю-ром», — пропел он бойко.

И снова на следующий день она осталась одна с Кирюшей. А во флигеле продолжал жить прохожий человек.

Он продолжал вставать поздно, сидеть у окна и смотреть на двор, на деревья, на небо. Сидя прямо, положив руки на подоконник, он смотрел и слушал с равным и печальным вниманием и птиц, шумно возящихся в кустах сирени, и дальнюю пушечную стрельбу, и людской говор за воротами и в доме. Раза два в день он вставал, надевал свою выцветшую, слишком большую шляпу, или брал ее в руку, и выходил, тихо стукнув калиткой. Он шел по деревне, приглядываясь к тому, что происходит, как с каждым днем все тревожнее, оживленнее и злее делается народ. Вечерами он долго сидел — уже не у окна, а на пороге флигеля,полузакрыв глаза, положив свою ленивую руку на голову старой собаки, которая приходила сидеть с ним рядом. Смеркалось, поблескивал месяц; что то угрожающее было в ясном небе, в тихих полях, в дорогах, бегущих туда и сюда, в этом лете, в этом мире, где судьбе угодно было заставить его жить. Казалось, подперев рукой тяжелую голову, он вспоминает что-то, и оттого так много молчит, что это не удается ему. Откуда он? И куда ему идти, и надо ли идти дальше? И что такое жизнь, это биение, это дыхание, это ожидание и восторг, и горе, и война? И зачем он сам, такой слабый, с могучей гармонией в груди, с мелодией в ушах, зачем он среди всего этого, среди пушечного, уже непрерывного гула, среди этих сборов по деревенским дворам, где выводят коней, привязывают коров, укладывают скарб, зашивают золото? У него ничего нет. Нет даже узла. Нет родных, нет любовницы, которая зашила бы ему рубашку, сварила бы кашу, примяла и согрела бы постель. У него есть только музыка. Так он рос, так было с детства. Ноги, чтобы носить его, руки, чтобы за-

крыться от людей, и музыка, а больше ничего. Но не стоило приходить, нет, не стоило, в этот мир, где он останется неуслышанным и неузнанным, где он слабее тени, беднее птицы, глупее самого глупого полевого цветка.

Кирюша, увидев, что собака сидит с ним рядом и не боится, тоже пришел и сел, правда, не на крыльцо, а вблизи него, на камень. И так они все трое просидели долго, молча, пока не стемнело, и тогда Кирюша, глубоко вздохнув, расхохотался долгим, идиотским смехом, и ушел в дом.

IV.

В среду утром Василий Георгиевич не приехал. Телефон с Парижем уже два дня не действовал, и Мария Леонидовна решительно не знала, что думать. Говорили, что поездов нет, что газеты не вышли, что проехать в Париж нельзя, а из Парижа люди едут вторые сутки. Все село снималось и уходило, и те, которые еще накануне осуждали бегущих, испуганных людей, сами грузили вещи на подводы, автомобили и детские колясочки. Какие то мальчишки и девчонки целой стаей умчались на велосипедах, а по большой дороге, проходившей в версте от села, в три ряда шли повозки и машины. Весь день ходили по деревне слухи, все время не прекращалась приблизившаяся стрельба и высоко в небе плыли серебряные аэропланы. Некоторые автомобили, взяв в объезд, попадали на платановую аллею, не знали, как выбраться, петляли, и опять возвращались на большую дорогу, шагом втирались в бесконечную цепь и уходили на юг.

Там шла артиллерия, шли цыганские таборы, грузовики, нагруженные гросбухами (а на них сидели бледные бухгалтеры, эвакуируя банки, основу государства); там шагали пешеходы, ехали велосипедисты, двигалась расстроенная кавалерия, на легких лошадях, в перемежку с першеронами, впряженными в длинные телеги, на которых стояли швейные машинки, мебель, утварь, бочки. Высоко на скарбе сидели старухи, и в автомобилях сидели старухи, мертвенно бледные и простово-

лосые; старухи шли пешком, некоторых вели под руки, и опять шли войска, везли старенькие пушки, великолепный пустой красный крест шел следом за гоночной машиной, из которой свешивалась лопоухая собака, похожая на мех. Потом везли раненых, и некоторые уныло сидели, держа в руке собственную ногу или руку, обрубок, из которого капала на дорогу кровь. Других рвало пустотой и слюной. Везли сено, немолоченную пшеницу, уходили заводские станки и цистерны с нефтью, и до горизонта был виден этот странный живой и уже мертвый поток.

До самого вечера Мария Леонтьевна убиралась и укладывалась, понимая, что Василий Георгиевич поездом приехать не сможет, как не смогут и они выехать отсюда поездом. Из дому была видна большая дорога, была видна с утра не прекращающаяся, медленно текущая, иногда останавливающаяся, река бегущих. Мысль о том, что она останется одна, когда все уйдут, беспокоила ее, особенно же мысль о возможном невозвращении Василия Георгиевича. Беспокоил ее и Кирюша, который, среди поднявшейся тревоги, вдруг стал преувеличенно смешлив и непонятлив. Среди дня она несколько раз видела своего молчаливого жильца, даже поздоровалась с ним издали, и решила, что непременно поговорит с ним, разузнает о нем, может быть, поможет ему, и это решение заняло ее на несколько минут. Настал вечер, она собралась ужинать, и только что они сели, как послышался звук мотора: какой то успокоительный, знакомый звук; на двор сушковского дома въехали две машины: в одной сидели трое Крайнов, в другой — Эдуард Зонтаг, Василий Георгиевич и старуха Сушкова. Обе машины выехали из Парижа накануне вечером, были в пути всю ночь и весь день.

Манюра Крайн даже расплакалась, когда вошла в дом. «Это слишком, слишком! — говорила она своим большим ртом. — Этого нельзя вынести. Детей ведут пешком, старики ковыляют на костылях. Нельзя будет во всю жизнь забыть...» Но Мария Леонидовна едва успела обнять ее, как надо было здороваться с Зонтагом, с Магдалиной, идти за мужем в дру-

гую комнату и слушать его взволнованные слова о том, что он еще вчера днем понял, как она была права, что надо было выехать в воскресенье, что теперь они могут не успеть.

— С Кирюшей нехорошо, — сказала она ему, так как считала это все таки главным, даже сегодня.

Эдуард Зонтаг был связан с Василием Георгиевичем давними деловыми узами и между ним и Сушковым существовали какие то одним им известные слегка натянутые отношения. Он держался несколько в стороне, почему то считая Крайнов родственниками Марии Леонидовны, и курил толстую сигару. Он был маленького роста и говорил, что чем меньше человек, тем толще сигары он курит.

Яичница, холодное жаркое, салат, сыр, яблочный торт — все появилось на столе как то сразу, и все стали закусывать, бестолково и жадно, ощущая блаженство в довольстве этого дома, и понимая, что завтра всего этого уже не будет. Пили много, говорили много, рассказывали о том, как и когда решено сдать Париж, о том, как бомбардированы были северные и западные его окрестности, и особенно о том, как все всё бросили и бежали, и те, кто готовился к этому, и те, кто ни за что не хотели трогаться с места; как пять часов, в полной тьме, этой ночью они двигались от квартиры, где жили, до выезда из города, среди тысяч и тысяч таких, как они, как гас мотор, кипела вода, как по очереди спали.

Потом был совет: в котором часу завтра ехать и какую дорогу предпочесть? Долго наклонялись над картой, чертили что то, тянули ее, и опять что то пили, и даже закусывали, особенно мужчины. На дворе баба-соседка зарезала двух кур и Манюра потрошила их в кухне, на широком столе, запуская куда то руку с лаковыми ногтями в кольцах и тянула что то скользкое. Магдалина и Мария Леонидовна, сидя на корточках у бельевого шкапа, искали еще одну наволочку для Эдуарда. Мужчины решали: заезжать или не заезжать за Чабаровым, и старуха Сушкова тоже хотела высказать свое мнение, но никто ее не слушал.

Она ушла к себе, то есть в комнату Кирюши, где должна

была ночевать, и там сразу пренеприятно запахло ее духами. Крайнам нашлось место в доме, но Эдуарда Зонтага пришлось положить во флигель.

— Подождите, я сейчас, — сказала Мария Леонидовна и побежала наискось, через двор.

Она постучала в дверь. Он лежал на кровати и не спал, и когда она вошла, приподнялся, медленно спустил длинные ноги в рваных сапогах и провел рукой по волосам, словно хотел их пригладить, причесать, придать им подобие прически. Она заговорила мягко, едва глядя в его сторону:

— Простите, но так вышло: у нас полный дом гостей. Люди не спали прошлую ночь и поместить некуда. Я прошу вас, тут у нас есть сарайчик при гараже. Вы перейдите туда. Мне неловко вас беспокоить, но вы понимаете, что иначе никак невозможно. И потом, мы ведь все равно завтра утром уедем, и тогда вам тоже придется уйти, потому что мы все запрем и ключи увезем. И остаться вы не можете.

Он встал и в полутьме (лампочка горела в сенях, и оттуда падал невеселый, холодный свет) стал ходить по комнате, не зная, видимо, как лучше ей ответить.

— Завтра утром? Так зачем же в сарайчик? Я сегодня уйду.

Она не могла не почувствовать удовольствия от сказанного им.

— Выходит, что я вас гоню, чуть ли не ночью. Я прошу вас остаться: там есть складная кровать. А завтра утром . . .

— Нет, я уйду сейчас. Ведь, кажется, все уходят?

— Да, если еще не ушли.

— Так вот я и уйду. Спасибо, что разрешили столько дней провести у вас. Право, я очень благодарен вам, ведь это не всякий позволит. Буду долго помнить, очень долго.

У него оказалась толстая палка, которую он верно вчера срубил в лесу. Мария Леонидовна встретилась с ним глазами и его взгляд смутил ее.

— Подождите, я принесу вам . . . — она повернулась и легко пошла от него.

— Не надо, мне ничего не надо, — крикнул он твердо, — не беспокойтесь пожалуйста. Прощайте.

На дворе мужчины перевязывали что то на крыше Крайновской машины. Она побежала в дом, вынула пятьдесят франков из сумки, завернула в салфетку остатки ростбифа и кусок булки, и вернулась во флигель. Так же в сенях горела лампочка, но никого уже не было. Непостижимо быстро, неслышно, незаметно он ушел, и в комнате было так, как если бы он никогда в ней не жил: ни один предмет не был сдвинут с места.

Она огляделась, словно он мог еще стоять где нибудь в углу, вышла, опять вернулась, потом пошла к калитке, открыла ее. Кто то — уже довольно далеко — шел один, по переулочку. Она мгновение смотрела ему вслед и вдруг беспричинные слезы выступили у нее на глазах, и она перестала что либо видеть. Это было следствием тревожного, одинокого дня.

«Уходит, уходит», — сказала она вдруг тихо, но вслух, как иногда говорят какое нибудь бессмысленное слово, и залилась слезами; и не понимая, что с ней и почему вдруг такая нашла на нее слабость, она тихонько закрыла калитку и пошла в дом.

А утром началась жизнь, уже ничего не имеющая общего ни с ушедшим постояльцем, ни с тайными мыслями Марии Леонидовны. Автомобили нагрузили так, что запасное колесо чиркало сзади по земле. Дом заперли, Кирюшу посадили между отцом и бабушкой — он в этот день выказал первые признаки буйства и это старались скрыть. Эдуард Зонтаг, выспавшийся, свежий, но озабоченный недостаточным количеством взятого бензина, опять долго смотрел в карту, прежде, чем двинуться. В первой машине ехали Крайны и Мария Леонидовна. Манюра все говорила без умолку.

По совершенно опустевшей деревне они медленно, туго, все чиркая запасным колесом, проехали до леса, и там боковыми проселочными дорогами двинулись в сторону Блуа. Проезжая мимо замка, где Чабаров служит в дворниках, они остановились. Чугунные ворота замка были раскрыты настеж, на английском газоне, между молодыми кедрами, паслись нерасседланные

лошади, — здесь стоял со вчерашнего дня французский эскадрон. Солдаты лежали на траве перед домом, стекла нижнего этажа были выбиты. Громадная двухсветная зала сквозила в них фарфором, бронзой и зеркалами.

Чабаров вышел в вельветовых брюках и такой же куртке. Низ его лица был покрыт седой щетиной. Не здороваясь, он сказал, что ехать никуда не может, что должен остаться здесь: накануне вечером Дону (жившего рядом, в деревушке) нашли застрелившегося у себя в доме, и так как во всей округе некому было его хоронить, Чабаров решил зарыть тело у себя в саду.

Если эти молодцы, — сказал он хмуро, указывая на солдат, — останутся до вечера и я успею вырыть подходящую яму, то они будут у меня свидетелями, и я ничего лучшего не желаю. Но если они до того удерут, придется подождать, пока придут другие власти. Штатского населения у нас тут не осталось.

Все притихли, прощаясь с ним. Крайн даже обнял его, выйдя из автомобиля, а уж через минуту обе машины, тяжело оседая, пошли близко одна за другой, под гору.

В этот день пальба слышалась уже с противоположной стороны, с северо-западной, и в небе, с совершенно новым звуком, дотоле никогда не слышанным, похожим на вой, парило два немецких истребителя.

1940. **Н. Берберова.**

КОНЬ РЫЖИЙ*)

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

I.

Над казачьей столицей горит золотом шапка собора. На улицах Новочеркасска в ту зиму были особенно хороши тополя в опушке голубоватого инея. Они стояли, словно солнечная декорация, а может-быть это мне так казалось. Все мне тогда на Дону казалось радостным.

Шелестя по снегу, несутся военные автомобили, мелькая генералами. Рысят на золотистых дончаках отряды казаков; звякая бубенчиками, скользят извозчичьи сани и в франтовских сапогах, с песней, проходят юнкера: «Так, за Корнилова, за родину, за веру!»

На тротуарах трудно разойтись. Пестрота красных лампасов, разноцветные околыши и тульи кавалеристов, белые платки сестер милосердия, аршинные мохнатые папахи текинцев. На домах плакаты Добровольческой армии и партизанских отрядов. В этой морозной бодрости столица Всевеликого Дона, Новочеркасск, как военный лагерь. И только изредка среди офицерских бекеш и шинелей попадется проезжающий с фронта, растерзанный солдат, бросающий волчьи взгляды на обилие золотых погон; но тут их не сорвешь, это не Москва или Петербург, это готовящаяся к сопротивлению красным столицам — Русская Вандея.

Радостно и бездельно идя по Новочеркасску, мы заходим в полный молящимися собор. Ближе к алтарю в окружении офицеров, на коленях молится седоусый генерал, в очках, с

*) См. книги 14-ю, 15-ю и 16-ю «Нового Журнала»

лицом простого русского солдата; это бывший начальник штаба Верховного Главнокомандующего, генерал М. В. Алексеев. И тут же на паперти я неожиданно встречаюсь с командиром, полковником В. Л. Симановским. Мы оба обрадованы. Но я удивлен неопределенно-тревожной переменой в полковнике: лицо дергается, говорит судорожно; я вижу, что развал фронта обошелся полковнику дорого.

На утро мы подходим к особняку, где у парадных дверей стоит розовощекий семнадцатилетний юнкер с винтовкой у ноги и делает свое лицо ребенка необычайно воинственным и суровым. Он доложил о нас караульному начальнику и мы поднимаемся по ковровой лестнице наверх, где в небольшой комнате оба красивые, оба в коричневых френчах, прапорщик-женщина и прапорщик-мужчина записывают добровольцев.

После записи гвардии-полковник Пронский обращается к нам с речью. Малорослый, с застывшей в лице петербургской брезгливостью, с пробором, расщепившем голову от лба до затылка, полковник чуть-чуть пренебежителен и чуть-чуть аристократически-невежлив. Картавя и не по-русски, а по-петербургски, на иностранный манер, растягивая слова, он говорит:

— Поступая в н а ш у (ударяет на этом слове полковник) армию, вы должны прежде всего помнить, что это не какая-нибудь «рабоче-крестьянская», а о ф и ц е р с к а я армия...

Я гляжу на его шевровые узкие, как чулки, сапоги, на золотое кольцо на бледном дворянском пальце, на колодку орденов над карманом хорошо сшитого френча и с чувством подлинной горечи думаю: «так неужели ж он не хочет, чтоб наша армия стала, действительно, рабоче-крестьянской?» И в первую ночь в общежитии добровольцев мне не спится не только от этой речи, но еще и оттого, что сюда на Дон, на эти железные койки, с риском для жизни пробралось со всей России нас всего человек четыреста молодежи. И вот мы, эти двадцатилетние мальчики, мечтающие ввести всероссийский потоп в государственные берега, должны противостать миллионной обольшевиченной России.

II.

На Ростов и Новороссийск большевики наступают массами. Ими командует, когда-то бывший офицером, большевик Антонов-Овсеенко, в октябре с матросами взявший штурмом Зимний Дворец. У него отряды Сиверса, Саблина, Пугачевского, красные казаки Голубова и Подтелкова, их десятки тысяч. И красное кольцо готово сомкнуться, раздавив нас. Внутри этого кольца мы на последнем острове белой России, нас всего до двух тысяч штыков и сабель.

Партизанский отряд полковника Симановского идет во взводной колонне, нас перебрасывают с «новочеркасского» фронта на «таганрогский». Мы проходим по залитому огнями веселых кофеен вечернему Ростову; какие-то штатские в кофейнях пьют, читают газеты; улыбающиеся женщины отпивают из плоских чашек шеколад, с ними сидят, нежелающие воевать, щегольски одетые офицеры.

Мы проходим с песней о Корнилове:

«Как белый лебедь, полный гордости,
Так дух спокоен твой и смел!
Ведь имя Лавра и Георгия
Героя битв и смелых дел!»

На тротуаре, глядя на нас, прохожие останавливаются; извозчики торопливо сворачивают с мостовой. Уже поздняя ночь. Ростовский вокзал полутемен, душен, нелюдим. Холод, грязь, сырость. Ожидая состава, отряд стоит на платформе, все опираются на винтовки, молчат, курят.

— Князь! Наурскую! — закричали голоса; и отрядники расступаются кругом, поют, хлопая в ладоши, вызывая ротного командира, мингрельца князя Чичуа. Легкий, красивый, он, улыбаясь, передает винтовку и плавной лезгинкой идет по расступившемуся кругу. В певучем гаме аккомпанимента, в хлопаньи ладоней танцор музыкально взмахивает руками, как умеют взмахивать только горцы, и когтит грязную платформу носками сапог до тех пор, пока из темноты, шипя и заглушая танец, на нас не надвигается красноглазый паровоз.

Один за другим мы лезем в темные вагоны. У нашего окна молоденькая женщина с бессильным красивым лицом плачет, обнимая поручика Тряпкина. Он ее целует, а она все что-то украдкой шепчет ему и крестит его частым крестом.

В вагонах нетоплено, не попадает зуб на зуб. Держа меж колен винтовки, отрядники полудремлят, полуспят. Тусклый свет вагонного фонаря тоскливо качается по стенам, окнам, лавкам. Откуда-то сквозь поездной грохот доносится военная песня. Поезд гремит, шумит, увозя нас в ночную мокрую, снежную темноту.

На рассвете в узких вагонных окнах рождаются первые видения далеких ледяных полей. Спящие очертания отрядников начинают сереть. Поезд останавливается с толчком, одна минута проходит в полной тишине, потом кто-то длинно, с отчаяньем кричит:

— Вы-ле-зай!

Люди не торопятся, потягиваются, позевывают, именно сейчас всем и хочется спать. Гремя винтовками, задевая штыками за двери и притолки вагонов, отрядники выходят и спрыгивают со ступенек в неприятную холодную полутемноту какого-то полустанка. Это и есть «фронт»: тоскливая русская железнодорожная станция с черной надписью «Хопры». По путям бродят, такие же как мы усталые, прапорщики и юнкера в башлыках, с винтовками.

— Наконец-то приехали, а то хоть пропадай, две недели не спим, — со злобой говорит, стоя на рельсе, юнкер с запущенными волосами, со смятым невыспавшимся лицом.

Под ногами и снег и грязь. Глубоко пробивая осевшие сугробы, с теплушек капает частая капель. Мы перебираемся в теплушки и становимся тут резервом этого участка фронта, которым командует решительный гвардии-полковник Кутепов, широкоплечий, с темной квадратной бородой.

Пока Симоновский разговаривает с Кутеповым о «положении на фронте», мы в холодной теплушке готовимся к нашей единственной радости: в почернелом жестяном чайнике, вечном нашем спутнике, кипятим чай и, всполаскивая ржавые же-

стяные кружки, рассаживаемся кругом: я, брат, капитан Садовень, поручик Злобин, прапорщик Покровский.

Подпрыгнув и подтянувшись на руках, в теплушку влезает юнкер Сомов и, ежась от холода, присаживаясь на корточках к чайнику, говорит:

— Там на станции большевистская сестра милосердия пленная и два латыша. Вот стерва! Латышей наши стали бить, так защищает их, бросается, а нашего раненого отказалась перевязать, я, говорит, убежденная большевичка, я белых не перевязываю.

Сидя у двери, я вижу, как из соседнего вагона выпрыгнул князь Чичуа, с кем-то шумно спорит, побежал и, увидев меня, на-бегу кричит: «Идемте! Там пленных хотят убить!»

Я выпрыгнул, бегу. На талых грязных путях, около теплушки с арестованными, караул сопротивляется нашим трем офицерам и нескольким солдатам-корниловцам, которые с винтовками лезут к вагону, впереди всех поручик Тряпкин.

— Да пусти, отворяй! — вскрикивает он, силясь отпихнуть караульных.

— Что вы, красноармейцы или офицеры? — кидается к Тряпкину князь Чичуа.

— А что-ж? Разводы разводить? Да? Они с нами как расправляются? — наступает на князя юный, бледный юнкер с воспаленными широкими глазами.

— Да ведь это-ж женщина и пленная! — вмешиваюсь я.

— Женщина! А что-ж что она женщина? Вы видели какая это сволочь? Это ж чекистка, черт, она своей рукой расстреляет нас с вами и не моргнет!

Шум и крики разгорались. Возле вагона началась давка, борьба, как вдруг на рельсах появилась быстрая, кривоногая фигура полковника Симановского и резким тенором Василий Лаврович закричал:

— А ну-ка, господа офицеры, немедленно разойтись!

Тряпкин шел от вагонов хмурый, шепотом ругался матерно: «Все равно заколю . . . » И глядя на его потемневшее лицо с тяжелой отпадающей челюстью и крошечными мышиными глаз-

ками, ушедшими под череп, я вспомнил, как целовала и крестила его кроткая женщина с бессильным лицом.

В это время, пробивая подковами талый, разъезженный снег чернопегого размокшего станционного двора, к станции подъехал отряд казаков. С разнообразным оружием, на разномастных конях казаки напоминали ватаги Степана Разина. Впереди на подбористом золотистом коне, в кавалерийском седле, с мундштуками, ехал старый казак с бородой по пояс.

— Окуда конь-то такой, станичник?

— Большевицкий, отбили, — проговорил старик, и, молодо спрыгнув с коня, подвел привязать его к изгороди.

Казаки спешивались, привязывали к станционному красному забору коней. И все обступили отбитого у большевиков сухоногого, жилистого англичанина. Наперебой крича, казаки рассказывали, как захватили большевистский разъезд. И от их криков тонкокровный скакун, оказавшийся казачьей добычей, боченится и перебирает ногами.

— Да, на что он тебе? Отдай молодому! Все равно продашь! — нападают на старика молодые. Но старику жаль уступать англичанина. Мозолистой ладонью похлопывая его то по крупу, то по шее, он отнекивается. И вдруг вскидывая головой, взмахивая руками, не вытерпев, ругается на молодых, чтоб отстали.

Среди колготящихся казаков я заметил у изгороди прислонившегося, рослого черноусого солдата с необыкновенно землистым, чуть скошенным насторону, лицом. Солдат стоял, не вмешиваясь в общий шум. Казаки забыли о пленном. И наконец, не выдержав ожидания, он дернул за кафтан крайнего, тихо проговорив:

— Куда же мне-то?

Усатый казак недовольно обернулся.

— Постой, ... эй, ребята, отведите-ка пленного к начальнику. Ведерников, — сказал он низкорослому казаку с выбившимся из-под папахи чубом, — отведи ты! — И казак снова с азартом вошел в общий галдеж вокруг бренчащего мундштуками, боченящегося коня.

Нехотя выйдя из толпы, казак Ведерников махнул пленному и солдат, находу оправляя шинель и подтягивая пояс, пошел за ним. Я остался возле коня, в казачьей толпе. Спор о коне готов был перейти уже в драку, как вдруг сзади я услыхал голоса: «Поймали одного ... сейчас расстреливать ...» Я обернулся: по пестро-снежным, грязным шпалам солдаты-корниловцы с винтовками вели черноусого солдата и лицо его словно еще землистей, словно ушла уже из него вся кровь; голова опущена в землю, он глядит на рельсы, на лужи, на свои загрязненные сапоги; а из теплушки выпрыгивают, бегут смотреть как будут расстреливать.

Солдата свели с железно-дорожной насыпи в поле. Вскоре раздался выстрел, один, другой, третий и все стихло. Все ходившие смотреть идут назад, а там на снегу осталось что-то белокрасное.

В наш вагон впрыгнул юнкер Сомов, на юном лице плавает странная улыбка.

— Расстреляли, ох неприятная штука, все твердит: «за что ж, братцы», а ему — «ну-ну, раздевайся, снимай сапоги». Сел он на снег сапоги снимать, снял один, «братцы, говорит, у меня мать старуха, пожалейте ее!», а этот курносый солдат-корниловец, «эх, говорит, да у него и сапоги-то каши просят!» и раз его прямо в шею, кровь так и брызнула.

Пошел снег, стал засыпать пути, вагоны, расстрелянное тело. Мы сидели в вагоне, пили чай.

— А что ж вы хотите? Что у нас тыл что-ли есть, «лагеря для военно-пленных»? — горячится в вагоне курчавоволосый, как негр, поручик Злобин. — Гражданская война, это не внешняя, тут тыла нет, тут везде фронт, я ли, он ли, а раз сдался в плен, стало-быть «в расход», играй в ящик.

— Вы к ним, к красным, попадитесь, — с хрустом перекусив кусок сахара, усмехается капитан Садовень, — они нам сначала на плечах погоны вырезают, потом на лбу кокарду выбивают, потом пулю в затылок и полуживьем в землю.

— Да-с, гражданская война, дело сурьезное, тут отец дьякон ставь деньги на кон, тут «нервов» не полагается, —

затягиваясь папиросой, смеется незнакомый мне прапорщик и от его папиросы тянется длинный синий дым.

Я отпиваю чай, жую черный сухарь и, глядя на ровно летящий мимо вагонной двери снег, думаю о том, что эти крестьянские трупы загородят нам все дороги и с гвардии-полковником Кутеповым мы именно поэтому не дойдем не только уж до Московского Кремля, а, может быть, даже и до ближайшей деревни. Черноусый солдат стоял передо мной, это с ними я ел из одного котелка, сидел в окопах, с ними был в боях. Я думаю, русскому убивать русского тяжело потому, что мы люди одной утробы и единой судьбы; а мне, чувствую я, убивать своего — не под силу.

III.

У колонн прекрасного Парамоновского дворца в Ростове, у штаба армии, стоит караульный кавалерист в зеленом бушлате, в мягких гусарских сапогах, с винтовкой в руках; у кавалериста удлиненное, породистое лицо; он устал от стойки, переминается.

Когда я обвязанный бинтами, с обмороженным лицом, в смерзшихся сапогах и холодной шинели подхожу ко дворцу, кавалерист не без грубости спрашивает, кто я такой и что мне надо? На его теплый бушлат, на вырывающиеся из-под него малиновые чикчиры с серебряным позументом, я гляжу неприязненно, я говорю, что по приказу начальника партизанского отряда приехал с личным докладом главнокомандующему генералу Корнилову и мимо корнета прохожу во дворец, сразу попадая в колонный зал.

Здесь все шумит от гула голосов, военных шагов, звона шпор. Зал полон офицерами в блестящих формах; тут — центр быховсских узников, участников заговора и восстания Корнилова. Посреди зала, окруженный офицерами, полноватый генерал А. И. Деникин с клинушком седой бородки, в синем штатском костюме похожий больше на доброго буржуа, чем на боевого генерала; с ним говорит болезненно-худой генерал

Марков; в темном френче, надменный, прохаживается генерал Романовский, разговаривая с небезызвестным членом Государственной Думы Аладьиным, почему-то одетым в форму английского офицера; ходят какие-то штатские, журналист Суворин, матрос Федор Баткин. А перед кабинетом главнокомандующего, как статуя, в черной аршинной папахе замер темнокожий текинец.

Адъютант Корнилова, подпоручик Долинский, открывает мне дверь. Корнилов — за письменным столом. Он протягивает маленькую, словно юношескую, желтую сухую руку. Я вижу его впервые. Корнилов щуплый, с монгольским лицом, с монгольской жидкой бородкой, узкие, горячие, «неевропейские» глаза разрезаны накосо; штатский костюм сидит на генерале мешковато; и странно, голос у Корнилова глубокий бас, совершенно неидущий к его почти хрупкому телу.

По мере чтения доклада полковника Симановского на желтом лице генерала гневно сдвигаются скулы, монгольские глаза темнеют и бледная рука, с массивным золотым перстнем на мизинце, вздрагивает; и вдруг, отбросив донесение, Корнилов вскрикивает:

— Как? Не получали ни консервов, ничего теплого?

Я еле поспеваю за генералом через освещенный верхним светом прекрасный зал Парамоновского дворца, где при появлении главнокомандующего сидевшие с шумом вскочили, шедшие остановились, все замерло; только я иду за Корниловым и мне приятно слышны его резкие шаги и мои, за ним.

Мы вошли в кабинет какого-то безнадежно жалкого генеральчика с заросшей волосами зашеиной. Корнилов бросил перед ним на стол донесение Симановского и резко сказал: «Выслушайте, генерал, что вам доложит офицер отряда полковника Симановского!»

Шумно бросив дверь, главнокомандующий вышел; и снова в колонном зале как вросли в паркет, шедшие с клекотом шпор, рослые гвардейцы, цветные гусары, женщины-прапорщики, круто остриженные под мальчишек, и текинцы, перетянутые узкими ремешками.

IV.

На горсть белых русских юношей под командованием верховного главнокомандующего российских армий, на Ростов наседают красные. День ото дня белый остров суживается. Одна за другой падают окрестные станции и станицы. По окраинам, с Батайска, красные бьют уже тяжелыми. В Ростове дышит томительная тревога. Так, в ожидании грозы притихает сад. И обыватель чувствует, что победа красных бесповоротна; в рабочих предместьях уже гудит подымающееся восстание.

После боев под Хопром и Чалтырем обессиленный отряд полковника Симановского перекинут на отдых в Ростов. Но в первую же ночь, когда мы, наконец, заснули на кроватях, в казарму кто-то вбежал и, задохнувшись, закричал: «Красные под Ростовом!»

Перервав сон, зевая, мы одеваемся, подвязываем подсумки, разбираем винтовки, стволы их тревожно холодят пальцы. До казарм уж доносится гул артиллерийского боя. Поднимая снежно-земляную пыль, на дворе уже начали рваться снаряды. Отрядники молчат. Это жуткая тишина. Все понимают, что белый остров уже захлестнут, что это конец. В казарму торопливо вошел полковник Симановский, под канонаду опоясавшую город, он читает приказ генерала Корнилова: «... оставляем Ростов и уходим в степи...»

Темно. Снежно. В боевой готовности отряд стоит на дворе вооруженной толпой. Вместе с нами в солдатских шинелях, в папахах две восемнадцатилетние девушки, Варя Васильева и Таня Кунделекова, наши сестры милосердия, в боях лазившие с нами по сугробам под Чалтырем, оттиравшие обмороженных под Хопрами, перевязывавшие под огнем наших раненых, спавшие с нами в холодных теплушках.

— Вот, посоветуйте, итти нам с вами в степи иль оставаться? Мама умоляет остаться, а мы с Таней хотим итти.

Я им советую остаться.

— Вы подумайте, куда мы идем? В степи? Где они? Дой-

дем ли мы до них? Может быть нас тут еще в Ростове в первом же переулке красные встретят пулеметами?

— Ну, а вы? Вы же идете? И мы пойдем с вами, — упорно повторяет Варя и темнокожая, как турчанка, Таня поддерживает ее.

В ночной темноте отряд молча строится, чтоб уносить белый остров в неизвестные степи. На левом фланге отряда, с медицинскими сумками за плечами, в шинелях, в папахах, в строй входят Таня и Варя; их никто не смог отговорить.

Отряд тронулся со двора: говорить, курить запрещено. Состояние страшное, чудится, что пропало все: и Россия, и жизнь, а смерть где-то за плечом, близко и жить уж недолго.

В дверях плачут наши казарменные судомойки, кухарки: «миленькие, да куда ж вы . . . перебьют вас всех . . . Господи . . .»

В снежной темноте мокро желтеют городские фонари; немая чернота домов, пустоты улиц, все это теперь уж чужое, их, а не наше. Совсем негромко отбивается шаг; на снегу попадаются какие-то зловещие очертания людей, спрашивают: «кто идет? кто вы?» Мы молчим. «Ааа, давно заждались вас, товарищи», тихо говорит голос из темноты подворотни. Мы не отвечаем и на это, только слышен наш общий, дробный, поспешный шаг.

Город кончился редкой окраиной. Черно белеет полотно железной дороги. В голове колонны резкий свист и мы останавливаемся у занесенной снегом железнодорожной будки. Здесь по снежной дороге, в темноте, без огней, без говора торопится уходящая армия. С мешком за плечами, впереди главных сил прошел бывший верховный, генерал Корнилов. В обшарпанной бричке проехал генерал Алексеев. За ними ушла, в три тысячи штыков, в тысячу сабель, вся армия; зато бесконечен обоз, скрипят подводы с чемоданами, узлами, на одной качается швейная машина, с другой в темноту глядит граммофонный рупор, все друг друга гонят, все скорей хотят уйти от Ростова, над которым тяжелой грозой нависли красные.

Рассветает. От Ростова долетало громовое ура и сразу смолкло. А кругом нас свищут пули; это казаки Аксайской

станицы предательски с тылу обстреливают нас. Их пули говорят нам, что мы совсем одиноки.

Дон вздулся, набух горбом темносинего льда, разошедшегося трещинами. По нему переправляется армия, лед трещит, того гляди сам Дон не пропустит нас в степи, потопит. По скрипящему льду с опаской раскатываются орудия, уходит пехота, скользя переезжают разношерстные всадники и все скрывается на другом берегу.

V.

Небеса потеплели, оголились дымной голубизной, солнце почти весеннее и под этим горячим светом тают забелившие станицу снега. За Доном, в станице Ольгинской армия наскоро переформировывается, наш отряд влит в Корниловский полк. На широкой станичной улице, пестрой от темных проталин, шумно строится пехота; взметая фонтаны снега и грязи, скачут конные; слышны военные клики приветствия; и армия молодежи, во главе с двумя верховными, лучшими русскими генералами, трогается куда-то в снеговые пространства.

А степи раскинулись необъятно. Черной движущейся змейкой изогнулась в этих далеких просторах маленькая армия из трех полков.

— Корнилов едет! — перекатываются крики с задних рядов.

Разговоры смолкли, ряды выровнялись. На идущем машистой рысью светлобуланом коне проносится Корнилов; он, в зеленой бекеше, уверенно и красиво сидит в седле. Разноцветной толпой, в черных и белых папахах, за ним скачут его текинцы. Чуть откинувшись, Корнилов кричит резким басом:

— Здравствуйте, молодцы корниловцы!

И за ним по степи несется ответное приветствие, восторженное в устах молодежи. Молодежь любит своего вождя, он при жизни обвеян легендами: храбрости в боях мировой войны, отважного побега из австрийского плена, тайны заговора, побега из быховской тюрьмы на конях со своими текинцами, он

герой; только вокруг него и есть это веяние ветра, остальные же просто — «его генералы».

На длинной игреневой кобыле впереди Корниловского полка шагом едет командир, подполковник Неженцев, узколицый худой блондин, в пенсне. Рядом с ним на гнедом иноходце, в полной форме корниловца, с черепом и скрещенными костями на рукаве едет его помощник, смуглый штабс-капитан Скоблин.

Ротные запевалы легкими тенорами начинают песню:

«Там где волны Аракса шумят,
Там посты дружно вряд
По дорожке стоят...»

А кругом просторы степей бескрайны; в мягком небе высоко тянут журавли; ветер летит вольно и сильно по океану степей; так день за днем, с Корниловым впереди, мы куда-то уходили; прошлое пропало, к нему не вернуться, настоящее — степь и ветер, а будущее — это линия горизонта сзади нас, с которой вот-вот загремят орудия нагоняющих нас красных.

Лишившийся отряда, верхом на мохнатом степняке, в обозе около телег едет обиженный полковник В. Л. Симановский, он бежал к Корнилову не для того, чтобы быть в обозе. Часто подъезжая к нам, Василий Лаврович спрыгивает с седла, идет со мной, разговаривает и в этом душевно разбитом человеке я совершенно не узнаю своего знаменитого боевого командира.

Солнце все горячей, по-весеннему плавит степные просторы. Кругом дымится, потягивается уже чернопегая даль. По донским степям мы идем без выстрела. И скоро из последней донской станицы Егорлыцкой перейдем в Ставропольскую губернию, а оттуда свернем на Кубань. Все ждут, как встретят нас ставропольские крестьяне, на походе рассказывают, что к Корнилову приезжала их депутация и Корнилов сказал ей: «если пропустите, будьте спокойны, а если встретите с боем, то за каждого убитого жестоко накажу»; депутация заверила генерала в дружеских чувствах.

VI.

Мы идем по ставропольской дороге, близясь к первому большому селу Лежанка; в авангарде, верхом на коне ведет свой полк генерал Марков, он в черной кожаной куртке и белой текинской папахе; в главных силах мы, корниловцы, с подполковником Неженцевым впереди; за нами по дороге шумят кавалеристы полковника Гершельмана; и в арьергарде партизанский полк.

Большое солнце залило степь, на лицо налетает пахучий весенний ветер, поля зеленые, волнятся переливами; дойти до того изумрудного гребня и за ним — Лежанка. В строю курят, разговаривают, но вот из-за гребня взвизгнула шрапнель и разорвалась высоко над нами. Все в изумлении смолкли, остановились; по ветру донесся затявкавший пулемет.

— Стало-быть Маркова встретили огнем, — говорит кто-то.

Мимо нас карьером, с текинцами, проскакал Корнилов. За первой шрапнелью звонко и высоко рвется вторая, третья. Ясно: сейчас бой. Мы стоим недалеко от гребня в ожидании приказа. На лицах бродят какие-то особенные улыбки, спрашивающие о храбрости, опасности, смерти, и как всегда перед боем грудь наполняется пружинящей приподнятостью каких-то неясных и смятенных чувств. Кой-кто покуривает. К Неженцеву подскакал ординарец: корниловцам приказано ударить справа, слева атакуют партизаны, а в лоб пойдет генерал Марков.

Мы пошли редкой цепью по дымящейся рыхлой весенней пашне; озимые зеленеют, но здесь они еще даже не окрасили своей зеленью черноту земли; на штыках поблескивает солнце, и от этой весны мы идем радостные и веселые, будто не в бой.

«Расходились и сходились цепи
И сияло солнце на пути.
Было на смерть в солнечные степи
Весело итти».

— бьются, повторяясь, чьи-то во мне оставшиеся строки; а вдали стучит пулемет и перекатывается неровная ружейная стрельба.

В шинели нараспашку недалеко от меня идет наш ротный командир, красивый князь Чичуа, следит за цепью, покрикивает: «не забегайте там, ровнее, господа!» И топча зеленеющую пшеницу, цепь ровно наступает на село, охватываемое с трех сторон; влево и вправо люди уменьшаются, доходя до черненьких точек. Воробьиным свистом разрезая воздух, нас достигают уже редкие пули. Но вот пронеслось ура, по цепи прокатились крики: «бегут, бегут!» и у всех забила знакомая, радостно-охотничья военная страсть.

Мы уже бежим на село с ружьями наперевес; вот оставленные, свежевырытые окопы, валяются их винтовки, подсумки, брошенное пулеметное гнездо; мы перебегаем желтую навозную плотину, вбегаем на окраину села, но тут на сочном лугу возле ветрянки с недвижно замершими крыльями Неженцев приказывает остановиться. Он галопом бросил свою кобылу к незнакомой сельской улице, навстречу ему из-за хат отряд наших офицеров выводит человек шестьдесят без шапок, без поясов, в солдатских кацавейках, шинелях, бушлатах, в крестьянских пиджаках, пестро и разнообразно одетых людей; головы и руки у всех опущены, это пленные. Подполковник повернул кобылу, возбужденная стрельбой, скачкой, шпорами она танцует под ним, выбрасывая хвост, как вспыхивающий факел.

— Желающие на расправу! — кричит с седла Неженцев.

«Что такое?» — думаю я, — «Неужели расстрел? Вот этих крестьян? Быть не может». Нет, так и есть, сейчас будет расстрел этих остановившихся на лугу людей, с опущенными руками и головами. Я глянул на офицеров: может быть откажутся, не пойдут? Я молниеносно решаю за себя: не пойду, даже если Неженцев прикажет, пусть расстреливает тогда и меня; и я чувствую наливающееся во мне озлобление против этого подполковника в желтом кавалерийском седле.

Из наших рядов выходят офицеры, идут к стоящим у ветрянки пленным; одни смущенно улыбаются, другие идут быстро, с ожесточенными лицами, побледневшие, находу закла-

дывают обоймы, щелкают затворами и близятся к кучке незнакомых им русских людей.

Вот они уже друг против друга; побежденные и победители. Офицеры вскидывают винтовки, кто-то командует и сухим треском прокатились выстрелы, мешаясь с криками, стонами падающих друг на друга странными, ломанными движениями людей; а расстреливающие, плотно расставив ноги и крепко вжав в плечи приклады, стреляют по ним, загоняя все новые обоймы.

У мельницы наступила тишина; офицеры возвращаются к нам, только три человека еще добивают кого-то штыками. «Вот это и есть гражданская война», думаю я, глядя на свалившихся на траву окровавленной кучей расстрелянных; «то, что мы шли цепью по полю веселые и радостные чему-то, это другое, а вот это: г р а ж д а н с к а я в о й н а». И я чувствую, что в такой войне я участвовать не могу.

Последней затяжкой дотянув папиросу и отбросив бычка, стоящий возле меня кадровый капитан Рожнов бормочет: «Ну, если мы т а к будем, на нас все встанут»; лицо у него синее, словно сведено судорогой.

К нам подошли расстреливавшие, лица многих неспокойны, неестественно бледны, кой у кого бродят странные улыбки, будто спрашивающие: «ну, как вы после этого на нас смотрите?»

— Да, может, эта сволочь в Ростове мою семью расстреляла? Ты знаешь? — кричит кому-то бледный расстреливавший блондин и у него по-детски дергаются губы.

Мы вступаем в село, кто-то пробует запеть песню, но не подтягивают и запевала оборвался. На широкой улице, меж выбеленных хат, в жидкой грязи дороги, тут и там валяются трупы; слышны выстрелы, ведут захваченных лошадей, конвоируют новых пленных, все село сейчас в нашей власти и все мы расходимся на квартиры по хатам.

Я, брат, Садовень, князь Чичуа, юнкер Сомов, брякая винтовками, входим в первую попавшуюся хату. У порога в темно-красной луже крови ничком лежит черный, большой человек

в солдатском, волосы на затылке слиплись. На столе тарелки с недоеденным супом, полбуханка хлеба, ветер рвет в окне пеструю занавесь и только будильник в тишине хаты громким тиканьем отбивает время.

За сегодняшний пятидесятиверстный переход мы устали, голодны, хочется есть, лечь, спать. И все-же в этой мертвой хате мы не остаемся. Идем дальше по вымершему селу, где из-за плетня вдруг покажется и тут же спрячется лицо перепуганной бабы.

Вечереющее небо устало темнеет. С земли в пропасть скатывается остывшее медное солнце, обливая поля, нас, церковь, хаты последним алым и нежным огнем. На площади у церкви слышатся крики, кого-то собираются расстреливать и с князем Чичуа мы спешим туда, чтоб этому помешать.

— Ты солдат, твою мать? — в темноте кричит офицерский голос.

— Солдат, да не стрелял я, невиновный я, — полуплачет другой.

Но револьверный выстрел сух и с тяжелым стоном, с мычаньем тело падает в закатной сумеречной темноте.

И опять тот же голос кричит пойманному мальчишке:

— Да я, ей-Богу, дяденька, не был я нигде! Не убивайте! не убивайте! — срывающимся от смертного страха, истошным голосом надрывается мальчишка.

Мы подбегаем к офицеру во френче с еле различимым лицом.

— Оставьте, бросьте . . .

Он стреляет, осечка.

— Беги, счастье твое!

Вырвавшись из вооруженной толпы, паренек опрометью бежит с площади и топот его ног умирает в темноте. В толпе кто-то чиркнул спичку, закуривает из пригоршни, и на секунду освещено незнакомое небритое лицо. Мимо церкви шагом проезжает кавалерия, под топот подков плывут темные, какие-то монгольские очертания всадников.

Уже ночь. Теперь мы так устали, что нам все равно где

спать. В чужой брошенной хате, вздув огонь, мы размещаемся при свете лампы. В переднем углу — киот полный икон, густо засиженных мухами. У стены раскрыт сундук. На полу набросаны бабьи кофты, юбки, на крышке сундука вряд наклеены лубочные картинки генералов отечественной войны.

Мы чудовищно голодны. Осветив печь, я лезу туда кочергой и достаю не совсем еще остывший горшок каши; из чулана Садовень несет все, что осталось от убежавших хозяев: солонину, сметану, краюху хлеба, молоко, масло; поймали даже двух сонных кур и набив хату сброшенными шинелями, папахами, сапогами, винтовками, подсумками, после еды, мы усталые засыпаем на полу на соломе.

В этой хате было странно проснуться. В первую легковесную минуту сознания, когда нет еще грани между сном и явью, я никак не мог сообразить, где я и что со мной? Но помахивая нагайкой, на пороге стоит разбудивший нас вольнопер Бендо.

За чаем он живо рассказывает, как вступал в село с другого конца, как на пулемете закололи единственного неубежавшего пулеметчика, как капитан Померанцев бегал по селу с револьвером, расстреливая кого попало, все только приговаривая: «дорого им моя жена обойдется!» У капитана в Киеве большевики, надругавшись, зверски убили жену и всю прошлую ночь капитан мстил кому-то; это он был во френче на площади, у церкви.

Вольнопер рассказывает, что в Лежанке расстреляли больше пятисот человек. Я хорошо знаю эти офицерские чувства; в них месть за самосуды, за убийства родных и друзей, за унижения, за уничтоженные, добытые кровью чины и ордена, за сорванные золотые погоны, за изуродованную жизнь, революцией пущенную под откос.

Умываясь у колодца ледяной водой, пахнущей особенной деревенской свежестью, я мысленно разговариваю с полковником Неженцевым. «Нет, полковник, — говорю я ему, — нет, это не то, армия офицеров-мстителей никогда не победит, в России миллионы Лежанок и всех их не расстрелять. Но если

капитан Померанцев почти душевно болен и в своем отчаянии может быть даже по-своему понят, то как-же от этих расстрелов не удержит армию генерал Корнилов? Ведь для победы нужно к себе перетянуть души именно этих крестьян? Или, может-быть, в белом стане нельзя уже сдержать эти стихийные чувства мести, так же как в красном нельзя удержать стихию ненависти?» думаю я.

— А одного я совсем случайно на тот свет отправил, — слышу я голос вольнопера Бендо. И он опять рассказывает «новый случай». Но этих случаев чересчур много, и я, не слушая вольнопера, ухожу со двора посмотреть на Лежанку днем.

В поисках еды по хатам бродят наши солдаты и офицеры; где-то мычит голодная корова и исходит лаем собака, все еще бессильно охраняющая хозяйское добро.

На церковной площади в разнообразных, неестественных, вывернутых позах лежат вчерашние убитые; они пролежали здесь эту росную ночь, сейчас утренний ветер, налетая, шевелит их одеждами, они лежат, как страшные, осклабившиеся деревянные куклы. Из улицы на пегой лошади выехала телега, в ней худая баба в поддевке и черном платке; подъехав к трупам баба слезла с телеги и пошла от убитого к убитому, рассматривая их; тех, кто лежал ничком, она легонько приподнимала, будто боясь сделать больно, и опять также осторожно опускала на траву; и вдруг возле одного упала на колени, потом на грудь убитого и, не обращая внимания ни на кого, словно на площади никого и не было, жалобно и отчаянно закричала: «Господи, Господи, голубчик ты мой...»

Я смотрел, как плача, утираясь, баба укладывала на телегу мертвое, непослушное тело; ей помочь подошла пожилая женщина из церковной ограды; и телега, поскрипывая, с дорогой кладью поехала в сельскую улицу. Поровнявшись с помогавшей женщиной, глянув в ее угрюмое лицо, я спросил:

— Что это, мужа нашла?

Она посмотрела на меня ненавидяще.

— Мужа, — ответила и пошла прочь.

Не зная куда себя деть, я иду по Лежанке, чтобы встретить

хоть какого-нибудь жителя, поговорить, узнать, почему же они на нас встали? Я вхожу в деревенскую бакалейную лавочку с вывеской в смешных кренделях. Дверь зазвонила колокольчиком. За обсаленным прилавком стоит благообразный старичек, на носу очки в железной оправе, подвязанной бичевочкой. Седая бородка и желтое печеное лицо придают старику сходство с Николаем Чудотворцем. Покупая спички и подсолнухи, я стараюсь со старичком разговориться.

— Ну, зачем же нас огнем-то встретили? Ведь пропустили бы и ничего бы и не было, — говорю я покачивающему седой головой, вздыхающему старику.

— Знамо, ничего бы не было. А вот поди-ж ты. Это все пришлые виноваты, Дербентский полк, да артиллеристы. Сколько тут митингов было, старики говорят: пропустите, ребята, беду накликаете, а они свое: уничтожим буржуев, не пропустим; их, говорят, мало, мы знаем, это Корнилов с киргизами да с беглыми буржуями из Питербурха едет. Ну, вот и смутили, всех наблизовали, выгнали окопы рыть, винтовки пораздали. А как увидели ваших-то, ваши как пошли на село, они бежать. Артиллеристы первые на лошадей да ходу, все бежат, бабы, дети, а куда бежать то? Ваши тут как тут и настигли, — и осторожно сняв подвязанные бичевкой очки, старичек глубоко вздохнул и после вздоха добавил, — а народу-то, народу что побили, невинных сколько, а из-за чего все, а? спроси ты поди?

Я вышел из лавки. На площади, с которой уж увезли трупы, на белой лошади джигитует текинец в малиновой черкеске, хлестко развевающейся на-ветру; он то подбрасывает папаху, ловя ее, то спрыгивает и впрыгивает наскаку, а то, привесившись под брюхом лошади, скачет, держась за подпруги; и толпа текинцев одобрительно кричит наезднику на гортанном родном языке.

В нашу хату откуда-то принесли грамофон, он хрипит и кашляет вальсом «Сон жизни» и, отдохнув от усталости степных походов, кто-то кричит:

— Сестры, valse générale, вальс!

И шумя походными сапогами по хате офицеры кружатся с Таней и Варей, одетыми в солдатские сапоги и шинели.

VIII.

Куда ж мы идем по этой цветущей кубанской степи?

Точны мы, рядовые бойцы, не знаем. Говорят, Корнилов ведет нас на кубанскую столицу Екатеринодар. Наше продвижение по Кубани трудно, почти каждую станицу берем с бою. Из Екатеринодара большевики бросили на нас крупные силы во главе с главнокомандующим войсками Северного Кавказ, бывшим солдатом Сорокиным; передают, будто бы генерал Алексеев полушутливо сказал, что после Людендорфа он боится больше всего Сорокина.

Сорокин нам сильно сопротивлялся, но все-таки мы тесним красных. Станицы Березанскую и Журавскую взяли с бою, на станцию Выселки ворвались на плечах большевиков. Своих раненых мы везем в обозе, а убитые остались в весенних зеленых степях. Под Березанской закопали мы нашего ротного, князя Чичуа, убитого пулей в сердце. Он лежал возле цепи на зеленой траве, как живой, красивый, немного бледный, далеко откинув левую руку. С трудом я и Садовень положили его тело поперек седла и я повел коня к взятой с бою станице.

Беспрестанными боями мы измотаны телесно, разбиты душевно, но мы знаем, отдыха в степях у нас быть не может. Как бродяги, белые перекати-поле, мы живем в просторах степей, идя от станицы к станице, с винтовками в руках.

Из Выселок ночевать мы свернули на хутор Малеваный и, переспав там, ясным утром выступаем дальше на Кореновскую, где, наконец, говорят, будет отдых. Мы пылим по степи, думать не о чем, мы умеем думать только о двух вещах: поесть бы, поспать бы. Уж видны далекие деревянные крыши Кореновской, но к подполковнику Неженцеву подъехали какие-то конные и всех сразу облетает: Кореновская занята большевиками, ее надо брать с боя.

И опять рвутся их снаряды, клокоча уходят наши; сзади

в цепи кто-то застонал и падает; Таня и Варя бросились к нему, поднимают, поддерживая ведут раненого; хочется узнать: кто? Я не вижу; кажется Коля Сомов.

Мы уже залегли на поле и наскоро окапываемся, над нами почти над самой землей с резким визгом рвутся шрапнели; они словно придавливают нас к земле, застилая белым дымом, медленно расходящимся и поднимающимся в небо, но какое оно, это небо, нам не видно.

Звоном пчелиного роя долетают пулеметные пули из где-то далеко курлыкающего пулемета и ложась все ближе поднимают на пашне ровную земляную пыльцу; еще секунда и красный пулеметчик дотянется до наших голов; «сейчас в голову, в голову», думает каждый и в эти душу обжигающие мгновения, вжимаясь в землю, все мы, по-моему, забываем и то, что пулемет красный и то, что мы белые, мы забываем потому, что смерть близка и сейчас конец и прощай земля! Я вижу, как поручик Григорьев из прорехи рубахи вытянул нательный крест и незаметно его целует; и я тоже свободной рукой трогаю на моей груди зашитую матерью ладанку все с тем же псалмом и молниеносно, нежно, вспоминаю мать.

Это повсюдно, всеобще; если смерть рядом, она делает всех и чувствительнее и беспомощнее. Мне даже кажется, что словно увидя сейчас какую-то темную, без краев пустоту, я узнаю что-то громадное, но в человеческих словах совершенно невыразимое; словно оттуда, из потустороннего, меня на мгновение освещает какой-то и страшный и вечный свет.

Раздается треск шрапнельной очереди и сразу донеслись жалобные стоны. В цепи все осторожно поворачивают головы, раненого видно сразу, он уже не вжимается в землю, как здоровые, а лежит беспомощно выделяясь. Кто-то ранен там, где лежал брат; я чувствую, как у меня от темени отливает кровь.

—Кравченко! — кричу я полушопотом, — узнай по цепи, кто ранен?

Кравченко не оборачивается и мне кажется, что умышленно, потому что ранен брат. Я кричу громче. Кравченко не-

хотя обернулся, кивает головой, спрашивает следующего и вскоре таким же полушепотом отвечает:

— В живот!

— Кто? Спроси, кто?

Сзади доносятся звериные стоны. Да, конечно, брат лежал именно там и, путаясь, громоздятся какие-то давние отрывки домашних детских картин. Но снова шьет пулемет, обдавая пыльцой и оглушительно рвется шрапнель за шрапнелью, застилая и меня, и Кравченко, и Григорьева белым облаком. Когда дым растаял, Кравченко кричит:

— Лойко ранен!

И сразу легко, слава Богу, не брат. Но за этой радостью просачивается мысль: «какое же ты животное, рад, что не брат, а ведь Лойко рядом с тобой умирает и у него и мать, и брат». Лойко стонет ужасно, он просит пить, к нему подполз поручик Возовик и поит его, прикладывая к губам свою слюну на пальце.

— Тринадцать, часто! — кричит взводный Григорьев. Я не понимаю, в чем дело. Григорьев щелкает затвором, стреляет. — Чего ж не стреляете? Наступают же! — кричит он бешено, лицо у него возбужденное, глаза широки. Но теперь вижу и я: издалека движутся густые цепи красных, находу стреляют. «Как же я не заметил?» Затвор заедает, но я уже стреляю «тринадцать часто» по идущим в атаку. Вокруг несусветная стрельба; но по цепи кричат: «отходить!» и все вскакивают, отступают, некоторые даже побежали. «Что такое? Отступление? Проиграно?» прорезает меня, «Но куда ж отступать? Ведь отступать нам некуда, у нас везде фронт». И оборачиваясь, я стреляю в черные фигурки. А кругом ливнем тыкаются в землю пули. «Неужто ни одна не попадет, ведь я такой большой, а их визжит такое множество?» Черненькие фигурки сзади что-то кричат, уже слышны отдельные голоса, «Какие у них лица? Ведь наши ж, русские?! Наверное, звери». Лойко полз, но перестал, брошенный меж ними и нами; он просил Возовика пристрелить его, но у того не хватило на это сил.

— Стойте же, господа! — отчаянно-приказательно кричит штабс-капитан Кедринский, и около него задержалось несколько человек; и вдруг от его криков вся цепь сначала неуверенно замедляет шаг, потом останавливается; каждый понял: все равно ж отступать некуда, так уж лучше вперед чем назад, а там будь что будет! И цепь повернулась и двинулась на красных.

— Вперед! Вперед! — Крики ширятся и вот уж вся цепь пошла, даже далеко убежавшие нехотя, медленно возвращаются; что-то мгновенно переломилось в душах; также ливнем свистят пули, также наступают красные, но теперь мы идем прямо на них с ширящимися криками ура и теперь мы уже не люди, глядящие в пустоту смерти, а настоящие белые, с штыками на перевес бегущие на красных.

— Бей их! — И лица совсем другие, зверские, сильные, рты раскрыты, глаза блестят. Сверкая штыками, мы пробегаем по пашне, сейчас сойдемся в рукопашную, все равно! По всему полю несется ура, но черненькие не близятся, остановились, толпятся. Дрогнули? И еще сильней по степи катится ура. Мы перебегаем наши окопчики, теперь уж ничто не страшно; вон лежит их раненый матрос в синей куртке, кто-то из наших выстрелил ему в голову, он безобразно дрыгнул ногами и медленно вытягивается, как зарезанное животное. Черненькие бегут, бросают винтовки, подсумки, мы их опрокинули. Какое радостное чувство победы и силы! Вот уж их окопы, валяются патроны, винтовки. В стрельбе не слышно голосов, кричащих прицелы. В луже крови растянулся их раненый с каким-то нечеловеческим лицом, он широко раскрывает словно обуглившийся рот. «А-а-а, сдыхаешь!», но это блик, все мелькнуло и улетает в беге.

Сросшись с телом пулемета, по отходящему красному бронепоезду с полотна железной дороги стреляет прапорщик-женщина Мерсье. Страшным разрывом гранаты у полотна убило наших пулеметчиков. На железно-дорожной насыпи тут и там стонут лежащие раненые, но здоровые бегут вперед, делая вид, что раненых не замечают. «Господа, ради Бога, возьмите!»

слышатся стоны, но здоровые как-будто не дослышивают, иль отговариваются находу. И только поручик Тряпкин, закинув за плечо ремень винтовки, тяжело напружив ноги, несет на руках бледного большого раненого корниловца. «Молодец, Тряпкин!» думаю я.

Из Кореновской красные выбиты, станица за нами. Но в начинающихся сиреневых сумерках большевики возобновляют атаки. Ливнем свистят их пули, их цепи опять уж недалеко, но нас, лежащих на поле за Кореновской, беспокоят не цепи, а надвигающийся на нас, вздрагивающий белым дымком, бронепоезд. Этот дымок над трубой увеличивается; с бронепоезда дождем строчат пулеметы.

Наша цепь волнуется, ее устойчивость слабеет. Покуривая, за железнодорожной будкой стоят подполковник Неженцев и штабс-капитан Скоблин. Неженцев приказывает: в атаку на бронепоезд! И надо вставать с земли, итти, а усталость от целого дня боя мягко сковывает тело; сейчас бы лечь на эту траву и заснуть бы дня на два; но проклятый дымок бронепоезда все увеличивается.

— В атаку! — раздаются голоса. И цепь поднимается; двинулись, идем быстрей, с винтовками наперевес близимся к бронепоезду, подбадривая себя криками ура. Мы уже выравниваемся, усталость сломлена каким-то общим напряжением воли, бегом мы охватываем со всех сторон бронепоезд, а с него воем, визгом тявкают пулеметы. Но теперь все равно, мы близко . . . Но что такое? Кто то железным прутом ударил меня по ноге? Я схватился за ногу, по штанам течет кровь, не могу итти . . . Мимо, согнувшись, как он согнувшись бегал в детстве, играя в лошадки, пробегает мой брат, рот у него раскрыт, он кричит ура.

— Сережа! — кричу я, но в этом чертовом аду он ничего не слышит, не видит. Осторожно ступая, я хромаю назад к будке, а сзади несутся, хлещут пули. «Сейчас добьет», думаю я, но уже с каким-то безразличием, как будто не о себе; выйдя из боя, я весь в внезапно навалившейся на меня усталости; она полонит меня, я только чувствую режущую боль в ноге, словно,

стянув ее проволокой, кто-то закручивает все туже и туже.

В мужской кожаной куртке, в солдатских сапогах, за будкой сестра милосердия перебегает от раненого к раненому; тяжело и легко-раненые сидят на траве; я опускаюсь среди них на пригорке у однообразно гудящего телеграфного столба.

— Сейчас, сейчас, у меня не десять рук, подождите, — покрикивает на кого-то простоватая сестра с глазами веселого утенка.

Когда она подходит ко мне, я с чувством некоторого стыда спускаю штаны, сестра жирно смазывает рану иодом и нога туго и приятно стягивается бинтом.

— Счастливчик, — улыбается сестра, пропуская вокруг ноги бинт, — на полвершка бы правее и перебило бы бедро, тогда б вас и на подводе отсюда не увезти.

Я знаю, что тогда б меня могли бросить в степи, как бросили Лойко. А сейчас по вечереющей, обсаженной весенними тополями дороге двое офицеров ведут меня под-руки в Кореновскую. Медным светом гаснет закат, алые сумерки ниспадают все ниже, но только полная темнота затушит гул боя под Кореновской

VIII.

Против нас в Кореновской сражалось до четырнадцати тысяч красных под командой Сорокина. Выбитые, они сосредоточились у Платнировской, готовясь к второму бою, но Корнилов резко свернул армию на Усть-Лабу.

Обоз с ранеными едет за армией. На телеге нас пятеро. Сестры укрыли нас одеялами; с поскрипыванием движется подвижной лазарет, на выбоинах стонут утомленные раненые, а впереди сквозь подоспевших, непускающих в Усть-Лабу красных пробивается армия.

Уже далеко за полдень, а под УстьЛабинской бой все идет. Усть-Лабинская раскинулась по крутым холмам над реками Лабой и Бубанью. Мешаясь с белым цветением вишень и яблонь, на обрывах меж станичных хат пестреет цветущий кустарник.

Стрельба от Усть-Лабы доносится все явственней. Обоз уже почти в зоне боевого огня. Раненые прислушиваются: не приближается ли общий гул боя?

На моей подводе волнуется капитан с обеими перебитыми ногами; смельчак в бою, здесь в беспомощности он потерял самообладание.

— Слышите, приближается, — приподнимаясь на локте, говорит он, грязнобледный, измученный от неспаных ночей, от страшного ранения; губы у него почти черные; под все близящимся ружейным накатом капитан с отчаянием откидывается. А зловещий гул, действительно, близится. Раненые прислушиваются к нему, как зверь на облаве к крикам загонщиков. Я волнуюсь вдвойне: мой брат в бою.

Из арьергарда, торопясь, проходит отряд; лица строгие, озабоченные.

— Ну, что?

— Наседают, отбиваемся, — говорит худенький офицер с бородкой; отряд уходит влево по пашне.

Раненые зорко следят за ним, вот и оттуда, слева, донеслись выстрелы, стало-быть, большевики и с флангов; мы в кольце, бой со всех сторон, но в авангарде самый напряженный.

От подводы к подводе ходят сестры, меняют повязки, кормят, поят раненых. Так идут часы. Но вдруг винтовки в авангарде затрещали ожесточенней и общий гул боя сразу стал удаляться, будто подхваченный и понесенный какими-то прорвавшими плотину волнами; раненые завозились.

— Удаляется, слышите?

От головы обоза крик: — Обоз вперед!

Возчики замахали кнутами, лошади вскачь помчались по степной дороге, а перед нами, замирая, все уносится эхо боя; теперь уж нет сплошного гула; гул с перерывами, стало-быть, большевики отброшены и наши взяли станицу.

Но в Усть-Лабе мы не останавливаемся. Вырываясь из красного кольца, Корнилов бросает нас дальше и я не знаю, где я просыпаюсь ночью в темноте от многоголосья, скрипа

тысяч колес, криков, ругательств, ржанья лошадей. Недалеко от подводы у костра кто-то легким фальцетом напевает:

«Мы дралися за Лабой,
Бой был молодецкий!»

— Станичник, где мы?

— В Некрасовскую въехали.

Все глушится кромешным галдежом возчиков, криками квартирьеров, сестер, скрипом колес тронувшегося по станице обоза; и только уж в хате я встречаюсь с раненым братом.

Я лежу под божницей, обклеенной узорно вырезанной газетой; брат с раздробленной ступней прыгает по хате на одной ноге, капитан с перебитыми ногами неподвижен на полу; другие раненые кто ходит, кто прыгает, а Таня и Варя промывают раны, меняют перевязки, рассказывают новости. От отдыха все веселы. Сердита только дряхлая хозяйка-казачка с глядящими изо рта длинным желтым клыком; она то беззубо шамкает, то ворчливо кряхтит.

— Что ты, бабушка?

— Ох, да как что? Куды я вас дену, хата малая, а вы все перестреляны, как птицы какие, — оглядывает нас мутным глазом старуха и продолжает охать у печи, — всякие я войны видала, помню, как черкесов мирили, как на турку ходили, а теперь вот своя на своих пошла, — и старуха никнет седой головой.

— Из-за чего ж это, бабушка, пошла-то она, а? — смеется кто-то.

— Да рази я знаю, может и есть из чего, а может и нет, так все зря, — безразлично бормочет старуха.

Пришедший Василий Лаврович рассказывает, что, отбиваясь от наседающих со всех сторон красных, Корнилов ведет нас на Екатеринодар, надеясь штурмом взять кубанскую столицу и тогда в ней уж найти казачью опору. До хаты долетают звуки похоронного марша, это хоронят наших убитых и умерших от ран и на кладбище каждой станицы вырастают наши простые деревянные кресты.

IX.

В Пензе по ночам моей матери снился мучительный сон, как по снежному ветреному полю красные ведут ее сыновей, на расстрел. Мать просыпалась в судороге; но ее дни нелегче ночей: красные газеты пишут, что белая армия разбита, что Корнилов бежал в кавказские горы, а по степям валяются, гниют «объеденные трупы золотопогонников».

Бессонной ночью, ощущая всю свою потерянность в мире, мать решила самой пробираться на юг, в те далекие донские степи, где быть-может, еще живы и сражаются с красными ее сыновья. Но путь на Дон труден. Дон отрезан от всей России кровавой чертой гражданской войны. Надо кружить: ехать до Волги, по Волге плыть до Астрахани, с Астрахани по Каспийскому морю на Северный Кавказ, оттуда на Кубань, а там уже пробираться в донские степи, где потерялась белая армия.

Распродав все, что могла,с зашитыми в юбку тремя тысячами рублей, мать в конце апреля уже ехала на Сызрань, забившись в теплушку, переполненную все еще бегущими с российских фронтов солдатами. На грязной, сызранской пристани с трудом за взятку она достала билет до Астрахани и отплыла на разгромленном, захарканном пароходе «Октябрьская революция», полыхавшем красными флагами. На пароходе фронтовые солдаты, красногвардейцы, матросы, куда-то плывущие мужики-мешочники, пробирающиеся на родину армяне и вместе с ними притаившиеся беглецы-интеллигенты. По необъятно раскинувшейся весенней Волге, мимо туманных Жигулей, мимо кургана Стеньки Разина плыла «Октябрьская революция». Навстречу протяжно гудят сирены таких же разграбленных пароходов. В желтых сумерках по размахнувшейся волжской шири с кормы летят жалобные звуки двухрядки. Это, сидя неподалеку от матери, играет слепой гармонист с отросшими по плечи волосами и простонародным, за душу хватающим тенором поет: «Ревела буря, гром гремел . . .» Красногвардейцы, матросы разными голосами подтягивают певцу. А когда вечерний туман

накрывал Волгу, каждый день вся команда парохода по-старинке становилась на корме и хором пела «Отче наш».

Так плыла «Октябрьская революция». За долгий путь беглецы-интеллигенты сжились. Костромич — инженер в очках, с козьей бородкой, рассказал матери, что тоже пробирается на Кавказ разыскивать сына и что ему сказали, будто в Астрахани есть такой баркас «Гурьев», который возит людей до Брянской Косы, а с Брянской Косы на Кизляр будто отвозят на арбах казаки.

В Астрахани, не отставая от инженера и семьи армян, мать попала-таки на маленький пароходик «Гурьев», переполненный разношерстными беглецами. По изменчивой зелени Каспия «Гурьев» заскользил к Брянской Косе. Неразговорчивый капитан дорого брал за такое путешествие, но подплыть к Косе все-таки отказался, бросив якорь далеко от берега. Поочереди пассажиры в лодке переплывали на берег и там сговаривались с поджидавшими казаками о поездке дальше на арбах в Кизляр. В эти смутные времена прибрежные казаки зашибали большую деньгу, промышляя извозом людей: двадцать два целковых с души и непременно царскими.

Ночью на Кизляр тронулись три подводы. На арбе вместе с матерью уместились: унылый чеховский интеллигент с выцветшей бородкой и трясущимся на носу черепаховым пенсне, — от него только и узнали, что он племянник уфимского архиерея; муж и жена из Орла, все ощупывавшие на себе зашитые драгоценности; пехотный полковник из Сарапула с сыном-кадетом, не скрывавшие, что пробираются в белую армию. Последним, кряхтя, крестясь и шепча «Царицы мои небесные!», взобрался на арбу толстый казанский купец в поддевке и сапогах бутылками.

Над ночной степью, как ломоть лимона, дрожит серп луны; тарахтят казацкие подводы. Дремля на арбе, мать знает, что к живым или мертвым, а близится к сыновьям, и в этом ее душевное успокоение; привалившись к плечу полковника спит кадетик-сын; раскачивается тощее очертание племянника архиерея; и казанский толстосум преувеличенно охает и стонет на

выбоинах. Но вдруг за подводами по степи пронесся топот скачущих коней и в свете звезд и желтого месяца на дороге стали видны машущие винтовками всадники. «Стой! в веру, в душу, в гроб, в мать!», кричали доскакавшие, вертящиеся на конях пьяные казаки. «Арестовывай вчистую! Вертай на обыск!»

Но головной старик-возчик, вероятно, лучше других знал своих станичников. Он хоть и с ругательствами, но спокойно слез с арбы и спешившиеся казаки, ведя подуздцы коней, пошли за ним в сторону с дороги. Там начался галдеж, торг, но вдруг голоса перешли на мирное и кто-то в лунной темноте раскатисто и животно расхохотался. Возчики снова полезли на арбы, а казаки, впрыгнув кошками на коней, вскачь понеслись назад к станице пропивать взятый с возчиков бакшиш.

Днем перед беглецами та же выжженная, бесприметная степь. На подводах не укрыться от палящего удушливого зноя, ноги затекают от неудобного положения, но каждый беглец готов терпеть все, лишь бы доехать; и день-деньской молча они трясутся на арбах.

Обрадованно заговорили только, когда раскаленное удушье степи сменилось сочной тенью прохладных армянских садов Кизляра, в которых под вечер пели соловьи.

X.

Издалека доносится гул боя, то стихая, то разростаясь. С тяжелыми потерями прорвавшись сквозь станицы, крестьянские хутора, разгромленные черкесские аулы, Корнилов начал штурм Екатеринодара, охватив его с трех сторон.

К реке Кубани, где на берегу на некошеных лугах табором расположился обоз-лазарет, катится беспрерывный гул штурма. У реки дымятся костры, пасутся стреноженные лошади; меж телегами ходят сестры милосердия, кормят, перевязывают раненых.

К вечеру второго дня, по наведенному парому лазарет медленно переправляется через Кубань и по узкой дамбе едет

ближе к Екатеринодару, в станицу Елизаветинскую, ждать взятия добровольцами казачьей столицы.

В Елизаветинской нас человек тридцать раненых положили в церковную сторожку. Пол двухоконной комнаты застлан соломой, все лежат плотно прижавшись друг к другу. «Ну, я же ничего не вижу, сестра, умоляю, доктора!», то и дело отчаянно вскрикивает исхудавший рыжеватый поручик, ослепший на оба глаза от ранения в висок. «Воды . . .», тихо стонет мальчик-кадет, у него раздроблена ключица, но он так слаб, так тихо зовет, что за общими стонами его не слышно. Раненый в рот юнкер полумычит, зовя сестру: у него шесть дней не меняли повязки.

Вести из боя странные: то на дрожащей, задохнувшейся лошади подскакавший к церкви казак расскажет, что Екатеринодар взят и по станице проносится ура раненых, то оказывается, наши отброшены с тяжелыми потерями; а штурм гудит без перерыва третий день, все слилось в страшный гул большого сражения.

Мы, могущие передвигаться, вышли из сторожки и лежим на лугу у церкви.

— Я Перемышль, Львов брал, а такой канонады не слышал, — затягиваясь газетной самокруткой, говорит седой полковник с забинтованной головой.

— Они из Новороссийска тяжелые орудия подвезли, слышите, как ахают?

Все напряженно прислушиваются к сотрясающему воздух гулу орудийных залпов. Станичная церковка с розовым в золотых звездах куполом исстреляна; хромой старик-сторож показывает нам небольшой, стоящий в окне, написанный на стекле образ Христа; все окно выбито снарядом, кругом иконы осколки, но прислонившись к железной решетке, образ Христа стоит нетронутым.

В церкви полумрак, пахнет весенним воздухом и ладаном. В колеблящемся мерцаньи свечей ветхий священник с желтой по краям бородой, служит великопостное служение, прочувственно читая молитву св. Ефрема Сирина: «Господи, владыко

живота моего, духа праздности, уныния...»; и рушатся на колени, молятся раненые, плачут, не поднимаясь с колен женщины-казачки. И со стороны Екатеринодара все ревет артиллерия, от орудийных залпов содрогаются свечи и иконы в церкви.

Отслужив службу, неуверенной старческой походкой священник сходит по ступенькам паперти, опираясь о подожок, проходит к себе в разлапистый покривившийся дом.

Мы уходим спать в сторожку, но спать нельзя. Тяжелораненые мечутся, стонут; ночью из боя пришли обессиленные, с лицами странно незнакомыми, Варя и Таня, обе сели возле нас, плачут: Свиридов убит, Ежов убит, Мошков умирает, рота перебита, наши, то и дело, бросаются в рукопашную, бьются из-за каждого шага, то займут их окопы, то красные снова их выбьют. Вчера сестры складывали раненых под стога, а к вечеру красные отбросили наших, и подожгли стога, из огня слышались крики и стоны раненых.

Ночь проходит без сна. Раненые все прибывают, в сторожке нет уже места, их кладут снаружи, в ограде; раненая в грудь сестра кричит: «Воздуха, воздуха!»; среди общих стонов два офицера осторожно выносят ее на крыльцо; ставший санитаром пленный австриец, в своей еще серой австрийской куртке, и две сестры неловко вытаскивают из сторожки умершего, его руки волочатся по полу, голова свернулась на сторону; «осторожней-же!» стонут раненые.

На рассвете к нам в ограду внесли раненую екатеринодарскую сестру. Девушка с зелеными переменчивыми глазами, овсяными кудрявыми волосами, ранена пулей в таз, сильно мучится. За ней ухаживают наши сестры, от нее узнали, что в Екатеринодаре многие девушки пошли в бой, желая помогать раненым и красным и белым; и наши видели, как она перевязывала в окопе и тех, и других; там ее и ранили пулей в таз.

После бесчетных конных и пеших атак, на пятый день беспрерывного штурма, наши потери убитыми громадны; среди убитых командир полка подполковник Неженцев; обоз с ранеными утроился; мобилизованные казаки сражаются неохотно,

а сопротивление красных растет. «Когда идешь в атаку, от красных в глазах рябит», рассказывают раненые. Подвезенная из Новороссийска тяжелая артиллерия засыпает нас гранатами, а у нас уже нет снарядов, и белое кольцо добровольцев, охватившее Екатеринодар, голыми руками, теперь в свою очередь охватывается спешащими на выручку кубанской столицы красными. Бой с фронта, с тыла, бой везде и нам в этом бою подкреплений ждать неоткуда.

В это тяжелое утро ко мне в ограде церкви подошел капитан Ростомов, на нем лица нет.

— Корнилов убит, — глухо сказал он, — теперь все кончено, только ради Бога не рассказывай, приказано скрывать, боятся паники, разгрома, говорят о неизбежности нашего плена, ну, а там известно что, — и капитан лег рядом на траву и, закрыв лицо руками, замолчал.

Сердце словно оторвалось и утонуло; я не хотел бы верить, но недалеко от церкви, где возле хаты качается под ветром дуплистая ветла, на карауле стоят два текинца; в хату входят и выходят военные, там в простом гробу, украшенном полевыми цветами, лежит труп небольшого человека с монгольским лицом; генерал Л. Г. Корнилов лежит в походной, защитной форме; и все стоящие у гроба, даже часовые текинцы, плачут.

А под Екатеринодаром все ухают залпы артиллерии.

Его штаб стоял в небольшой хате у рощи, на высоком берегу вытянувшейся далекой лукой Кубани. Уже давно красные вели пристрелку по этому белому трехоконному домику и адъютанты уговаривали генерала бросить хату, но, занятый безнадежным роковым штурмом, он уже не обращал внимания на уговоры и на гранаты, изрывшие рощу.

Последняя граната, пробив стену, попала под стол, за которым сидел Корнилов. Его подбросило кверху, ударило об печь: ему раздробило висок и переломило бедро. Из дымящейся хаты адъютанты вынесли генерала на воздух, Корнилов умирал.

Когда стемнело, к нам в заваленную ранеными сторожку вошел запыленный обозный офицер в пропотевшей гимнастерке. «Господа!», закричал он, «укладываться на подводы! Только

тяжелораненых просят не ложиться, легко раненых отвезут, переложат на артиллерийские, а тогда приедут во второй раз».

Сестры Таня и Варя торопят укладываться, ехать и в их шепчущих настояниях я чувствую какую-то тайну. Я выхожу в ограду, на паперти темные очертания старого священника.

— Благословите, батюшка.

— Бог вас храни, — обнял меня дряхлый священник, целуя щекочащей бородой, — уйдете... с нами что будет... Господи... — произнес с вырвавшимся стоном, — завтра же ведь придут и начнут расстрелы.

По темноте еще резче плывет гул боя. Сестры несут одеяла, подушки, торопливо укладывают нас на подводе и Таня шепчет, что мы отступаем от Екатеринодара, что тяжелораненых бросают в Елизаветинской на произвол судьбы, сокращая хоть этим обоз.

Я забыл в сторожке пояс, ковыляю туда. Коптящая керосиновая лампа со стены освещает вороха измятой соломы. В углу кто-то тихо-тихо застонал, это мальчик-кадет с раздробленной ключицей, он лежит навзничь, желтый свет мутно озаряет его изможденное детское лицо с темными, отросшими за войну волосами.

— Все уехали... бросили... — не то через силу, не то в забытьи простонал кадет.

Догоравшая лампа наполняла сторожку колеблящимися тенями; тяжелораненый оставался в темноте ждать утренней расправы красных.

— Триста раненых бросили, а? Ведь не только на смерть, а на страшное истязание! При Корнилове этого никогда бы не было, — вполголоса говорит на подводе раненый в лицо Коля Сомов.

— Доктор и сестры наши с ними остались, — шепчет Таня.

Возчик понукает лошадей, рысью едем во тьме; над нами катится, уплывает оставшееся на полнебе золото созвездий. Мы не знаем, куда нас ведет заменивший Корнилова, новый главнокомандующий генерал Деникин.

XI.

В степях в эту темную ночь у железно-дорожной станции Медведовской решалась судьба. Здесь генерал Деникин наметил попытку вырваться из красного кольца; и здесь же в сети железных дорог Сорокин хотел нас нагнать, чтоб добить, уничтожить. Эта черная ночь решала все: прорвемся, затеряемся в степях, не прорвемся — смерть.

Скрывшись за чередой холмов, в степи, в ожидании прорыва притаился обоз. Пофыркивают уставшие лошади, без отдыха прошедшие семьдесят верст. На подводе нас шестеро. Под звездным небом мы молчим, приказано не разговаривать. «Ну, не прорвемся, ну, умру, ну и все», уговариваю я себя под налетающим на лицо степным ветром. Но я чувствую, что уговоры не действуют, ибо страшна не смерть, страшна п о д л а я р а с п р а в а.

Далекий орудийный залп. И тут же, свистя и завывая, близится гранатная очередь. Каждый из обессиленных раненых молит об одном, чтоб снаряды не попали в его подводу; это оголившееся животное чувство, которого каждый внутренно стыдится, но каждому о ч е н ь х о ч е т с я ж и т ь. По звуку несущихся снарядов все прикидывают: «по нас... не по нас» ... Страшный взрыв совсем рядом, за ним, может-быть, полсекундная тишина и вдруг кто-то ужасно кричит. Гранатами разбиты подводы, убиты лошади, убиты раненые, а казаку-возчику оторвало ноги, и это он, как шакал, завыл под золотом звезд.

— Да приколите ж его, — измученно говорит кто-то в темноте.

— Тише, господа, приказано ж не разговаривать.

И все смолкают в ожидании новой очереди, только возчик кричит страшно и тягуче; но вместо гранат далекую степную темноту разрезало вдруг внезапное, короткое ура.

— Ура, слышите, ура, атака, — завозились взволнованно на подводах раненые.

— Не волнуйтесь, господа, это наши черкесы атаковали их

артиллерию, — вполголоса с седла говорит едущий темный верховой.

Ура вдали оборвалось; замолчал и возчик, истек кровью. В звездной тишине внезапно стали слышны трещащие кузнечики и показалось, будто в этой степи никогда ничего, кроме тишины и треска кузнечиков не было; с накренившегося, как в исполинском соборе, купола прямо в глаза льются те же жестокие, непонятные, непостижимые звезды.

— Большую медведицу видишь?

— Да. А вон Геркулес.

— Геркулес, — сворачиваясь под одеялом, подрагивая от холода ночи, шепчет юнкер Сомов, — я вот возчика вспомнил, на две подводы всего нас-то перелетело.

Веет степной ветер, то холодноватый, то словно с кипяченой струей. Далеко, на темной линии горизонта, уже начинается рассвет. Он придет скоро, быть может слишком скоро и своим приходом может нас погубить. И словно предупреждая, исчезающую темноту неожиданно разорвал одинокий, испуганный выстрел. Тишина. Стрельба еще и еще. Сначала неуверенная, но чаще. Вот грохнула наша артиллерия, где-то с остервенением закричали ура. Раненые вглядываются в близкую темноту, разрезаемую огненными цепочками, по телу бежит дрожь, стучат зубы: прорвемся иль не прорвемся?

У станицы Медведовской, сотрясая ночь, гремит бой. Где-то далеко вправо и влево ухнули тяжелые взрывы, это наши взорвали полотно железной дороги, отрезая наступление красных; треща, заглушая стрельбу, высоким пламенем на станции горят вагоны с патронами.

— Господа, ради Бога, выгружать снаряды из вагонов! Кто может, скорей, это наше спасение! — скачут, кричат по обозу верховые. И раненые, кто может, спрыгивают, ковыляют к станции, вытаскивать снаряды красных из еще неохваченных пламенем вагонов, ибо у нас снарядов уже нет.

— Обоз рысью, вперед!

Этого чувства невозможно передать; еще не верится, что прорвались, но обоз уж поскакал, загалдел, машут кнутами

перепуганные возчики, попавшие на войну здорово-живешь; по мягкой степи лошади скачут в карьер.

Мы уж у железной дороги, вырываемся из кольца, здесь залегли наши цепи, отстреливаются на обе стороны и вправо, и влево; захваченными у красных снарядами наши орудия бьют по красным же прямой наводкой; и в открытые «воротца» из кольца, из паники, из смерти летит прорывающийся обоз. Падают убитые, раненые, лошади, люди, на путях кричат, бегут, машут винтовками; опираясь передними ногами о землю, храпит, не в силах подняться, окровавленный вороной красавец-жеребец, а возле него без движения раскинулся кавалерист во френче и синих рейтузах; но на мертвых не обращают внимания, под дождем пуль, с гиком, криками лазарет уже перелетает железную дорогу и дальше скачет карьером по степи.

Прорвались ... живы ... ушли ...

XII.

У Новороссийского вокзала, у закрытых семафоров, на путях необычайное скопление поездных составов, переполненных вооруженными матросами и красноармейцами. На теплушках коряво выведено мелом: «Да здравствует мировая революция!» На вокзале, на полу лежат красные бойцы, меж ними на узлах бабы кормят плачущих ребятишек; с руганью сквозь толпу продираются солдаты с чайниками кипятку; а с заплеванных грязных стен на эту человечью давку глядят приказы о сдаче под угрозой расстрела оружия и об уплате контрибуции новороссийскому пролетариату.

С вокзала мать не знала, куда итти. Кругом одинаковые домики железнодорожных рабочих, чахлые палисадники и на холмах незнакомый город. Белые акации напоили неизвестные улицы пряным запахом. Тарахтя и поднимая облака известковой пыли, прополз полуразбитый грузовик; над виадуком засвистал паровоз; мать перешла площадь и в первой грязно-унылой улице остановила хохлушку в свитке и солдатских сапогах, спросив, как ей пройти на Серебряковскую.

Было за полдень, когда на Серебряковской, во дворе сумрачного казенного здания, мать разыскала, наконец, Марью Ивановну Полозову. Конспиративно работавшая для белых, Марья Ивановна оказалась женщиной на пятом десятке, с круглыми вишневыми глазами, мягкими чертами лица и гладкозачесанными назад волосами. Несмотря на рассеивающее подозрение письмо, она приняла мать почти неприязненно; и только по мере рассказа, с каким трудом мать добралась от Пензы до Новороссийска, Марья Ивановна смягчалась и, наконец, заговорила сочувственно.

Первое о чем предупредила: быть крайне осторожной, в городе свирепствует чека, по подозрению в связи с белыми уже расстреляны сотни людей. Что же касается дела, то как бы она ни хотела помочь, сама не знает, где теперь белая армия: в степях, а где — неизвестно. Подумав, Полозова проговорила: «Я вам записку дам к капитану Белову, может-быть, он чем-нибудь поможет». И прямо от нее мать пошла в порт искать неизвестного капитана. В порту — темносинее море с далекими перевалами волн, у бухты серые очертания грандиозных элеваторов, над морем в ветре кричат уносящиеся чайки и далеко белеют трубами, как колоннами, цементные заводы на горной зелени. В однооконном флигеле, потонувшем в саду, мать нашла, жившего под видом рабочего, капитана. Загорелый, с наголо бритой головой, с беловатым вдавленным шрамом у переносицы, этот рослый рабочий в мазутом просаленной блузе, глянув на записку Полозовой, сразу в своих манерах стал офицером. Но ничего точного сказать не мог и он: белые штурмовали Екатеринодар, красные их отбросили, белые в степях, но где, неизвестно; кругом — все красное.

— Знаете что, — раздумчиво проговорил капитан, поглаживая ладонью бритую голову, — пойдите-ка вы к генеральше Цуриковой, авось, что-нибудь узнаете, там бывают сведения, а если не узнаете, приходите ко мне, у меня есть один план.

Назавтра мать шла по адресу, данному капитаном. На Соборной площади она вошла в отворенные настежь ворота, спросила игравшую в пыли тряпочной куклой девочку, где здесь

квартира номер три, и девочка указала на небольшой охряной домик во дворе. Там, в полутемной квартире, мать застала странное общество, какое можно увидеть только в революцию, когда в подполье ссыпаны самые разнообразные люди.

За чайным столом сидело человек десять мужчин и женщин. Статного господина, в военном кителе, без погон, присутствующие называли «ваше превосходительство». Это был сорокалетний голубоглазый человек с подстриженными усиками. Отношения его с генеральшей Цуриковой, пожилой, напудренной дамой с букляшками на морщинистом лбу, казались странно-близкими. Рядом с генеральшей грызла семячки женщина пронзительной и пышной русской красоты, приехавшая из голодного Петербурга певица. Возле нее, ухаживая и улыбаясь, сидел штатский, с ассирийской бородой, по манере говорить показавшийся адвокатом. Он рассказывал, как пробрался из Харькова. В комнате сидело еще человек пять мужчин и женщин, из которых привлек внимание матери один, грузный, в косоворотке, показавшийся переодетым, остриженным священником; и тут же в углу, в кроватке спал чей-то ребенок.

— Вы, стало-быть, на Дон, к белым хотите? — щуря глаза, оглядывая с ног до головы мать, говорила подвитая, насурмленая генеральша. — Но ведь сейчас это много труднее, чем даже вот наша поездка с генералом в Москву. Вы удивляетесь? Да, да, в Москву, — улыбалась генеральша, как будто говорила, что едет в оперу. — Хоть Дон и рукой подать, а пробраться нет возможности. Вот Владимир Семенович, помогите-ка нам, — тоном легкого, но беспрекословного приказания обратилась генеральша к адвокату, вполголоса разговаривавшему с певицей, — дама приехала из Пензы, ее сыновья у Корнилова. Где теперь может быть его армия.

Полнокровным баритоном адвокат стал рассказывать, что белая армия, вероятно, уже на Дону и единственный путь, правда, рискованный, это ехать, скажем, на подводе в Анапу, а оттуда на каком-нибудь судне с контрабандистами по Черному морю в Крым.

— Ну, скажем, в Керчь, — поглаживая бороду, говорил

адвокат, — и вот, если такое экзотическое путешествие удастся, из Керчи в Ростов уж можно ехать просто по железной дороге.

— Но кто сейчас в Керчи?

— Уверять не берусь, были и белые, были и красные. Но сейчас, по моему малому разумению, Керчь, как будто, заняли немцы, — показывая зеленоватую вставную челюсть, адвокат заулыбался, словно сказал что-то забавное.

Проведя вечер в этом обществе, где генеральша обсуждала поездку в красную Москву, певица рассказывала об ужасах голода в затерроризованном Петербурге, а Владимир Семенович о том, каким остроумным способом, избегая ареста, он бежал из Харькова, где зверствует чекист Саенко, расстрелявший больше трех тысяч интеллигентов и офицеров, — мать вышла на потемневшую улицу в тяжелой тревоге: квартира генеральши ей показалась подозрительной.

С этим тревожным чувством она и пришла к утонувшему в ржавой бузине однооконному флигелю капитана Белова. Но выслушав ее капитан, к удивлению матери, сказал, что адвокат прав и что сам он наднях бросает этот флигель и вместе с своим другом поедут именно так, на Анапу, а там по Черному морю в Крым.

XIII.

Ночью на товарном новороссийском вокзале нет огней, темнота, крики, выстрелы. Толпы красногвардейцев ломятся в поезда, тут же отряды матросов ловят мужиков-мешочников; слышен бабий плач, детский визг, мольбы, причитания и беготня вокруг вагонов.

В потрепанных рабочих пиджаках, в кепках капитан Белов и поручик Широ с бою влезли в освещенную огарком свечи теплушку; помогли влезть и матери. Теплушка с ранеными красными партизанами; в темноте курятся их цыгарки; полуощупью мать ищет место, а из вагонной глубины неясное очертание женщины продолжает, видно, давно заведенный

рассказ: «... сама в Екатеринодаре видела, привезли к гостинице Губкина, все комиссары вышли, сам Сорокин был, сказывали, выкопали его в степях, где кадеты закопали... что народу сбежалось... тыщи... спервоначалу на столб повесили, комиссар под музыку речь говорил, а потом по городу проволокли и на площади сожгли и начисто развеяли...» — засмеялась с хрипотцой женщина.

У матери захолонуло сердце и все-ж она не верит рассказу о конце генерала Корнилова; а темная женщина рассказывала правду.

— Теперь мы их всех кончим, — сказал лающий мужской бас с верхних нар, — с нами нынче самые главные генералы идут, Брусилов и все фронтовые в Москве на нас работают, нынче кадетам канцырь пришел.

Поезд задрожал, пошел. Мать прислонилась к стене, но ей не дремлется. Она слышит удары своего сердца и гудящие голоса красных партизан, видит пронзающие темноту огоньки их вспыхивающих цыгарок.

— Под Белоглинской сонными сволоту, ихний разъезд, захватили; один прапорщик молоденький, сукин сын, годов двадцать, не боле, сгробастал я его, молись, кручу, буржуйский выродок на мою портянку, — а Семка руки ему назад вяжет; нет, говорит, постой, мы энтого буржуя ще по степи потаскаем, по-кавалерийски, — в вагоне захохотали, — тащит он его к седлу, а прапорщик помертвел, аж синий, а все не сдается, гад, и взяла меня тут такая злоба, как садану я ему штыком в брюхо, он кричит, стерва, как заяц... — слышно как рассказчик сплевывает и жирно растирает в темноте плевок подметкой.

— Они нашему брату тоже скидки не дают.

— Война она и есть война, каку не возьми, что с немцем, что ета с кадетами.

— Эк сравнял козу с зайцем, — перебил прежний суровый голос, — ты на немца за што шел? Сам не знаешь за што, пер с винтовкой несознательно на твоего же брата пролетария. Он немец-то тоже больше твово воевать не хотел. А с кадетами смекаешь кого режешь, буржуй он везде одинакий.

И снова чей-то сонный, негромкий, слегка простуженный голос:

— А ты думаешь, им за погоны-то тоже сладко по степям с казаками мыкаться, тоже поди на печь к бабе слазить хочется.

— К бабе . . . — угрожающе-злобно процедил первый, — ты погодь залезать-то, порежем буржуев, тогда и к бабе полезем . . . греться . . .

Сердце у матери готово вырваться из груди, ей кажется, что это и есть ее пензенский страшный сон наяву, что это ее сыновей в степях убили красные партизаны; капитан Белов тихо посапывает во сне и рядом с ним, свернувшись, спит поручик Широ.

XIV.

К Черному морю, к Анапе подвода подъехала к вечеру. Пунцовое солнце, поджигая небо, погружалось в тихие воды. Соленый воздух, оранжевые, тающие сумерки над разбросанными одинокими домами, все было хорошо и спокойно после шумящего пыльного Новороссийска.

Но и Анапа — красная. Каждый вечер по морскому берегу идут патрули, стерегут подплывающие парусники, баркасы, лодки. И все-таки беглецы ежедневно бродили вдали от мола, по высокому берегу, ожидая, что на счастье, может-быть, и подплывет какое-нибудь судно. В дежурство капитана Белова к пустынному берегу причалил заросший ракушками катер, с него слезли машинист в замасленной русской рубахе и какой-то краснолицый, рыжий гигант, по виду человек дикой силы, оказавшийся владельцем судна.

Белов с ними закусывал в прибрежном трактире, угощал новороссийским самогоном, долго торговался и, наконец, рыжий согласился итти с беглецами в Керчь под условием: плыть, как будто, легально в красный Новороссийск, а уж в открытом море он положит курс куда надо.

— Дело сурьезное, расстрелом пахнет, — глухо проговорил рыжий, опрокидывая в широкий рот полустакан самогона.

К часу отплыли, мать спешила к молу с тоскливо обмирающим сердцем. На волнах уж качался катер, ожидавший беглецов, их собралось десять. Плыли: Белов, Широ, мать, под видом учителя полковник Каменский, впоследствие поднявший восстание на Тамани, худой болезненный еврей-интеллигент с двумя чемоданами, два грека-контрабандиста, военный врач, неповоротливый русский немец, будто слепленный из сырого теста и, под видом бухгалтера, сухенький кавалерийский генерал с нарумяненной женщиной, как казалось, легкого поведения.

Мрачный чекист с ртом лягушки и мутными, словно плавающими в грязной жиже глазами, мучительно долго проверял у сходен пропуска. Наконец, владелец катера не выдержал и, подмигнув, отвел в сторону чекиста. Пошептавшись с ним, он вернулся и чекист, действительно, быстро впустил всех на судно.

Подбрасываемый волнами катер заскрипел, среди бела дня стал отходить от красной Анапы в открытое море. С багровым лицом, обветренным морскими ветрами, рыжий капитан стоит у руля. Пока виден маяк, он держит курс на Новороссийск и переполнившие катер беглецы взволнованно ждут, когда скроется острый шпиль маяка. Волны топят его, но маяк еще виден, то исчезая, то мелькая над водой; наконец он затоплен; кругом только волны пенящимися, шипящими гребешками ударяют в борта, да низкие кубовые тучи идут над морем.

— Погляди-ка, что там такое? — проговорил Белову Широ, передавая большой военный бинокль.

У всех захватило душу: на горизонте, нагоняя катер, вырисовалось судно.

— Моторная лодка, идет прямо на нас, — не отрываясь от бинокля, произнес Белов.

И радостное ощущение побега ушло. В страшном ожидании беглецы глядят на близящуюся, подбрасываемую волнами моторную лодку. Но вдруг она круто легла влево и сгинула, словно утонула. И опять ничего кроме волн и туч, только тучи все черней, волны высоко перекидывают судно, словно бросая

его с мокрых рук на мокрые руки. Но Белова и Широ волнует рыжий капитан, он упорно не меняет курса. Может, большевик? Может, плывет к Таманскому полуострову, чтобы выдать? Может, он сговорился с чекистом? Волнение беглецов растет.

— Мы не на Керчь, а на Тамань идем, — говорит капитану Белов.

Рыжий не отвечает, пожимает плечом. Но возле него Широ и Белов с револьверами.

— Клади на Керчь! — разъяренно кричит Белов, — до Тамани все равно не дойдешь, первую пулю тебе пущу!

Рыжий повернул темное от злобы лицо, с выставленной, отекшей челюстью.

— Становись сам на руль, если хочешь!

И Белов стал на руль, сменив капитана.

Ночью волны растут, начинается буря, вырастает новая опасность: потонуть. Сжатая на корме мать не заметила, как военный врач сел на единственный спасательный круг; каждый раз с ног до головы его обдают волны, но он сидит на круге. Еврей у борта страдает морской болезнью. «Ох, ради Бога, оставьте меня», стонет он, вырываясь из рук Широ. «Да, я же вас держу, вы за борт опрокинетесь!» И в эту бурю, в качку только десятилетний мальчишка, сын капитана, сладко спит в каюте катера.

Около трех часов ночи из морской черноты внезапно вспыхнули сильные огни. Генерал сказал:

— Господа, это «Гебен».

— Какой там «Гебен», это Феодосия, — засмеялся грек.

Никто не мог определить: что за огни? И решили до рассвета не двигаться, бросив якорь в утихающие воды.

XV.

По весенним степям армия едет теперь на подводах: и строевые, и раненые. Кто говорит, что Деникин нас ведет в Терскую область, кто — на Дон. Движемся куда пробьемся. В зелени степей одна за другой проходят облитые яблоновым

цветом станицы, берега тихих, стеклянных голубых рек. Все эти станицы схожи, но во всех веками слаженный быт теперь взломан гражданской войной. Дядьковская, Бекетовская, Бейсугская, Ильинская. В Успенской мы останавливаемся на отдых и в станичной церкви встречаем вербное воскресенье.

Стрельчатая деревянная церковь полна молящимися, раненые стоят, опираясь на палки, на костыли, многие с забинтованными головами, с руками на перевязи, лица исхудалые, глаза впавшие, все с вербами и свечами. Поются тревожно-торжественные великопостные песнопения. Ближе к алтарю, с толстой свечей стоит главнокомандующий генерал Деникин с Георгием на шее, чуть позади него генералы: Романовский, Эрдели, Покровский, атаман Филимонов.

На паперти вечерняя темнота пахнет жасмином. Раненые сидят на приступках. Василий Лаврович в обшарпанном штатском пальтишке, подпоясанном ремешком, рассказывает окружившим его офицерам, что в Успенской нас разыскала делегация донских казаков, зовут на Дон, а Дон весь уж в восстании против красных.

— Наконец-то раскачались донцы.

И этот неожиданный просвет всеми ощущается и как спасение, и даже как слабая надежда на будущую победу.

Из Успенской снова на подводах едет по степи армия; перемежаясь с подводами скачут конные черкесы, казаки; но теперь уже все знают: едем на Дон. Путь туда лежит через ту же Лежанку. Миновав несколько станиц, мы въезжаем в нее ранним утром, но теперь без боя и с другой стороны. И пока квартирьеры не развели еще нас по квартирам, наша подвода, запряженная парой вороных лошадей, останавливается на той же площади у церкви. Тогда здесь лежали трупы. Теперь на сочнозеленой траве, с редкими желтыми одуванчиками, пасутся словно фарфоровые, пятнистые телята и играют ребятишки.

На длинногривых потных конях на площадь вскакали два запыленных казака, в синих чекменях, в шароварах с лампасами, в фуражках удальски сбитых набекрень, с вырвавшимися на волю чубами; оба как сорвались с батальной картины.

Когда они спешились, их обступили слезшие с подвод раненые.

— Все встали, чисто как один, из половины области начисто большевиков выгнали, — говорит кривоногий, скуластый казак, потряхивая серебряной серьгой в пыльном ухе, — теперь их, гадов, до Москвы погоним, вас только и дожидаем.

— Стало-быть уж не будете нас обстреливать, как раньше-то, в феврале? — говорит худенький, в чем душа держится, раненый в голову шестнадцатилетний кадет.

Казак грубо расхохотался.

— Да рази ж мы кады обстреливали? Теперь не сумлевайтесь, на себе камунию испытали, и стар и мал за винтовку схватились.

Квартирьеры кричат на краю площади, разводят по улицам со скрипом тронувшиеся подводы. У небольшой мазанки, присевшей в зелени сада, мы слезаем с телеги: это наша квартира на эту ночь. В хате на столе позеленевший самовар, кое-что нашлось и поесть, но хозяйка, тощая, темноглазая баба еле отвечает и не садится, а подпершись рукой стоит у стены.

— Что, хозяйка, не садишься-то?

— Да постою. В прошлый-то раз вы были что-ль?

— В феврале-то? Были. А что?

— Ничего. Народу много побили.

— У тебя кого-нибудь убили?

— Мужа убили, — говорит она глухо и невнятно, без всякого выражения.

Но в избе сразу выростает связавшее всех молчание, вероятно, потому что она кормит нас, убийц ее мужа, и мы будем спать на той же печи, где она спала с ним.

— Где ж его убили?

— Недалечка, вышел он из хаты, его бонбой вашей и убило.

— Снарядом?

— Чи снарядом, чи бонбой, хиба ж я знаю, — хозяйка вздохнула, помолчала. — А сегодня к вашему начальнику ко-

миссар с хлебом-солью выходил, все народ уговаривал не бежать, так, говорит, лучше не тронут.

— Да чего ж бегут-то?

— Боятся, вот и бегут, — и сильно оттянув нижнюю губу, хозяйка утерла рот подолом фартука и вышла в сени.

На утро она уж будто попривыкла, попригляделась к нам, страх и недоверие рассеялись; осмелела и ее дочка Маша, девочка в ситцевом в цветочках платьице, с глазами, как серебряные пятачки. Она улыбается нам и, сидя на корточках, заглядывая в бумажку, хрипловатым детским баском поет на мотив Стеньки Разина песню, явно только для того, чтобы мы ею заинтересовались.

— Это что же ты поешь, Маша, а?

— Маша, улыбаясь, закрывается бумажкой.

— Песню, — говорит она грудным баском.

— Это у нас песню сложили про первый бой, — говорит баба.

— А ну-ка, Маша, покажи.

Зажав в протянутой руке бумажку, девочка смущенно прошлепала ко мне по земляному полу и отбежав, еще больше смутившись, присела у стены. На бумажке каракулями выведено:

ПЕСНЯ:

Долго, долго мы слушали
Этих частных телеграм,
Наконец мы порешили
Защищать лежанский план.

И вступивши мы в Лежанку
Не слыхали ничего.
А на утро только встали
Говорят нам все одно.

Что кадеты идут в Лежанку
Не боятся ничего.
И одно они твердят,
Заберем всех до одного.

Лишь кадеты выступали,
Выходили из горы,
То мы все приободрились
Взяв винтовочки свои.

Положились мы в окопы,
Дожидались мы врага.
И мы их сперва пустили
До Карантирского моста.

Тут же храбрый наш товарищ,
Роман Никифорович Бабин
Своим храбрым пулеметом
Этих сволочей косил.

Он косил из пулемета
Как хорош косарь траву,
Крикнем, братцы, мы все громко
Ура товарищу Бабину!

Пулеметы помогали
Пехотинцам хорошо.
Батарея ж разбежалась
Не оставив никого.

И орудья побросали
По лежанскому шляху,
А затворы поснимали,
Все спешили ко двору.

А пехота дострелялась,
Что патронов уже нет,
Хоть она и утеряла
Двести сорок человек.

Жаль товарищей, попавших
В руки кадетам врагам.
Они над ними издевались
И рубили по кускам.

Я спою, спою вам, братцы
Показал вам свой итог,
Но у кого легло два сына,
Того жалко, не дай Бог!

— Кто этот Бабин?

— Солдат был, — говорит хозяйка, — на площади его хата. Да, сказывают, на пулемете его ваши закололи.

Кругом мазанки деревенская тишина; степное высокое солнце; тихое хрустальное небо; в запущенном саду в ветре поблескивают листья тополей; за огородом, за гумном синеет река, а за ней ушли на Дон могучие степи. На дворе у завaленки соседской хаты, на солнечном пригреве сидит коричневая, как индеец, бабка и из морщин печеного лица на меня чуждо и непонимающе глядят глаза выцветшего голубого ситца.

— Здравствуйте, бабушка, вы уж простите, что поселились-то у вас, ничего не поделаешь, не наша воля, — стараюсь я задобрить старуху.

— Чего там сердиться, только говорю, праздник большой скоро, — прошамкала и отвернулась.

Но я не отступаю от старухи, говорю с ней о том, о сем; русскому человеку ведь надо только почувствовать душевную открытость собеседника и он побежден. Я вижу, как бабка уже смотрит на меня по-иному и даже сама позвала к себе в хату. В ее хате над столом висит карточка удалого унтер-офицера пограничника, на декоративно-фотографическом коне лихо взмахнувшего шашкой.

— Что это, сын?

— Сын, — шамкает старуха и пожевав губами, глухо говорит, — ваши прошлый раз убили.

Теперь и в старухиной хате рождается то же неловкое молчание.

— Что ж он стрелял что-ль в нас, что его убили?

— Какой стрелял, — пробормотала старуха и пристально глядит на меня спрятавшимися в морщинах, выцветшими глазами; и словно удостоверившись в сочувствии, заговорила, будто только и ждала, чтобы хоть мне, хоть кому-нибудь, в который раз выговорить все свое жестокое материнское горе. — На хронте он был на турецким ... в страже служил, с самой двистительной ушел ... ждала я его, ждала, он только вот перед вами вернулся ... день прошел, к нему товарищи, говорят: наблизация вышла, надо к комиссару иттить ... а он мне говорит: не хочу я, мама, никакой наблизации, не навоевался што-ль я за четыре года ... не пошел, значит, а они к нему опять, он им: я, говорит, в кавалерии служил, я без коня не могу, а они все свое — иди, да иди ... пошел он ранехонько, приносит винтовку домой ... Ваня, говорю, ты с войны пришел, четыре года отвоевал, на што она тебе? Брось ты ее, не ходи никуда ... што Бог даст, то и будет ... и верно, говорит, взял ее да в огороде и закопал ... закопал, а тут ваши на село идут, бой начался, он сидит тут, а я вот вся дрожу, сама не знаю, словно сердце что чует. Ваня, говорю, нет ли у тебя чего еще, выкини ты поди, лучше будет ... нет, говорит, мамаша, ничего ... а патроны-то эти проклятые остались, его баба-то увидела их ... Ванюша, говорит, выброси их ... взял он, пошел ... а тут треск такой, прямо гул стоит ... вышел он на крыльцо, а ваши вот и вот во двор бегут ... почуяла я недоброе, бегу к нему, а они его уж схватили: ты, кричат, в нас стрелял! он обомлел, сердешный, — старуха заплакала, утираясь негнущимися старыми пальцами, — нет, говорит, не стрелял я в вас ... и я к ним бегу, не был, говорю, он нигде ... а с ними баба была, доброволица, та прямо на него накинулась, сволочь, кричит, ты большевик! — да как в него выстрелит ... он вскрикнул только, упал ... я к нему ... Ваня, кричу, а он поглядел и вытянулся ... плачу я над ним, а они все в хату ... к жене его пристают, оружие, говорят, давай, сундуки поотрывали, тащат все ... внесли мы его, вон в ту горницу, положили, а они сидят здесь вот, кричат, молока давай, хлеба давай, а я как помешанная, до молока мне тут, сына последнего

ни за что убили... и бабка заплакала, закрывая лицо жилистыми, коричневыми, словно глиняными руками.

— Он один у вас был? — сказал я после молчания.

— Другой на австрийском хронте убитый, давно уж — всхлипывает старуха и сквозь слезы говорит, — ... а парень то какой был, уж такой смирный, такой смирный, — и близко наклонившись, показывая на притаившуюся в углу хаты трехлетнюю светлоголовую девчонку, старуха зашептала, — девчонка-то без него прижита, другой попрекал бы, бил, а он пришел, ну, говорит, ничего, не виню я тебя, только смотри, чтоб при мне этого не было ... — и размазывая по старческим щекам грязные слезы, старуха снова беззвучно заплакала, затряслась.

Я еще раз посмотрел на лихого русского пограничника, провоевавшего четыре года, посидел с старухой, но разговор уже не клеился, старуха выплакалась, выговорилась и молчала, теперь я ей был уже ненужен.

Я пошел к своим раненым, чтоб собираться в церковь: сегодня Великий Четверг.

И эту сельскую церковь, как всякую, обняла сплошная заросль сирени и жасмина. Ночь весенне-синяя, благоуханная. Из церкви нежными звуками выплывает великопостное пение «Разбойника благоразумного ...», замирая в воздухе, напоенном сиренью.

После службы, дрожа в сельском мраке, уплывают желтые языки свечей от двенадцати евангелий; в слепых оконцах вздрагивает их свет, а где-то в далеких степях вздыхает артиллерия, это бьются казаки с красными.

— Тут, в церкви, служба идет, а на площади на виселицах какие-то повешенные качаются, — говорит кто-то в темноте.

XVI.

Степь, степь, без конца, без краю, зелена ее самая далекая даль, только кое-где кровяными пятнами алеют воронцы, дикие степные тюльпаны. От станицы до станицы мы трясемся на

подводах, мы вернулись на Дон. Сколько дней, недель я не слезал с этой казачьей телеги? Еду, глядя то в знакомую голубь неба, то на тучи, то на зелень степи, то сплю под ветром в темноте ночи. Едучи, вспоминаю Пензу, которая летом всегда пахла известью и пылью. Вспоминаю из детства, как я, восьмилетний, иду по Московской с матерью, мать в каракулевой кофте, на морозе легко и приятно пахнущей какими- то тонкими духами. На углу она покупает у крикливого газетчика листок и, читая его, вдруг плачет, рассказывая со слезами о гибели русской эскадры в Тихом океане; и мне тоже необычно страшно от этой гибели людей в каком-то далеком океане. Пенза, мать, как все это далеко. Жива-ли она? — думаю я. Потом я вспоминаю Москву, как на Пасху студентами, целым скопом, ходили к светлой заутрени в Кремль и на кремлевском дворе, под гул пушек, под перезвон колоколов христосовались с кем попало; вспоминаю свою невесту, Олечку Новохацкую, как иду с ней по Тверской и у нее такие золотые и такие кудрявые волосы, что глядя на нее, прохожие останавливаются, а она, стесняясь, смеется и светлые глаза ее становятся и веселыми и застенчивыми. В революцию я потерял и ее, она бежала из Москвы с семьей куда-то в Закавказье, к границам Персии. Все это сейчас в степи кажется утонувшим. Так мы и трясемся, шесть раненых корниловцев, на подводе в общем движении степного лазарета; каждый думает о своем. Я думаю и о том, что эта гражданская война м н е н е н у ж н а, что мое участие в ней бессмысленно, что приехав в Новочеркасск, я уйду из армии. И я вспоминаю, как мы ночевали в станице Плотской, в убогой хате иногороднего столяра. С враждебным, наглухо закрытым лицом он, недоверчиво усмехаясь, спросил меня: «Ну, а скажите вот, за что вы воюете?» — «За Учредительное Собрание», ответил я и, чтобы пояснить ему, говорю: «оно было выбрано всем народом, большевики разогнали его, силой захватили власть, вот я и воюю против них, потому что думаю, что только народом избранное Учредительное Собрание даст русским людям свободу и спокойную трудовую жизнь». Но столяр еще недоверчивей усмехается. «Ну, конечно, вы образо-

ванный . . . оно вам может и понятно. А вот скажите, именье-то у вас есть?» — «Есть . . . было . . . », говорю. И столяр вдруг хохочет, смехом показывая, что выиграл спор. Также как фронтовые солдаты, он искренне не в состоянии поверить, что именья для меня не существует, что у меня есть большие богатства; у меня есть русская культура, есть Пушкин; и в эти степи я пришел защищать их. Но ведь и гвардии-полковник Пронский, и большинство офицерства, также как иногородний столяр, этого не понимают; они, действительно, здесь защищают «именья». И в донских и кубанских степях мне «с моим Пушкиным» нем места меж смертельно схватившимися конногвардейцами и столярами.

Мимо наших подвод уходят станицы Егорлыцкая, Мечетинская, Кагальницкая, Хомутовская. В Манычской всех раненых перегружают на пароход и теперь, в предчувствии близкого отдыха, мы, радостные, плывем по желто-илистому Манычу. Ни свиста осколков шрапнелей, ни завываний гранат, ни пулеметного тявканья, все это вместе с трупами товарищей осталось в степях. Раненые лежат на палубе и только теперь видно до чего измучены бледные лица, устали глаза; вместо обуви ноги обмотаны тряпками, шинели изорваны, простреляны. Пароход выпускает сизый крутящийся дым; сирена длительно замирает на водном просторе.

Мы вплыли из Маныча в светлосеребряный Дон, мощным разливом затопивший луга и леса. Водный простор Дона так велик, что не окинешь глазом. Пароход проплывает мимо древней казачьей столицы, Старочеркасской, где хранятся цепи Степана Разина и живет история казачьих смут. Но вдруг у борта кто-то вскрикнул:

— Господа, немцы!

На легких волнах Дона качается лодка. За веслами сидят немцы в стальных касках, а на руле барышня в чем-то кисейном, белом. Стало-быть, эти каски, подтаскивавшие к окопам «Русский вестник», дошли-таки до Дона?

— Это что-же, союзники или победители? — усмехается

шесть раз раненый в войну с Германией, заросший грязной бородой капитан.

— А баба-то! Смеется еще, а?

Вдали на горе золотом горит Новочеркасский собор. Вшивые ,голодные, оборванные, грязные, безрукие, хромые раненые уже сходят по сходням на берег; это Аксай. У пристани откормленный немецкий лейтенант, с моноклем в глазу, отдает какие-то приказания своим солдатам, стоящим с деревянно-откинутыми назад руками. Поотдаль кучкой стоит много немцев-солдат и, показывая на нас, все чему-то смеются. Что-ж, есть над чем и посмеяться.

Идущие по берегу русские прохожие тоже останавливаются перед нами с удивлением. Лабазник с лоснящимся из-под картуза лицом плаксивого жулика, подойдя ко мне, осторожно спрашивает:

— Откеля будете? Кто такие?

— Корниловцы, из похода вернулись.

— Аааа, — безразлично-успокоенно тянет лабазник, словно: «ну, это, мол, нам мало интересно», и спокойно ускоряет шаг.

XVII.

Здесь в Новочеркасске недавно еще застрелился атаман Каледин и ворвавшиеся в атаманский дворец казаки, во главе с Голубовым и Подтелковым, зверски убили заместившего его атамана Назарова. Из госпиталей красные выбрасывали тогда в окна белых раненых, добивая на мостовой штыками и прикладами. Потом, восстав против красных, казаки убили Голубова и Подтелкова, а оставшихся в городе красных раненых так же добивали на тех же мостовых. Много крови пролито в Новочеркасске. Но когда мы опять вошли в эту прекрасную донскую столицу, ничто, казалось, в ней и не менялось. Так же мелькают красные лампасы, околыши, чикчиды, шпоры, волнуются в ветре батистовые женские платья, стучат острые французские каблуки, блестят начищенные офицерские голе-

нища, золотятся погоны. Только мы, вернувшиеся из похода, похожие на нищих корниловцы, нарушаем картину этой легкой городской жизни. Но я и не обращаю внимания на вопросительные взгляды и удивление останавливающихся перед нами горожан. Я сейчас счастливее всей этой толпы. Толпа не понимает ведь, какая эта радость, после всего пережитого, итти и вдыхать запах освеженных дождем тополей, видеть голубые лужи или вдруг услышать откуда-то вырвавшуюся музыку рояля.

XVIII.

Когда по морю поползли полосы холодного рассвета, стоявший на корме капитан Белов закричал: «Господа, это Керчь! Ей-Богу! И мы, кажется, пролетели прямо по минным полям!» Выбрав якорь, катер тронулся к Керченской пристани. Несмотря на ранний час, на пристани у сходен беглецы увидели бритого человека с тяжелым животом, одетого в чесучевый пиджак и в пробковый шлем «здравствуйте-прощайте»; это был немец из комендатуры. На чистом русском языке он потребовал предъявить документы. И вместе с ощущением большого счастья, что, рискуя жизнью, все-таки ушли от красных, в душе матери дрогнуло чувство унижения.

— Да-с, тело-то радуется, а душа-то болит, — уходя с пристани, кивнув в сторону немца, проговорил кавалерийский генерал, которому теперь уже не нужно было ни от кого скрываться.

На улице у пристани простонародная толпа; из нее кричат: «Ну, как там в Новороссийске-то?»

— Плохо в Новороссийске, — бросает Белов.

— Плохо? Тебе тут, под немцем хорошо!

И где-то в душе рождается зависть к чувствам простонародной рабочей толпы, могущей пришедших в Россию немцев т о л ь к о н е н а в и д е т ь. Но от перенесенного путешествия, волнений, недоедания, качки мать до того слаба, что еле дошла до первой гостиницы, легла и заснула.

XIX.

В лазарете на окраине города, в старом липовом саду я и брат лежим в синеполосатых халатах. Какие-то газетчики пишут в ростовских газетах о нас, как о «героях духа», «титанах воли», «о безумстве храбрых», о «горсти горящих любовью к родине», а в лазарете нет ни одеял, ни простынь, ни белья, вместо хлеба за обедом подают на блюде хлебные крошки и по пущенному подписному листу ростовское купечество собрало для нас... 476 рублей.

Но сюда в сад все чаще приходят взволнованные женщины; это матери, жены, невесты, сестры; они ищут женихов, братьев, мужей, сыновей. Одни находят, другие узнают о смерти, третьи остаются в неизвестности и все плачут, не в силах сдержать ни радости, ни горя, ни своей тоски. Ко мне подошла высокая девушка с тонким смуглым лицом и широкими блестящими глазами.

— Простите, вы не знали корнета Штейна?

— Штейна?.. нет... Господин ротмистр, — кричу я знакомому, — подите, пожалуйста, сюда!

Как подстреленная птица, гусарский ротмистр прыгает к нам на костылях. Он, оказывается, хорошо знал корнета Штейна, но боевой гусар почему-то смутился и замялся перед девушкой.

— Я невеста корнета Штейна, — говорит она, — вы не бойтесь, я знаю, что он убит, я хочу только узнать все о его смерти.

И сначала растерявшийся ротмистр теперь рассказывает ей, как жених ее поехал в разъезд в Горькую Балку, как разъезд этот выдала большевикам баба, у которой они заночевали, как большевики захватили кавалеристов и изрубили сонных, как потом, войдя в слободу, наши мстили за изуродованные трупы товарищей и расстреляли предательницу-бабу.

Блестящими, широкими глазами девушка глядит в цыгански загорелое лицо ротмистра и по этим глазам я не пойму, что она чувствует, что вызывает в ней жестокий рассказ о

судьбе ее жениха и зачем ей нужны эти страшные подробности гибели корнета Штейна. Ротмистр кончил, больше рассказывать нечего; он неловко что-то бормочет, раскуривая старую трубку. Девушка встала, благодарит, протягивая руку, стянутую белой перчаткой, и в аллее скрывается ее стройно колеблящееся очертание.

В лазарет пришла и моя мать, добравшаяся, наконец, до донских степей. Сейчас она готовится к самому страшному: убиты. Старшая сестра в канцелярии перед ней листает перечеркнутые, истрепанные списки участников «Ледяного похода». Тонкий палец сестры с обручальным кольцом, наконец, остановился, сестра разбирает имена и, не поднимая головы, спрашивает:

— Роман и Сергей?

— Да.

Молчание.

— Оба ранены, на-днях выписались на отдых в станицу Каменскую, — быстро произносит сестра, вставая и захлопывая книгу, и куда-то торопливо выбегает, кому-то что-то крича.

Когда, через день, я и брат вошли в гостиницу к матери, она бросившись к нам, была в силах выговорить только:

— Нашла . . . нашла . . .

Роман Гуль.

(Продолжение следует)

СЕЛО ИЛЬИНСКОЕ*)

I.

Немного пестрых красок надо,
Чтоб занести на полотно
Ворота, двор, забор вдоль сада,
Мой домик, выцветший давно,
Кривую длинную аллею
Из лип столетних и за нею,
Чуть видимый сквозь полумглу,
Изрытый стадом спуск к селу
И дальше — поле за дорогой,
Где пожелтел уже овес,
И над оврагом ряд берез
И купол сосен, темный, строгий,
И снова поле за рекой —
Простор безлюдья, сон, покой...

II.

Еще есть церковь возле парка,
Прибежище святое, где
Поникший дух в молитве жаркой
Вновь обретает мощь в беде
И к чьей ограде здесь, как всюду,
Влачится боль, взывая к чуду,
И блудные на Божий Суд
Свое терзание несут...

---

*) Эти неизданные стихотворения покойного поэта были доставлены нам г-жей М. Балтрушайтис. **Ред.**

Как есть и сельское кладбище,
Чей неминуемый порог
Приемлет бремя всех дорог,
Открыв последнее жилище,
Где молкнет смех средь мшистых плит
И горе беспробудно спит...

III.

Таков убогий мир, в котором
Живу, сквозь призрачный покров
Стараясь вникнуть в часе скором
В недвижный замысел веков...
Но, дав мне в жизни мир мой малый,
Не боль изгнанья и опалы
Вложил Создатель в грудь мою,
А славословье бытию —
Коль славен русский жребий трудный,
Мох ветхих крыш, гнилой плетень,
Дым нищих сел, где дремлет тень —
И да святится колос скудный
В полях, объятых тишиной,
Как нежный лик страны родной...

IV.

Она теперь в глубоких ранах
И вся в запекшейся крови,
Но зреет в северных туманах
Срок искупительной любви,
И в темную обитель дрожи
Войдет, как пламя, Отрок Божий
И будет ярко горяча
В руках невольничьих свеча —
И в щедрый дар за крест суровый
Где было бремя всех забот,

Наш древний посох расцветет
И дивный трепет жизни новой
Молитвенно, в победный час,
Как чудо солнца, вспыхнет в нас...

Село Ильинское,
9-VIII-1915.

ЛЕСНОЙ ВОДОПАД

Пробил час зеркальной глади
И беспечный сон речной
Заметался в водопаде,
Став дрожащею волной.

Вместо легкой, светлой зыби,
Что, качая день, текла,
Хлынул вал, от глыбы к глыбе,
В глубь гранитного жерла.

Дрогнул строй прибрежных елей —
Рвутся, делятся стволы
В вихре снежных ожерелий,
В дымных взрывах белой мглы.

И разбился на иголки
Отблеск солнца в небесах,
Дробным блеском, искрой колкой,
Озаряя шумный прах.

Только грохот и тревога
Всей поверженной волны —
Что же так хрупка у Бога
Чаша сна и тишины?

Ю. Балтрушайтис.

Пушкино,
27-XII-1912.

У КАМИНА

Я. И. ВЕНДЗЯГОЛЬСКОЙ

Светло: огонь от дров все выше...
Тепло здесь в старом кунтуше.
Вверху же дым скользит по крыше,
Как вихри злобы — по душе.

Уют внутри, снаружи — стужа.
Казалось: днем нет места лжи,
Но тьма пришла, нам обнаружа,
Что мы — у вражеской межи,

Что мы, как жуткий призрак дома,
Которым властвует зима,
Что нам и ненависть знакома
И нежность райская сама!

В. Ильяшенко.

Рио-де-Жанейро,
20-VII-1945.

ГОЛОСА ПАМЯТИ

I.

Помнишь ли ты запущенный сад
На берегу реки?
В скудную тень железных оград
Прятались рыбаки.

Солнечный луч реку серебрил —
Ты наклонилась слегка
И на горячем железе перил
Затрепетала рука.

И на воде заплясали кругом
Брошенные лепестки...
Может быть, было это в другом
Мире — и у другой реки.

II.

О чем говорили? Не знаю, забыла.
Но помню деревья, скамейки и сад.
И желтую пену в воде — словно мыло!
И длинные синие тени оград.

И помню: вернулась домой до обеда
И ключ уронила на черном крыльце.
И помню тебя — как скривила победа
Надменные губы на темном лице!

III.

Я устала, смертельно устала —
Алмаз потускнел в кольце.
Я давно и считать перестала
Морщины на желтом лице.

На камине разбитая кружка
И рядом морская звезда.
На диване примята подушка,
Где ты не сидел никогда.

И как просто тебе это было,
А мне — искусительный бред.
Или думаешь, я забыла
Тоску коротких бесед?

Закручу я в узел заветный
Волос поседелую прядь —
И увижу как огнецветный
Алмаз загорится опять!

М. Кригер.

*
**

Забудь о прошлом. Это было сном.
Нам жизнь другую рассказала повесть.
И верный страж, заботливая совесть
Любовно бдит у входа в тихий дом.

Тревожных дней далек раскат задорный.
Не манит в бой и ветер удалой...
Лампады свет и строгий аналой,
И над Святым — расшитый плат узорный.

А у креста, моляся в тишине,
Закрыв глаза, забыв о прежнем счастье
Душа стоит. Над ней незримой властью
Опущен полог, тканный в вышине.

*
**

Так было решено когда то,
В какой то миг, в веках, давно...
И послано от брата брату —
Лучем иль камнем — все равно.

«Неси!» гласило так заданье.
«Не урони. Ведь счастье — тлен.
И помни, что с больных рамен
Возьмут твой груз лишь в Божьем зданье».

Татиана Тимашева.

ДВА ОКТЯБРЯ

Господин Молотов в тридцатую годовщину Октября произнес очень существенную и откровенную речь.

Ведь это он несколько лет тому назад по поводу постоянных рассуждений иностранцев о «таинственной загадочности политики советов» — сказал: никаких загадок в нашей политике нет; каждый, кто умеет читать, может ее легко понять.

И действительно, молотовская речь в Большом московском театре 6 ноября 1947 года доказывает, что в политике Кремля все ясно и доступно пониманию всякого мало-мальски грамотного в политике человека; если он, конечно, хочет читать то, что написано, а не то, что ему хочется, чтобы было написано.

Конечно, утверждая, что ленинско-сталинская политическая азбука проста и честна, как букварь, Молотов отнюдь не хотел сказать, что коммунисты всегда честно относятся к слову. Совсем нет! Это было-бы кощунственным отрицанием заветов Ильича. Ибо ложь, как средство завоевания несознательных масс и разложения капиталистического враждебного мира — является одним из самых могущественных средств коммунистической тактики.

Молотов, отрицая с негодованием загадочность коммунистической политики, сказал только одно: мы не скрываем и никогда не скрывали нашего учения, наших целей, средств их достижения, отношения к, так называемой, общечеловеческой морали; все это черным по белому напечатано на всех языках культурного мира; мы, коммунисты, не скрываем, кто мы и куда мы идем, но часто по разным тактическим надобностям надеваем, то здесь то там, разные маски — то демократические, то миролюбивые, то патриотические — и не было еще случая, чтобы наш очередной маскарад не давал нужных нам результатов; не наша воображаемая загадочность, а чужая . . . наивность давала нам все эти тридцать лет небывалую еще в истории партий и политических движений свободу маневрирования . . .

А когда успешным маневрированием очередная стратегическая цель достигнута, Коминтерн во главе с Кремлем открыто,

на глазах у всего мира, указывает новую стратегическую цель и круто меняет свою тактику. Обыкновенно о новом этапе объявляется не сразу, а после нужной внутренней перестройки. А затем уже, так сказать, на ходу, ставится в е х а на новом пути.

*
**

Такой вехой была речь Молотова 6-го ноября. Ее смысл: после второй мировой войны началась решительная во всем мире борьба между гибнущим капитализмом и восходящим к власти коммунизмом. Победа обеспечена, конечно, восходящей силе, ибо «мы вступили в эру, — поясняет директивную речь Молотова «Правда», — когда все пути ведут к коммунизму. Коммунистические идеи восприняты широкими массами заграницей и вдохновляют эти массы к самоотверженной борьбе с капиталистическим рабством».

При таком настроении народных масс во всем мире победа должна бы была придти мирным, так сказать, демократическим путем. Но обреченный «империализм» (капитализм) не хочет сдаваться. — «Беспокойство и тревога наростают в рядах империалистов, свидетельствует Молотов, ибо каждый видит, как уходит у них почва из под ног в то время, как силы демократии и социализма изо дня в день крепнут и сплачиваются». Ничего народам, кроме сугубого угнетения и возрождения ненавистного фашизма, последыши капитализма дать не могут. А посему они неизбежно начинают искать спасения «в новых империалистических авантюрах» («в новой войне» — уточняет дипломатический язык Молотова «Правда»).

Однако, предостерегает Молотов империалистов — трезвая оценка положения свидетельствует, что в наше время империалистические авантюры для судеб капитализма — о п а с н а я и г р а, (которая ведет, опять поясняет «Правда», — «к быстрому краху всей капиталистической системы»). Тут уже явное повторение своими словами знаменитого откровения Ленина (1915 года) о «гигантской пользе» современной войны для развития «мировой пролетарской революции».

Тогда в первую мировую войну «гигантская польза» выразилась только в разгроме России, «самой свободной страны среди воюющих, где отсутствует насилие над массами (Ленин «Правда», 7 апреля 1917 года). Но зато Октябрь был «первым шагом к мировой революции»; зато на слезах и крови замученного террором народа была построена «могущественная база для дальнейшего развития» этой революции (слова в кавычках принадлежат Сталину в «Проблемах ленинизма»).

*
**

Тридцать лет разноплеменные коммунисты, под восторженный гул не менее разноплеменных попутчиков, наивных демократов и социалистов, строили базу для второго шага мировой революции. А когда решительное время пришло, то «база» то в России как будто и ушла из под ног! Превратилась из опорного пункта наступления в ненадежный тыл. И об этом свидетельствует та же юбилейная речь Молотова в части, посвященной внутренней политике С.С.С.Р.

Когда после капитуляции Германии состоялась встреча зарубежных русских с русскими советскими, нам, давним изгнанникам, открылась правда и о жизни и о настроениях подавляющего большинства подсоветского населения. И то, о чем мы только догадывались, оказалось действительностью. Оказалось, нельзя перековать народной души насилием, ни перевоспитать ее ложью. Сотни тысяч освобожденных из германских лагерей советских людей, сотни тысяч новой российской молодежи, не знавшей добольшевистской России, принесли с собой на Запад только одно: страстный зов к свободе и жгучую ненависть к тоталитарному насилию, беспощадно калечащему жизнь народа!

Под маской казенного благополучия речь официального представителя Политбюро полна мучительного беспокойства и напряженной тревоги. — Обреченный капитализм в панике хватается за атбомбу; повсюду вне России широкие массы вдохновляются коммунизмом и готовятся к последнему бою. А в стране Советов, стране от социализма уже «уверенным шагом приближающейся к коммунизму» ... «никто не может отрицать того, — восклицает Молотов, — что пережитки капитализма чрезвычайно крепко засели в сознании народа».

Все способы пресечения и предупреждения пущены в ход. Но домашних средств уже недостаточно. И Кремль ищет помощи вне России. «Никто не будет отрицать и того — продолжает Молотов, — что теперь мы имеем огромные возможности довести борьбу с этими пережитками до благополучного конца». Как? — Очень просто: советский союз имеет заграницей во всех странах «многочисленных друзей, ... проникнутых горячей симпатией и верой в наше дело».

В чем политический смысл этого сентиментального рассуждения о заграничных друзьях? В том, что теперь после второй войны уже нельзя преодолеть сопротивления тоталитарному коммунизму внутри

России без победы этого коммунизма вне России. Ибо «любопытно отметить, что идеологический авторитет советской власти наиболее силен в наши дни в местностях за пределами России, в странах за линией ее полицейской власти».

Это верное наблюдение одного из ближайших сотрудников государственного секретаря С. Ш. А. ("Foreign affairs", июль 1947 года) не только служит отличным комментарием к речи сталинского министра иностранных дел. Оно должно еще разрушить в сознании людей воображаемую идеологическую стену между «Востоком» и «Западом», наглядно доказывая, что западная душа, например, во Франции может воспринимать коммунистические идеи во всяком случае не хуже пресловутой славянской души России.

Однако, призвав на помощь «друзей», Молотов никак не может успокоиться. Нарисовав в самых радужных красках единение Сталина с народом, он опять к концу речи возвращается к неугомонным «пережиткам». Наемные писаки буржуазии за время войны уверяли, что советские люди, насмотревшись на западные порядки, захотят их завести у себя. Вздор, вздор! — уговаривает себя Молотов. Советские люди из плена вернулись еще большими энтузиастами тоталитарной диктатуры, чем были до войны... И вдруг тут же взрыв ярости: «не весь наш народ освободился от пресмыкательства и раболепства перед Западом, перед капиталистической культурой»! Горе этому народу, ибо «не освободившись от таких пережитков, никто не может быть настоящим советским гражданином». Что сей окрик на юбилейном торжестве означает, — тут мне объяснять не надо.

Раболепствующие перед капиталистической культурой — а на самом деле преклоняющиеся перед человеческой свободой — должны быть беспощадно истреблены. Ибо наступает эра коммунизма. Ибо «большевистская партия, созданная Лениным и Сталиным и являющаяся высочайшим выражением морально-политического единства нашего народа, — ныне под водительством великого Сталина указывает прочим народам путь к всеобщему миру, к освобождению от кровавых войн и от капиталистического рабства».

*
**

Так, конец директивной речи представителя Политбюро и Коминтерна возвращает нас к ее коренному положению: после второй войны началась долгожданная решительная борьба

между гибнущим капитализмом и восходящим к власти коммунизмом во всех странах.

Начался второй круг борьбы — не на живот, а на смерть!

Первый круг борьбы кончился, едва начавшись, временным отступлением «мировой революции» — НЭП-ом, социализмом в одной стране, народными фронтами и кутузовским мундиром Сталина. Он кончился отступлением потому, что первая война недостаточно еще разрушила старый мир; потому, что сама база пролетарской мировой революции, захваченной Лениным в России, была еще кустарно организована; потому, что коммунистические силы вне России были еще не собраны, как следует, не имели еще настоящего единства командования; потому, что само «капиталистическое общество» недостаточно еще было деморализованно собственным циническим оппортунизмом, а умелая психологическая подрывная работа Коминтерна еще недостаточно была развернута.

Опасно закрывать глаза на действительность: к началу второго тура все изменилось в благоприятную для коммунистической агрессии сторону. За краткий промежуток перемирия между войной «на истощение» и войной «на истребление» (1918—1939) все недостатки в механизме «мировой революции» были исправлены. А «гниющий капитализм» породил двух новых тоталитарных чудищ — фашизм и нацизм. Оставалось только готовиться к неизбежному — ко второй войне. На этой подготовке сосредоточить все свои силы; ей подчинить, как ближайшей стратегической цели, всю тактику Коминтерна и ждать, пока вторая волна войн создаст вторую волну революций.

*
**

Ждать пришлось совсем недолго. «Гигантская польза», которой, после первой войны, не дождался Ленин, оказалась действительно гигантской, после второй войны: почти весь свободный мир очутился на самом краю пропасти, у того «конца с ужасом», который был обещан всему буржуазному миру еще тридцать слишком лет тому назад.

После второй, тоталитарной войны коммунизм уже с поднятым забралом вернулся на свою родину, на запад, и вышел на мировую арену, как первоклассная политическая сила, претендующая на власть — идеологическую и политическую — над всеми народами.

И судьбы тоталитарной диктатуры в России зависят от того, победит ли коммунизм вне России — на Западе, в Европе

и на всем евразийском материке. Отсюда новый послевоенный курс кремлевской международной политики. Она в речи Молотова весьма своеобразно выражена... фигурой умолчания. О том, о чем без умолку говорилось во время войны, в особенности, до Сталинграда, о государственных и национальных интересах «вечной России», — теперь ни слова!

Тот же ближайший сотрудник ген. Маршала, автор статьи в "Foreign affairs", заметил новый кремлевский курс. Теперь, пишет он, вся политика Москвы по преимуществу определяется интернациональным коммунистическим движением».

Да, Политбюро вместе с Коминтерном поставили совершенно по-«ленински», судьбу нашей родины на карту мировой революции!

Ленин, будучи еще в Швейцарии в июле 1915 года, писал: — «Кто пишет против государственной измены, против распада России... тот стоит на буржуазной, а не на пролетарской точке зрения. Пролетарий не может ни нанести классового удара своему правительству, ни протянуть на деле руку своему брату пролетарию чужой, воюющей с нами, страны, не совершая государственной измены» («Соц.-Демократ», № 43, 1915 года).

Что Ленин протянул руку не «своему брату» пролетарию, а при посредничестве Парвуса и графа Брокдорф-Рантцау германскому канцлеру Бетман-Гольвегу и генералу Людендорфу — факт исторический, установленный и неопровержимый.

Пораженческое сотрудничество с германским правительством во время Февральской революции не могло иметь целью ни «низвержения» уже низвергнутой монархии, ни «освобождения» уже освобожденного пролетариата. «Такой свободы как у нас, — восклицал Сталин на 6-ом съезде большевистской партии в августе 1917 года, — нигде не существует, нигде у пролетариата не было и нет таких широких организаций».

Средством к какой же цели была государственная измена? — Только одним из средств, облегчивших захват власти. Захват же власти понадобился большевикам не для того, чтобы «передать всю власть Учредительному Собранию, хозяину земли русской», как клялись они народу перед Октябрем, а для того, чтобы этого хозяина в первый же день выгнать и в порядке гражданской войны установить диктатуру пролетариата. (Это признал сейчас же после переворота Бухарин). А сущность диктатуры Сталин вслед за Лениным определил совершенно ясно и точно: «это есть неограниченная власть,

опирающаяся на насилие, а не на закон» («Проблемы ленинизма»).

*
**

Зачем понадобилось предательством государства, разгромом России и обманом народа Ленину — вводить диктатуру, а Сталину — за нее упорно и цепко держаться?

Почему Ленин, едва почувствовав, по его словам, в «буржуазной» Февральской революции социалистические мотивы, стал «твердо и решительно» стремиться к диктатуре пролетариата? Ответ на этот вопрос имеет сейчас отнюдь не историческое, а архи-современное значение! В этом ответе ключ к политике Сталина после второй войны.

Стремясь к завоеванию власти пролетариатом, Ленин сначала, сидя еще в Швейцарии, в начале первой войны, не думал, что «самая отсталая» в Европе крестьянская страна, Россия, созрела к социальному пролетарскому перевороту, к торжеству марксистского социализма. Все его мыссли были на западе Европы — там, в передовых индустриальных странах с мощным, организованным, как класс, пролетариатом, начнется неизбежная, подготовляемая грабительской войной международных империалистов, война классов, гражданская война внутри каждой страны. А эти войны превратятся, в свою очередь, в мировую социальную революцию...

И вдруг совершенно неожиданная, народная, «буржуазная» революция в России перевернула все верх дном и определила российский пролетариат к тоже неожиданной для него роли: быть — правда, «ненадолго» — застрельщиком европейской и мировой классовой пролетарской революции!

Больше неправдами, чем правдами устраивается пролетарский Октябрь в глубоко крестьянской стране. И среди гроз и бурь гражданской войны, которую сам Ленин называл «триумфом советской власти», растерзанная Россия превращается в плацдарм для сосредоточения революционных интернациональных сил. Эти силы не сегодня-завтра развернутся на Западе и дадут обреченному капитализму решительный бой в подлинно пролетарских странах.

«Наша задача — говорил Ленин представителю лондонской газеты «Дэйли Ньюс», 22 марта 1918 года — продержаться до тех пор, пока взаимное истощение воюющих групп европейского капитала не вызовет революцию во всех странах».

Конечно, Ленин преувеличил степень истощения старого мира в войну 1914-го года. Он от нетерпения просчитался в сроках. Но он не ошибся в общей оценке последствий современных войн для культурного мира. Вместо нескольких месяцев, как он утверждал в упоении октябрьской победы, пришлось «продержаться» почти 30 лет, жертвуя во имя грядущего всем, чем угодно, кроме... диктатуры.

В 1922-м году, когда «от России ничего не осталось, кроме Великороссии», Ленин не смущаясь заявил: — «Мы утверждаем, что интересы мирового социализма выше интересов национальных, выше интересов государства»...

*
**

Так, после Ленина остались две заповеди — во-первых, держаться во что бы то ни стало, пока не проявятся революционные следствия военного истощения капиталистических стран; во-вторых, жертвовать благом государства, если и когда этого потребуют интересы мирового коммунизма.

Разгадка всей «тайны» кремлевской политики заключается в том, что Сталин понял то, чего никак не мог понять Троцкий. Он понял, что нельзя сразу гнаться за двумя зайцами: крепко держаться на базе до новой войны и в то же время заниматься «мировой революцией», бесплодно растрачивая революционные силы. Он понял, что две заповеди Ленина есть в то же время два разных последовательных этапа в развитии мировой революции.

А понять это было не трудно, так как еще в декабре 1916 года в статье под знаменательным — особенно теперь, в 1947 году — заглавием «Военная программа пролетарской революции» Ленин писал: — «Социализм не может победить одновременно во всех странах. Он победит первоначально в одной или нескольких странах... Это должно вызвать не только трения, но и прямое стремление буржуазии других стран к разгрому победоносного пролетариата социалистического государства... Социальные попы и оппортунисты всегда готовы мечтать о будущем мирном социализме, но они как раз тем и отличаются от революционных социал-демократов, что не хотят думать и помышлять об ожесточенной классовой борьбе и классовых войнах для осуществления этого прекрасного будущего... Только после того, как мы низвергнем, окончательно победим, экспроприируем буржуа-

зию во всем мире, а не только в одной стране, войны станут невозможными».

Вывод: вся деятельность Третьего Интернационала со всеми его местными «путчами» и стачками оказалась после конца первой войны, в мирное время бесплодной потому, что первая война недостаточно еще расшатала старый мир. Для того, чтобы завершить мировую пролетарскую революцию нужна новая мировая война.

***

В конце двадцатых годов только совсем слепые могли не видеть приближающегося мирового кризиса. А у Сталина острое политическое зрение.

29 июня 1930 года на 16-ом съезде Компартии он заявил: — «Элементы глубокого кризиса капитализма наростают и будут наростать. Характеризуя нынешнее время в нескольких словах, мы должны сказать: начался перелом... Империалистическая война и ее следствие усилили гниение капитализма и разрушили равновесие капиталистической системы. Мы живем сейчас в эпоху войн и революций».

С этого времени и до начала второй войны вся внутренняя и внешняя политика Коминтерна во всех странах укладывается в очень краткую формулу: держаться до второй мировой войны какими угодно средствами и к ней готовиться.

И продержались и приготовились! Десять лет готовились на глазах всего свободного демократического мира и никто из западных государственных вождей и политических лидеров этого не заметил. Не хотел замечать, ибо «тьмы горьких истин нам дороже» нас успокаивающий самообман.

О, с каким облегчением вздохнул правящий Запад, когда Сталин «предал» идеи и идеалы «пролетарского Октября Ленина и Троцкого»; провозгласил социализм в одной стране; расправился с левыми и правыми фанатиками; занялся индустриальными достижениями; ввел в СССР самую демократическую в мире конституцию; образовал вне СССР народный фронт всех демократических сил против реакционного фашизма; выслал Литвинова в Лигу Наций устраивать коллективный мир»; заговорил языком зрелого государственного деятеля и исконного русского патриота!

Правда, западное демократическое сознание несколько прояснилось, когда этот самый «русский патриотизм» Кремля превратился в «узкий национальный эгоизм» и загнал без ее

ведома страну Советов в лагерь Гитлера. Началась, как будто, переоценка ценностей. Режим в России вдруг оказался таким же жестоким и отвратительным, как и в прочих тоталитарных странах.

Однако, как только Гитлер ворвался в Россию, сознание опять замутилось, и кремлевские тоталитарщики торжественно вступили в совет вождей мировой демократии.

Сталин же и прочие коммунистические стратеги и в кампании с Гитлером и в компании с Рузвельтом продолжали методически «осуществлять военную программу пролетарской революции». Для них все эти социализмы в одной стране, народные фронты, национальные интересы, патриотические и демократические цели войны, роспуск Коминтерна, партизанские организации, — все это было лишь различными камуфляжами, дымовыми завесами, защитными масками!

Ими по надобности места и времени удачно пользовались, пока не случилось того, чего не дождался в 17-19 годах Ленин!

*
**

Новая всеобщая война уже не «на истощение», а «на истребление» вызвала, взаправду, революции во всех странах или, точнее, превратила огромную часть мира — в особенности Европу — в хаос разрушения, разложения, ненависти и последнего человеческого отчаяния!

Наконец-то пламя классовых гражданских войн забушевало по всей земле! Чего же еще ждать? Мы уже вступили в эру победоносного коммунизма.

Наступила третья решительная стадия в диалектике развития мировой революции.

Он пришел второй, мировой Октябрь!!

Пришло время «окончательного низвержения буржуазии во всем мире». Теперь каждый настоящий коммунист должен вспомнить вторую заповедь Ленина и доказать на деле, что для него «интересы мирового социализма выше интересов национальных, выше интересов государства».

Именно, это своеобразие коммунистического «патриотизма» и создало нелепую, — но очень распространенную на Западе, — легенду о том, что все несоветские, нероссийские коммунистические лидеры являются, просто на просто, — «агентами русского империализма».

Странные коммунистические «агенты» странного «иностранного империалистического правительства», политика ко-

торого «направляется по преимуществу целями коммунистического движения».

Ведь это значит, что французские, итальянские и прочие коммунисты в такой же степени являются агентами коммунистов советских, в какой — последние являются агентами первых. Другими словами, коммунисты разных наций и государств не агенты друг для друга, а дружные соучастники в общем деле, в общем заговоре, в общем преступлении.

Они все вместе борятся за свои общие цели одинаковыми средствами и одинаково не щадят, если нужно, своих собственных отечеств.

***

Для кремлевских, в частности, коммунистов настало теперь время довести «дело Ленина» до конца, т. е. поставить на карту мировой революции самое существование СССР.

Россию ждет — разгром, торжество всех ненавистей и сепаратизмов, расчленение. Новый, еще более сокрушительный, чем был ленинский, сталинский Брест-Литовск.

В лучшем случае Россия окажется опять, как после первого Октября, в пределах Великороссии с Сибирью и «может быть» с Белоруссией.

О такой жуткой России я прочел в статье Г. П. Федотова «Судьба империй («Новый Журнал», кн. 16-ая). Но Г. П. Федотов до сих пор еще верит в легенду о перерождении коммуниста Сталина в крайнего русского националиста и империалиста. Поэтому он сам себя обманывает. Развивающуюся по всему миру коммунистическую агрессию принимает за несуществующую «русскую экспансию» и думает, что у свободолюбивых народов нет другого выхода, кроме разгрома великорусского империалистического хищника. — «Большевизм умрет, пишет он, как умер национал-социализм. Но кто знает, какие новые формы примет русский фашизм или национализм для новой русской экспансии. Если бы не было никаких сепаратистов в России, их создали бы искусственно. Раздел России все равно был бы предрешен».

Да, это было-бы так, еслибы иностранцы продолжали верить существованию единомыслия и духовного единства между угнетателями и угнетенными. Но к счастью, легенда эта начинает, как будто, рассеиваться.*) Так, Джэмс Бернам, сам

*) Речь государственного секретаря Маршала в Чикаго, 19 ноября т. г., является примером такого прояснения.

бывший коммунист, в своей нашумевшей в С. Ш. книге: «Борьба за мировое господство» (James Burnham, *The Struggle for the World*) пишет: «Машинальное отожествление в наши дни России с коммунистическим там режимом только помогает коммунистической власти укреплять свое господство над русским народом, убеждая его в необходимости вместе с властью защищаться против мировой буржуазии. Народ должен знать о том, что мир осуждает не его, а его угнетателей».

Дж. Бернам считает, как сейчас очень многие, «третью войну» неизбежной, даже уже начавшейся. Однако, он целью ей ставит не разгром России, а «ее освобождение, победу русского народа над его тоталитарными поработителями».

«Русский народ, — продолжает иностранный автор, — был первой жертвой советского режима. Он может оказаться непосредственным орудием его падения». Посему программа преодоления воинствующего коммунизма в мире должна своим содержанием «привлекать к себе... прежде всего русский народ».

*
**

Чем же можно привлечь советских людей? О чем они сейчас грезят?.. О новых завоеваниях? О мировом господстве по германскому образцу?

Нет! Они не хотят только другого разгрома на какой-нибудь другой образец. А рвется «советский народ» только к одному — к восстановлению человеческой свободы!

Молотов ровно никого в России не обманул, наклеив в тридцатую годовщину первого «Октября» ярлык капиталиста на каждого советского человека, который хочет вернуть народу свободу!

Самому Сталину, спасаясь от Гитлера, пришлось надеть маску отнюдь не «капиталиста», а «защитника свободы и демократии».

Обман еще раз оказался удачным! Во время войны «в широких слоях наших народов теплилась глухая надежда на то, что после войны Сталин станет на путь демократических реформ и идейной свободы. Но все надежды оказались тщетными».

После победы «началось новое открытое наступление для

осуществления коммунистической мировой революции... Терпение свободных народов Запада истощается!... Единственная возможность спасти Россию и ее народы от ужасов надвигающейся катастрофы третьей войны... взять судьбу России в руки самого народа».

Новое «переходное правительство» должно «сейчас же» — 1) уничтожить всю тоталитарную террористическую систему, 2) обеспечить всем гражданам России неприкосновенность права личности и свободу совести, слова, собраний, политических партий и 3) созвать Всероссийское Учредительное Собрание... Надо делать ставку «НЕ на иностранную интервенцию, а на внутренние силы самих народов СССР. Но если преступная политика кремлевского диктатора и его приспешников с ее ставкой на мировую коммунистическую революцию приведет к третьей вировой войне», надо будет стать «на национальную точку зрения — обороны национально-государственных интересов России и борьбы со сталинским режимом».

Я привел все эти выписки из одного документа, составленного совместно российскими советскими людьми разных народностей и состояний потому, что мысли и чаяния в ней высказанные в разных формах повторяются почти во всех писаниях и высказываниях тысяч и тысяч представителей «советской», не знавшей добольшевистской России, молодежи, оказавшейся ныне в лагерях Д.П. или в разных углах нашего рассеяния.

Эту молодежь уже нельзя никак обвинить в «эмигрантской старомодности, реакционности».

Она, вместе с юбилейным Молотовым, свидетельствует: там, внутри России — все ясно! Никаких секретов, никаких тайн!

Среди надвигающегося шторма второго Октября вне России советские люди рвутся к той самой человеческой свободе, которую обманно отнял у российских людей первый Октябрь, случившийся тридцать лет тому назад в самой России!

Кто имеет уши, чтобы слышать, услышит!

18 ноября, 1947 г. **А. Керенский.**

ОБРЕЧЕНА ЛИ РОССИЯ?

В статье «Судьба империй», напечатанной в 16 книге «Нового Журнала», Г. П. Федотов приходит к выводу, что неизбежен, или почти неизбежен, распад на части того политического тела, которое некогда называлось Россией, а ныне известно под именем СССР. Россия, по его мнению, имеет шансы выжить в составе Великороссии, Белоруссии и Сибири. Но Украина, Закавказье, Туркестан и другие окраины отпадут. Этот распад, по мысли автора, наступит в результате войны между Соединенными Штатами и СССР, которую он считает неизбежной, и вероятного в ней поражения России. Но даже если большевицкая власть над Россией падет без войны, «это в судьбе России, как обреченной империи, ничего не меняет».

Некоторые возражения Г. П. Федотову уже сделаны в той же книге М. М. Карповичем, который отметил, что Федотов «недооценивает ни возможности сохранения мира, ни возможности внутренних перемен в России, ни в частности возможности ее перерождения в подлинную свободную федерацию». Но вопросы, поставленные Г. П. Федотовым, настолько остры, так волнуют всех тех, кто хранит духовную связь с Россией, что необходимо дальнейшее их обсуждение.

Рассмотрим прежде всего, почему Г. П. Федотов считает русскую империю обреченной. Его доводы многообразны и не всегда между собой согласимы — отчасти потому, что он бегло рассматривает разные варианты возможного развития, отчасти потому, что он не вполне последовательно употребляет термин «империя». В начале статьи автор определяет империю, как «экспансию за пределы длительных и устойчивых границ, перерастание исторически оформленного организма». Но под конец он как будто отождествляет империю с многонациональным государством, в котором проявляется угнетение одних народностей другими. В средней части статьи, обсуждая вероятный уклад мира после победы Америки над большевиками, автор говорит об американской или атлантической империи, по существу имея в виду демократическую организацию всего мира.

Почему же именно, по мнению автора, обречена на гибель русская империя? В его рассуждениях явно чувствуется вли-

яние предпосылки типа «все империи смертны», восполняемой ссылкой на факт, что в наши дни рухнули или пошли на убыль все империи, кроме русской; значит, и русскую постигнет та же судьба.

Против суждения, что всему на свете, в том числе и всякому политическому образованию, должен прийти конец, спорить не приходится. Но из него нельзя сделать никакого конкретного вывода относительно вероятного развития событий на обозримый отрезок времени. Пусть в наши дни пали или обнаруживают склонность пасть многие империи — одна все же может уцелеть, как, одна среди империй античного мира, выжила империя римская.

Тут приходит на помощь второе определение империи, как государства, в котором одни народности угнетают другие. В современном мире, говорит автор, нет места частным империям, основанным на насилии одних народов над другими. Утверждение это явно предупреждает события — пока еще не видно конца владычеству Англии, Франции и Бельгии над обширными африканскими колониями. Но допустим, что выраженная в нем тенденция развития уловлена правильно. Вытекает ли из этого неизбежность распада России? Отнюдь нет.

Дело в том, что в окружающем нас мире, помимо намечающегося распада империй, основанных на насилии, явно протекает и другой процесс — сочетания малых политических единиц в большие на началах федерации. Правда, на наших глазах «сжимается» британская империя; но на наших же глазах выросла своеобразная федерация, именуемая британским содружеством народов — таков, по-моему, наилучший перевод слова Commonwealth. Бельгия, Голландия и Люксембург соединяются в таможенный союз с широкими функциями, незаметно переходящими в область политики. План Маршалла ставит на очередь воплощение давнишней идеи европейской, или по крайней мере западно-европейской федерации; первыми шагами в этом направлении вероятно будет образование таможенного и денежно-кредитных союзов. Только советская интервенция помешала возникновению польско-чехословацкого и балканского союзов. Все это движение — лишь современное выражение тенденции с уже довольно значительным прошлым, ведущей к слиянию мелких государств в более крупные. Вспомним, что во время французской революции на территории позднейшей Германии существовало 360 фактически суверенных государств. Об этой тенденции упоминает и Г. П. Федотов в начале своей статьи, но затем она исчезает с его горизонта.

Если же об этой тенденции помнить, то прогноз русского будущего может принять такую форму: в случае победы демократий над Россией в советской личине, насильническая империя советов уступит место демократической федерации народов, населяющих восток Европы и северную Азию — приблизительно в границах СССР.

Далее, к тезису о грядущем распаде русской империи Г. П. Федотова влечет и третье из его определений империи, приравнивающее ее к мировому сверх-государству. Эта линия рассуждений Г. П. Федотовым только намечена. В развитом виде она могла бы принять такую форму: в случае образования американской или атлантической империи, типа всемирной демократической федерации, Россия войдет в нее не как одно целое, а как ряд друг с другом не связанных единиц, соответствующих тем народностям, которые ее составляют. Но можно ли считать несомненным, что именно в такую форму выльется включение России в мировую демократическую организацию?

При обсуждении этого вопроса нужно иметь в виду, что, на обозримое время, даже в туманных перспективах вероятного развития после победы Соединенных Штатов над СССР или после демократического преобразования России без войны, такую мировую организацию вряд ли можно представлять себе в виде подлинного государства, в централизованном порядке осуществляющего разнообразные функции. По существу, это будет скорее всего над-государственная организация типа Лиги Наций или Объединенных Наций, однако усиленная переносом на нее верховного распоряжения военными силами отдельных государств, в частности полного контроля над атомной бомбой. В недрах ее сохранятся отдельные государства, имеющие право вести внешнюю политику — но без права прибегать к войне, как, по известному выражению Клаузевица, «другому способу» решения своих проблем. Останется за отдельными государствами и право устанавливать свой социальный и хозяйственный строй, и право законодательствовать, и т. д. Словом, начертание между ними границ сохранит почти то же значение, какое принадлежит ему сейчас.

К такой организации термин «империя», даже с прибавкой — американская или атлантическая — мало подходит. Если она возникнет — значит ли это непременно, что одновременно существующие государства должны распасться на национальные единицы? Отнюдь нет. В наши дни сильно поколеблена господствовавшая в эру Вильсона вера в «самоопределение народов». Характерно следующее обстоятельство. В те дни,

когда люди, исходя из Атлантической Хартии, пытались угадать, какой облик примет мир по окончании второй войны, руководящие англо-саксонские авторитеты отметили, что принцип национального самоопределения нуждается в поправках во имя экономической и административной целесообразности. Из этого вытекает, что грядущая демократическая федерация мира может составиться из политических единиц как национального, так и многонационального характера; в числе последних может оказаться и не распавшаяся на части, но демократически переустроившаяся, русская империя.

Наконец, в пользу своего пессимистического прогноза Г. П. Федотов приводит факт звериной ненависти угнетенных национальностей к угнетателям, который получает особое значение от того, что «в наше время народы живут не разумом, а страстями».

Пусть ненависть всех, или почти всех народов России к великороссам существует, хотя автор правильно признает, что в старой России имперский режим принимался, как гнет, преимущественно на западных окраинах; и вряд ли будет он отрицать, что в числе преступлений советской власти нет одного — угнетения национальных культур во имя русской. И все же он сбрасывает со счетов факт огромной важности, служащий противовесом той центробежной силе, какой является межнациональная ненависть. Это тот факт, что русская империя, в старом или новом облике, есть самодовлеющее экономическое целое, подобное тому, каким являются Соединенные Штаты. Разрыв такого тела на части равносилен жестокому удару по экономическому благосостоянию всех составных частей. Украинские сепаратисты иногда с возмущением заявляют, что Украина больше давала и дает остальным частям империи, нежели от них получает, потому что она богаче их. Они упускают из виду, что остальные части империи составляют для Украины и монопольный рынок, и монопольный источник сырья; а в наши дни обладание такими рынками и источниками сырья есть огромное экономическое преимущество, отсутствие которого подчас подымает народы на войну. Провести экономический барьер по линии, разделяющей людей говорящих по-русски и по-украински, это значит резать по живому телу и поставить в тяжкое, почти безвыходное положение и тех и других. Кстати, при этом донецкий бассейн вовсе не отошел бы целиком к Украине, как то думает Г. П. Федотов; этнографическая линия его пересекает, и ампутация, по ней проведенная, в дополнение ко всему прочему разрушила бы наиболее

мощную из экономических единиц, возникших на территории русской империи.

Самодовлеющий характер русской империи уже раз повернул назад процесс распада, начавшийся с коммунистической революции. Совершившееся в 1918 -1921 годах восстановление единства распавшейся было русской империи, хотя и в несколько суженых границах, нельзя сводить к завоеванию Украины и других земель русскими армиями. Отошедшие было земли попали под власть кремлевских владык, но при деятельном участии местных сил, подобных тем, которые решили дело в Великороссии. Силы эти потому и победили, что работали в направлении, диктуемом фактами. Факты показали, что русская империя была чем-то большим, нежели пучек провинций, насильнически управлявшихся царскими губернаторами. Путем долгих войн, вероломных захватов, хитроумных комбинаций сложилась русская империя — как сложилось и национальное московское государство, и национально-монолитная Франция. Но, сложившись, русская империя дала проявиться тем силам, которые были заложены в самой структуре ее пространства и в характере и размещении ее производительных сил, способных служить базой для существования 200 и более миллионов человек — но при условии сочетания их в единую хозяйственную систему.

Случается, правда, что люди неразумно ломают близкие к самодовлению хозяйственные единицы. Такой единицей была, например, австро-венгерская монархия, и теперь трудно сомневаться в том, что на парижской мирной конференции 1918-1919 годов следовало эту империю не разрушать, а обратить в демократическую федерацию населявших ее народов. Это сделано не было, и в результате новые государства, образовавшиеся в дунайском бассейне, бились в тисках хозяйственной нежизнеспособности; возникшие на этой почве конфликты сыграли видную роль в подготовке второй мировой войны. Бесчеловечны и отвратительны были планы Гитлера, но они включали в себя восстановление и даже расширение разрушенного версальским и трианонским договорами единства юго-восточной Европы. Вызывают негодование и ненависть насильнические действия кремлевских сатрапов в дунайских и балканских государствах; но факт тот, что тиран для всех один, и это восстанавливает хозяйственное единство там, где оно было неразумно разрушено в 1918-1919 годах. Не гитлеровскими и не сталинскими приемами — но политико-экономическое единство дунайских земель должно быть и будет восстановлено.

Итак, хозяйственная взаимозависимость земель играет в наши дни большую роль в начертании политических границ. В тех районах, где объективные условия позволяют образование хозяйственно самодовлеющих единиц, протекают мощные процессы, направленные к тому, чтобы этим хозяйственным тенденциям было придано политическое выражение.

В применении к России это значит вот что — и это в сущности признает и Г. П. Федотов: распад русской империи на множество обособленных политико-экономических тел послужил бы сигналом к новой серии войн — за объединение русского пространства. Конечно, народы часто поступают неразумно, но все-таки не всегда. И вот, имея выбор между разными путями, народы русской империи могут выбрать и тот, который один отвечает их объективным потребностям — путь сохранения политико-экономического единства в рамках никого не угнетающей демократической федерации.

Есть, наконец, еще один факт, который можно и должно противопоставить последовательному пессимизму Г. П. Федотова. В российских пространствах уже много десятилетий медленно, но неуклонно идет процесс ассимиляции малых этнических групп большими и всех вместе взятых — русской. Пусть в начале процесса и была насильственная руссификация; но к изумлению многих исследователей, процесс продолжился и тогда, когда, по манию советского правительства, великорусский шовинизм стал преступным деянием, и была сделана ставка на «националов».

Впервые это обнаружилось при разработке данных переписи 1926 года. При этой переписи населению задавалось два вопроса — о народности и родном языке. Первый вопрос можно считать относившимся к этнической классификации предков опрашиваемых лиц, а второй к их собственной классификации. И вот оказалось, что в 1926 году в пределах СССР жило 6,4 миллиона лиц, которые считали своим языком русский, но знали, что предки их происходили из других групп. Каких именно? Это выясняется, если разобрать аналогичные данные для других групп. А данные эти таковы: 3,6 миллиона назвали себя украинцами по происхождению, но русскими по языку; это составило около 12% тогдашнего числа украинцев в пределах СССР. Для белоруссов соответствующие цифры были 1,6 миллиона и 27%. Сверх того, полтора миллиона человек перешло в русскую группу из остальных этнических групп.

В 1939 году вопрос о языке не ставился, а вместо термина

«народность» был избран термин «национальность», еще более нежели прежний указывающий на этническое происхождение. И вот перепись показала, что число великороссов возросло с 78 миллионов в 1926 года до 99 в 1939 году, т. е. на 13%, тогда как число украинцев уменьшилось с 31 до 28 миллионов, т. е. упало на 10%. Разбирая эти и подобные данные, Ф. Лоример, автор превосходной книги о населении СССР, пришел к выводу, что они объясняются тягой населения к ассимиляции с более крупными группами, в особенности с великорусской. Приходит, правда, в голову мысль — объяснить убыль числа украинцев голодом 1932-1934 годов, который был особенно жесток на юге России. Но голодными смертями всей убыли не покрыть. На долю украинцев таких смертей могло прийтись не более 3 миллионов — из общего числа 5,5, по подсчету Лоримера. Такая убыль с избытком должна была быть покрыта естественным приростом украинского населения за годы между переписями, на почве высокой рождаемости, которая на Украине все время почти точно соответствовала средней по СССР. Действительно, при рождаемости 35 на тысячу и смертности 20 на тысячу в год, и при мысленном устранении голодной катастрофы, за 12 с небольшим лет, протекшие между обеими советскими переписями, число украинцев должно было прирасти на 4,5 миллиона; при вычете трех миллионов смертей от голода, остается «ожидаемый» прирост в полтора миллиона, которому противостоит действительная убыль в три миллиона. Нельзя объяснить эту убыль и какими-то переселениями, так как приведенные цифры относятся к всему СССР, а не специально к территории Украины. Значительная часть этой убыли должна быть отнесена за счет перехода в иную этническую группу, каковой могла быть только великорусская. По всем вероятиям, процесс этот за короткое время охвативший около четырех миллионов украинцев, имел место преимущественно на северной окраине украинского расселения (в бывш. Курской и Воронежской губерниях) и на его восточном конце, в частности в Донецком бассейне. Опубликованные пока данные недостаточны для окончательного суждения по этому частному вопросу.

Статистические данные говорят о массовых явлениях. Их всегда хорошо подкреплять и пояснять конкретными наблюдениями. И вот у Джона Фишера, в книге, рецензированной в предыдущем номере «Нового Журнала», мы читаем: «На улицах Киева мы почти не слышали украинской речи. В отдаленных деревнях этот язык более употребителен, но и там бюрократы

и молодые люди с некоторым образованием подчеркивают, что они говорят по-русски. У нас создалось впечатление, что, хотя украинский язык явно поощряется властью, он все-таки почитается деревенским, немодным. В серьез его принимают только поэты».

Украинские сепаратисты, на которых так напирает Г. П. Федотов, конечно существуют. Но есть много оснований полагать, что они гораздо сильнее в эмиграции, нежели на украинской земле, а там сильнее среди интеллигенции, нежели среди масс. А кроме сепаратистов есть и много таких людей, которые этническому вопросу придают мало значения и потому, не особенно задумываясь, переключаются в иную этническую стихию. При некоторых обстоятельствах, украинцев можно будет поднять на войну за независимость. Но при других обстоятельствах те же украинцы могут оказаться мирно живущими в пределах демократической федерации, объединяющей народы Европы и северной Азии, иными словами, русской империи.

Вывод таков: прогноз Г. П. Федотова о неизбежном распаде, в наше время, «обреченной» русской империи, далеко не так бесспорен, как кажется автору. Силам распала противостоят силы единения, и во-время и разумно направленные, они могут привести к федерально-демократическому решению русской проблемы.

Но, конечно, только могут, а не обязательно должны. Ошибочно было бы истолковать только что предложенные выводы, как оптимистический прогноз русского будущего в противовес пессимистическому прогнозу Г. П. Федотова. Вызывающая внешняя политика советского правительства не только растратила моральный капитал, кровью приобретенный народами России за минувшую войну, но успела уже вызвать сильное раздражение против России и русского народа, от имени которого правительство говорит и действует. В этом великая опасность для России и ее единства. Закрывать глаза на эту опасность и славословить советское правительство за поднятие на небывалый уровень политического веса России — СССР — ошибочно и легкомысленно. Сущность опасности превосходно вскрыта в статье Г. П. Федотова. Не всякая опасность, однако, осуществляется, и прогноз русского будущего может быть и иным, нежели думает Г. П. Федотов. Русское лихолетье может кончиться распадом, но может кончиться и возрождением России в форме свободного и дружественного сожительства населяющих ее пространства народов.

Н. С. Тимашев.

СОЦИАЛИЗМ В НАШИ ДНИ

«Освобождение пролетариата влечет за собой освобождение других угнетенных слоев, к какому бы полу, религии и национальности они ни принадлежали. Ввиду этого социализм перестал быть делом только пролетариата. Социализм становится важным делом для каждого, сердцу которого дороги судьбы общества».

К. Каутский.

1.

Во всех странах, где имеется развитое социалистическое движение, оно издавна отличается обилием борющихся, сталкивающихся между собой течений, фракций и под-фракций. Кто-то подсчитал, что существует свыше 100 определений социализма, и в известном смысле можно сказать, что почти все эти формулы представлены в социалистическом движении любой страны. Какая пестрота мнений дает себя знать в социалистическом лагере, какой избыток идеологий наблюдается в духовном мире современного социализма, — и при всем том — какая теоретическая задолженность характеризует социалистических идеологов! Как будто все вопросы приходится ставить заново, — иногда даже кажется, что они и возникают впервые, — в свете нового исторического опыта войн и революций.

Этими уроками опыта, истории менее всего, кажется, затронуты так называемые социалисты левого толка, — каких немало имеется во всех странах Западной Европы. Правильнее было бы определить левых социалистов, как последовательных оптимистов движения, — ибо лишь для оптимистов, не знающих сомнений, в сущности, упразднен основной вопрос: вопрос о том, что есть социализм? Это происходит не потому, что для левых социалистов все ясно и просто, а потому, что для них все неясно, все туманно, и этой неясностью и туманностью они и живут.

Для них социализм до сих пор остается волшебной палочкой, одним мановением которой получают решение все вопросы человеческой истории и жизни общества. Для них социализм это — романтика, героика, мистика, «эсхатология». И если путь к социализму рисуется им неизбежно кровавым и мучительным, — в огне революций и гражданских войн, классовых битв и социальных катастроф, — то он же увенчивается апофеозом, картиной всеобщего блаженства. В этом апофеозе и находит оптимизм свой реванш.

Пути же и средства, какими достигается это чаемое блаженство, их мало интересуют. Важна только «конечная цель». только увенчание здания. Всякий путь, ведущий в лоно социальной справедливости, тем самым уже хорош. Спор о путях и средствах в этом аспекте представляется придирчивым спором о пустяках. В самом деле, больше крови, меньше крови, — меньше грязи, больше грязи, — какое это имеет значение? Ведь до наступления социализма вся история человечества фатально обречена влачиться по пути, залитому кровью и грязью. И только социализм призван начать собою первую страницу подлинной истории человечества. До него существует только — предъистория.

Эти оптимисты, социалисты левого толка, в жизни, на практике оборачиваются максималистами. Но в то же время для них прежде всего характерно консервативное убеждение, что в старых доктринах ни одной буквы нельзя передвинуть. Сто лет тому назад Маркс в «Коммунистическом Манифесте» установил, что «наша эпоха упростила классовые противоположности», что «все общество все больше раскалывается на два больших, один другому прямо противоположных класса: буржуазию и пролетариат». Это положение и является до сих пор исходной предпосылкой для всех разновидностей левого направления в социализме.

С тех пор столько воды утекло! Социальная структура современного общества отличается чем угодно, но только не упрощенностью. Сам Маркс вносил впоследствии существенные коррективы в теорию двух классов. Эдуард Бернштейн в конце XIX века предупреждал социалистов именно о сложности структуры капиталистического общества. С начала XX века в этом вопросе была проведена радикальная ревизия, установившая, что современное общество характеризуется не разделением на два класса, а наличием многочисленных и значительных по своему удельному весу и по своей народно-хозяйственной функции классов, групп и подгрупп. Внутри буржуазии

и внутри пролетариата отслаиваются и возникают социальные группировки, отличные по своим тенденциям, интересам, психологии (интеллигенция, служащие, чиновники, мелкая и средняя буржуазия, занятая в области обмена и распределения, ремесленники и пр.). Марксистская ортодоксия сдала свою позицию не только в вопросе о политической роли крестьянства, но и в вопросе о жизнеспособности средних и мелких предприятий и в сельском хозяйстве, и в индустрии, — не говоря уж о торговле и ремесле.

Но еще сейчас находятся социалисты, которые возвращают нашу мысль к формулам раннего марксизма о двух классах, на этой вымышленной, примитивной, призрачной основе строящие социально-экономический анализ и политические прогнозы и намечающие ориентацию, линию поведения и тактику для рабочих и социалистов, исходя из теоретических положений, имевших хождение сто лет тому назад и ныне фатально заводящих в тупик.

Именно о них, об этих сторонниках теории об имманентно-предательской буржуазии и имманентно-божественном пролетариате превосходно сказал Гильфердинг в своей посмертной статье: «Как верующий знает только небо и ад, так марксистский сектант знает только буржуазию и пролетариат».

И особенно, казалось бы, этот теоретический подход нуждался в проверке после десятилетий русского, большевистского опыта, где именем Маркса и его школы поставлено на голову все, во что когда то верили марксисты. Ведь оказалось, что тоталитарный режим диктатуры клики (не только в Советской России, но и в гитлеровской Германии) в порядке декрета сверху отменяет классовую борьбу и в том же порядке создает «бесклассовое общество». Оказалось, что «социализм» может быть осуществлен (как мы видели в России) не в результате органического процесса классовой борьбы и наростания социальных противоречий, а при помощи голого насилия, посредством захвата власти революционной организацией, — осуществленного притом «по Марксу». И все же находятся не коммунисты, а социалисты, склонные придерживаться теорий, опрокинутых прежде всего практикой русского коммунизма.

2.

Тема о социализме — трудная сейчас для социалистов тема, — не потому, что так называемый научный социализм оказался утопическим и не потому, что в представлении многих, вследствие теоретического тумана, пущенного в этой области,

весь социализм как бы превратился в «эсхатологию». Нет, тема эта трудная потому, что социализм стал реальностью наших дней, и, как всякая реальность, он несет с собой много разочарований и сомнений. И, как всякая реальность, он бьет, прежде всего, по оптимизму и прекраснодушию.

На опыте последних поколений мы видели, как удар за ударом постигал распространенную среди социалистов оптимистическую концепцию развития, согласно которой считалось, что «история работает на нас». Сколько было среди социалистов сторонников «автоматизма», веры в то, что «все образуется», что на пути к социализму особых отклонений не предвидится. Катастрофа, постигшая русских социалистов всех направлений после победы «октября», получила затем как бы свое продолжение в катастрофе германских социалистов, на которых обрушился железом и кровью нацизм. Но распад и деморализация многих ветвей социалистического движения на Западе в эпоху войны и оккупации явились тоже звеном в цепи ударов, постигших оптимистический социализм. Если после войны социалистическому движению удалось оправиться на практике, то в области идеологии глубокий духовный кризис еще до сих пор дает себя знать.

Из опыта нашего поколения прежде всего вытекает, что есть, по меньшей мере, два социализма на свете: один — тоталитарный, диктаторнальный, русский, советский путь к социализму и другой — путь немецкий (до Гитлера), скандинавский (до последней войны), английский (в наши дни). Есть два социализма, и оба они до мучительности реальны. Не только в России, где аракчеевскими методами созданы аракчеевские фаланстеры по всем правилам марксизма, приспособленного к русской почве, путь к социализму оказался мучительным, но и повсюду, в средней и западной Европе, и в Англии, — где каждый шаг демократического социализма покупается ценой мучительного преодоления трудностей.

В сердце Европы до 1933 года находилась Германия и германская социал-демократия стояла в центре надежд демократического социализма. Но еще в 1904 году на Амстердамском социалистическом конгрессе, т. е. свыше 40 лет тому назад, Жорес восклицал по адресу немцев: «Политическое бессилие германской социал-демократии — вот от чего страдает мир, вот что наполняет тревогой все народы Европы. Вы — великая, достойная удивления партия, но у вас нет непосредственного влияния на политику вашей страны». Жорес не мог предвидеть, что в последующие годы влияние германских

социал-демократов будет значительно возрастать. Но что толку было в этом влиянии, когда немецкую социал-демократию (как и социалистические партии Франции и Италии, — нужно добавить объективности ради!) разъедало внутреннее бессилие? И это бессилие так явственно сказалось в роковую дату прихода Гитлера к власти, когда германская социал-демократия с ее миллионами рабочих не оказала никакого сопротивления надвинувшейся полосе рабства и явной угрозе новой мировой войны. Размышляя о судьбах Германии, которую представляешь себе, как некий лагерь прокаженных, можно сказать, что оба полюса немецкой жизни — реакция и революция, каждая из своего угла, одинаково подготовляли катастрофу и себе, и всему миру. Если под реакцией понимать подымавший голову гитлеризм, а под революцией — коммунизм, поддерживавший гитлеризм прямо или косвенно, — то, спрашивается, где же и в чем заключалась роль демократического социализма?

Этот вопрос не праздный и не чисто исторический: перед лицом тех проблем, какие сейчас стоят перед социализмом в странах Западной Европы, и в первую очередь во Франции и Италии, — существует реальная опасность, чтобы демократический социализм внезапно не обнаружил свое внутреннее бессилие и не оказался использованным в своих целях либо реакцией, либо революцией. Элементы этого внутреннего бессилия французский социализм обнаружил еще в предвоенную эпоху нароного фронта, — не говоря уже о периоде пэтеновщины, когда многие и многие в социалистическом лагере не устояли и «предали знамя свое», а ведь весь западно-европейский континентальный социализм, как и накануне последней войны, так и сейчас, зависит от роли и судьбы французского социализма. Слова Жорес , обращенные к немцам в 1904 году, могут быть с полным правом направлены по адресу французов: преодолеют ли они свое «политическое бессилие», смогут ли они иметь «непосредственное влияние» на политику своей страны? И прежде всего на Францию глядит и на нее ориентируется итальянский социализм, который раздирается внутренними противоречиями еще острее и который демонстрирует свое бессилие перед лицом подкарауливающей страну коммунистической опасности еще ярче и болезненнее.

В ином положении находится Англия, где социализм еще большая реальность, чем в странах континента, главным образом потому, что там социалистическая партия у власти. Но это не значит, что там социалистическое движение идет от победы

к победе. Напротив, всем известно, какие тяжкие испытания на каждом шагу подстерегают социалистический эксперимент в его развитии в Англии. Но у Англии имеется огромное преимущество перед всеми другими странами, где социалисты соучаствуют в правительстве и пытаются воплотить в жизнь свою программу, — ибо там в большей степени, чем где бы то ни было, сильна и прочна политическая база демократического строя. Но несмотря на это существенное преимущество, духовный идеологический кризис социализма неизбежно должен, как и другие национальные ветви движения, захватить и английскую ветвь. Как раз в Англии социализм уперся в идеи социализации и национализации, то есть в попытку решения чисто экономических и социальных проблем. Между тем, если что является основным достоянием современной социалистической мысли, то это сознание, что социализм перестал быть чисто экономическим заданием, что обобществление средств и орудий производства, социализации и национализации, — отнюдь не являются непременным и главным признаком социализма в реальности и что именно слишком решительный «загиб» в этом направлении может жестоко отомстить за себя.

Карл Каутский, в последний период своей жизни проводя еще недостаточно оцененную до сих пор ревизию социалистической теории, нашел в себе мужество выразить это новое кредо социализма в следующих примечательных словах: «Строго говоря, — писал он — не социализм составляет нашу конечную цель, а устранение всякого рода эксплоатации и угнетения, будут ли они направлены против одного или другого класса, партии, пола или расы... Еслиб нам доказали, что освобождение пролетариата и человечества целесообразнее всего может быть достигнуто на основе частной собственности на средства производства, как это допускал Прудон, то мы должны были бы выбросить социализм за борт, нисколько не отказываясь от нашей конечной цели. Мы обязаны были бы это сделать как раз в интересах этой конечной цели»...

Формулировка «конечной цели» социализма, как она дана у Каутского — как всякое слишком общее место — открывает, конечно, обширное поле для кривотолков. Разумеется, если сказать, что цель социализма — это устранение гнета и насилия, социального или иного неравенства, свобода личности и проч. — все с этим согласятся. Но ведь в конце концов ясно, что эта формулировка «цели» никак не разрешает вопроса о путях и средствах, а именно в этом вопросе — узел всяких недоразумений внутри социалистического лагеря. Когда то Леон Блюм,

например, утверждал, что «у социалистов общие цели с коммунистами, но различные пути к ним», повидимому, разделяя иллюзию о том, что общность цели имеет столь большое значение, что, в сущности, она покрывает собою расхождение в путях. Вряд ли Блюм, да и другие представители социализма, повторят сейчас эту формулировку. Вопрос этот в наши дни приобрел особенную остроту, в частности, в связи с английским опытом социализации и мог бы быть формулирован таким образом: можно ли поставить знак равенства между социализацией и социализмом? Является ли социализация непременным и органическим аттрибутом социализма, или прав был Август Мюллер, когда резюмировал свою мысль так: «социализация относится к социализму, как средство к цели»? Вопрос этот имеет теоретическое значение, но не приходится недооценивать его значения и в применении к практике наших дней.

3.

Теоретическое место вопроса о социализациях в программах социалистических партий настолько велико, что оно в известной мере как бы является определяющим и покрывающим собою все остальные элементы программы. По Марксу, во всяком случае, и это можно прочитать в любом марксистском катехизисе, начиная с «Эрфуртской программы», — обобществление средств и орудий производства, социализация, является альфой и омегой социализма. Русские большевики имеют право в каком-то смысле считать себя последовательными сторонниками экономической концепции Маркса, ибо что-что, но в их плане социализма примат безраздельно и без отступлений принадлежит социализациям. Стоит также отметить попутно, что идея социализации в эмбриональном виде звучала уже в первую войну в немецком опыте «кригссоциализма», о котором писал с упоением и с успехом (любопытно: на страницах либеральных «Русских Ведомостей»!) Ларин, этот первый будущий социализатор при Ленине (по инициативе Ларина были проведены национализации 17 отраслей промышленности в России!). И не только в России, но и во многих странах Европы после первой мировой войны вопросом о социализации, как о решающем приступе к социализму, занимались виднейшие социалисты: напомним работы специальной комиссии по социализации в Германии, проект Отто Бауэра в Австрии, планы гильдейского социализма Коля и других — в Англии. Нет сомнений, что когда сейчас мы

в Англии наблюдаем опыты социализации, как основную форму проведения в жизнь социализма, мы оказываемся почти целиком в фарватере этих идей.

Подводить итоги социализаторским опытам в Англии еще рано. Тем более, что Моррисон, Шинвел и другие социализаторы сами не только не склонны видеть в своих опытах панацею от всех трудностей и несчастий, но относятся к ним именно, как к опытам, результаты которых еще не вполне ясны, и положительное значение которых в народном хозяйстве еще нуждается в серьезной проверке. Кто читал их речи и доклады на съездах Рабочей Партии и трэд-юнионов, знает, что англичанами руководят, прежде всего, сдержанность и осторожность при проведении в жизнь планов социализации. Тот, кто придает слишком большое значение критическим выступлениям Черчиля и других против экономических планов Рабочей Партии, не должен упускать из виду, что во время последней избирательной кампании идеи национализации промышленности выдвигались и консерваторами. После военных потрясений и чисто экономических трудностей, выпавших на долю Англии после войны, — оказались, повидимому, неизбежными усилия всего государства, его регулирующая роль, его вмешательство в экономику страны, чтобы нащупать пути действительного восстановления. Это признало, повидимому, общественное мнение Англии, отдавшее половину своих избирательных голосов Рабочей Партии. Но будет неправильным относить вторую половину английских избирателей к сторонникам неограниченной частной инициативы в экономике. Эти времена безвозвратно прошли для Англии, — именно для Англии, ибо там, как ни в одной другой стране в Европе, существует прочная база политической демократии, при которой общественное мнение, а не преходящая власть той или другой партии, является последней и решающей инстанцией, держит под контролем всякое правительство и может обуздать его всякие «черезчуры», независимо от того, в какой области они имеют место: в области ли внешней политики или в области социализаций.

Тут следует подчеркнуть, что именно в Англии социализациями, охватившими только некоторые отрасли индустрии, нисколько не исчерпывается социализм Рабочей Партии. Ведь никто из них марксистом не был и «догмой» не захвачен, и не по соображениям программным и теоретическим, а по чисто-эмпирическим побуждениям, — как то свойственно британскому уму и характеру, — дошли они до социализаций.

Следовательно, они не связывают с этими социализациями преувеличенных ожиданий и, как мы видели недавно, в дни обострения экономического кризиса в стране, они по своей воле поставили точку и приостановили осуществление некоторых уже намеченных проектов. И если бы в Англии не продолжалась полоса черных дней, и не было столь острых экономических, продовольственных и иных трудностей, и этой богатой стране не пришлось бы столь часто думать над «экономией», то, вероятно, в программе Рабочей Партии социализации бы столь не выпячивались, и вместо них были бы не только разработаны, но и проведены в жизнь другие реформы, имеющие не меньшее, если не большее значение для народа, для рабочих, нежели мероприятия в области реконструкции промышленности. В этом смысле программа Рабочей Партии (как и социалистов в Скандинавии) широко известна. «С 1919 года по 1937 года в Англии выстроено 3½ миллиона новых многоэтажных домов — это и есть мировая революция» — писал до войны сведущий, хотя и черезчур восторженный, наш русский экономист Е. Юрьевский. «Не изменение титула собственности, писал он, а улучшение жизни десятков миллионов и есть социализм». — «Не через 200 лет, а сейчас». Новая социальная политика, система коллективных договоров, арбитражи и прочее, ведет к перераспределению национального дохода, к увеличению в нем доли трудящихся, к уменьшению доли хозяев. И он приходил к выводу, обозревая рост социальной реформы в цивилизованном мире, что «созданный продукт все более социализируется, уходит из рук капиталистов».

Правда, реформизм Юрьевского был разбит войной и повоенными трудностями, но в принципе именно он и выдержал наибольшее теоретическое и практическое испытание. Ибо в конце концов не в этих ли вопросах самый уязвимый пункт советского эксперимента? Разве могут что-нибудь реальное, какие нибудь упрямые факты предъявить большевики окружающему миру: рузвельтизму с его New Deal, планам Бевериджа в Англии? Конечно, в разоренной Европе, угрожаемой сейчас коммунизмом, для реального реформизма существуют очень неблагоприятные условия. Если бы оказалось, что на почве, взрыхленной гитлеризмом, взойдут махровые цветы революции, гражданских войн, левых или правых диктатур, — тогда, конечно, этот реформистский путь к социализму будет вновь сорван. Но это будет означать, что современное нам общество культурно, политически, психологически не созрело

для продвижения вперед. Ведь мы же на опыте видели, что история знает значительные промежутки движения вспять, регрессивной эволюции.

Конечно, в современном социализме, особенно, в его ортодоксально-марксистском крыле, прочно сидит отталкивание от реформизма. Что же, в сущности, в нем нового? — скажет иной из этих социалистов. Ведь свыше 50 лет тому назад старик Бернштейн это проповедывал. — Но ведь его то не послушали, во всяком случае до конца не хотели слушать! — можно ответить этим людям. И притом, ведь теоретически он то и оказался прав. И его тогдашний оппонент Каутский честно признал это и пошел к нему на выучку ... Но, когда мы как будто справились с этим возражением, раздается критический голос с другой стороны: — Разве это социализм? — скажет представитель русских либералов, — как когда то писал Изгоев. Наш капиталист Терещенко по части социального реформизма заткнет за пояс всех ваших Макдональдов ... Что же, тут есть доля правды — в этой критике социализма. Мы должны сознаться, что либерализм, от которого мы, как Иваны Непомнящие, ревностно открещивались, получает возможность своего реванша в данном случае. Идеи реформизма зачаты в его лоне. Отсюда в большой мере ведет свое происхождение и реформистский путь к социализму, — далеко не легкий путь, как мы убедились на опыте, не слишком быстрый, не всегда гарантирующий немедленный успех и на время могущий быть сорванным достаточно сильным дуновением стихии. Но это — единственный путь, ведущий к цели.

4.

Быть может, в применении к Англии, вследствие прочности ее демократических устоев, можно с известным спокойствием отнестись к опытам социализации индустрии. Гораздо больше опаски возникает в этом вопросе в отношении к Франции. Когда в 1937 году тогдашний секретарь партии (а впоследствии полупетэновец) Поль Фор защищал старую французскую программу (в програмных вопросах французские социалисты всегда проявляли неожиданный традиционализм): «Нашей целью остается социализация средств и орудий производства», он счел нужным добавить: «Но это не большевизм, — мы за свободную демократию». Это добавление было более, чем кстати. И сейчас содержащееся в нем предостережение сохраняет не меньшую силу убедительности, чем до войны. Вопрос

совершенно законный: грозит ли социализация существенных сторон экономической жизни правовому режиму, и в какой мере грозит? В советской России события развивались иначе: раньше была ликвидирована демократия, уничтожены свободы и правовые гарантии, и на этой нивеллированной почве большевики начали вышивать свои социализаторские узоры. В известном смысле можно сказать, что большевики в качестве убежденных социализаторов «догадались» пойти именно таким путем, ибо отдавали себе отчет в том, что вряд ли их рискованный эксперимент получит одобрение еще живой, неудушенной русской демократии (при всем ее примитивизме и одушевленности социалистическими настроениями). Но в Европе, где существует база политической демократии, не войдет ли социализация в противоречие с этой основой, не взорвет ли она демократию ?

Опять таки речь идет не об опасности оттолкнуть буржуазные классы, толкнуть их в объятия реакции и тем изолировать трудящихся и ослабить их позиции. Эта опасность может быть преодолена, ибо социализация в условиях демократии мыслима только демократическими методами, то есть при сочувствии преобладающей части населения, в том числе не только промышленных рабочих, но и средних классов, интеллигенции, крестьянства и проч. Но есть другая сторона этой опасности, источники которой таятся внутри демократии, и будет легкомыслием игнорировать ее даже в тех странах Западной Европы, где — формально — сохраняется демократический режим. Не следует закрывать глаза на тот факт, что в целом ряде стран — и это подтверждает опыт последней войны, как и повоенный опыт, — наблюдается весьма слабый уровень демократического сознания народных масс, в среде которых весьма распространены тяготение к диктатуре, эсхатологические верования, переоценка роли насилия, нигилизм в отношении к праву и презрение к свободе. Тема о внутренних слабостях демократии в демократических странах — не искусственно надуманная тема, а весьма острая проблема, которая, к сожалению, слишком часто остается в тени. Между тем, именно потому, что почти повсюду демократия слаба и неустойчива, становятся опасными и попытки осуществления социализаций.

Дело не в словах, но сколь часто забывают, что речь идет не о социальных экспериментах в безвоздушном пространстве, а о социализациях, проводимых в государственном масштабе, государственными мерами и в рамках государства. Когда го-

ворят, что обобществление производится в интересах общества, то упускают из виду, что современное общество символизируется государством. Какие бы меры «нейтрализации» не были придуманы при осуществлении планов так называемой хозяйственной демократии (например, передача социализированной индустрии органам местного самоуправления, или каким-нибудь смешанным, организованным на принципе паритета, специальным парламентам, или сосредоточение управления социализированной индустрией в советах по плану Бауэра или Коля, дабы обеспечить интересы потребителей и ослабить влияние бюрократии чиновников), — основной принцип остается все тот же, особенно для главных, ключевых отраслей индустрии: социализация остается национализацией, огосударствлением. Благодаря проведению национализаций, неимоверно возрастает мощь государства. Прерогативы власти получают чрезвычайное усиление, благодаря тому, что в ее руках сосредотачиваются огромные национальные экономические рессурсы.

После опыта коммунизма в России и его выучеников — фашизма в Италии и нацизма в Германии, не нужно никакой особенной фантазии для того, чтобы представить себе, какой роковой ошибкой могут обернуться все эти проекты планового хозяйства, все эти социализации и национализации, даже другие виды расширения государственного регулирования и вмешательства, — при недостаточной стабильности современной демократии. Страшный призрак тоталитарного государства-Левиафана, этого гораздо более опасного врага свободы и социализма, чем достаточно скверный режим анархо-капиталистического частного хозяйства, подкарауливает современных социализаторов. И если эти опасности обезврежены в большой степени уровнем политической культуры англичан, то уже на континенте Европы — и даже во Франции — и не только по свежим следам войны, — нельзя забывать, как демократия слаба и как легко она может пасть жертвой узурпации.

Эта мысль посещала порой умы основоположников социализма, но в сущности забыта самообольстившимися потомками. Между тем это — самое главное: не в социализациях дело, а в укреплении во всем мире демократии, этой предпосылки социализма. Ее надо еще завоевать, ее надо отвоевывать — и не только у врагов, но и у самих себя. Если одно достижение на этом пути в серьезных кругах социалистов уже имеется, то оно заключается в сознании, что в основе борьбы за освобождение лежат не только экономические факторы, но и другие, в том числе социальные, культурные и этические. Человек не

подчинен «железным законам исторического развития», но он также и не жертва стихий. Социализм может победить только как широкое гуманистическое движение, в котором гармонично сочетается задача социального освобождения с защитой права и свободы личности.

Григорий Аронсон.

ТРИДЦАТИЛЕТИЕ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

С каждым годом все пышнее и монументальнее официальное оформление годовщины Октябрьской революции. Тут и многочасовой военный парад на Красной площади, и физкультурный фестиваль, и торжественное собрание в Большом театре, митинги во всех частях столицы, грандиозный прием вечером в Кремле. И то же повторяется в областном и районном масштабах по всему лицу огромной страны. Произносятся тосты, льются речи и вино. В многочисленных тюрьмах и концлагерях по случаю годовщины до войны заключенным выдавалось — не знаю, выдается ли сейчас — по куску белого хлеба (второй кусок выдавался к дню Первого мая).

Наряду с этим официальным торжеством существует еще другое празднование: в деревне и в городе «Октябрь» давно превратился в бытовой праздник: его славят пирушками и обедами в узком кругу семьи. В идиллические времена нэпа, каждый советский гражданин старался ко дню годовщины припасти чего-нибудь повкуснее. В повести Глеба Алексеева «Ноев ковчег» писатель рассказывает, что за окном многих квартир красовался припасенный ко дню годовщины гусь, а в канун «Октябрьской» дворники обходили «за праздничной данью» жильцов так же, как они это привыкли делать под Рождество и Новый Год.

И в официальном варианте празднования «Октября» и в его бытовом аспекте, никто сегодня не почувствует того, чем явился «Октябрь» для его современников, что выражено в поэме Блока «Двенадцать» и в гениальной строфе Велемира Хлебникова:

Если в пальцах запрятался нож,
А зрачки открывала настежью месть,
Это время завыло: даешь,
А судьба отвечала послушная: есть...

В 1927 году, к десятилетию Октябрьской революции венгерский левый социалист Кунфи писал в Венском журнале «Кампф», что история возложила на компартию две задачи: возглавить революцию и произвести собственную «контр-

революцию» — ввести революционную стихию в прочные берега демократической государственности. Мысль эта в середине двадцатых годов была довольно распространена и в среде советских писателей. С наибольшей последовательностью отстаивал ее Б. Пильняк, позже объявленный «злостным врагом народа». Основной конфликт внутри революции по Пильняку (роман «Машины и волки», 1924 г.) заключается в том, что за пять дней, с 23-го до 28-го октября 1917 года, России надо было сделать скачок больше, чем в тысячу верст. В столицах с этой задачей справились быстро: там выковали «романтику пролетарской машинной революции», но в глубине страны дело оказалось много сложнее, ибо внутри России шел свой «мужичьий бунт», чуждый и враждебный городам и заводам. Вот тогда то и «поднялся занавес русских трагедий». Две правды сшиблись лбами: «машинная правда» и «мужичья Русь, Расея». В этом столкновении на войны, на революцию Россия ответила, — говорит у Пильняка статистик Непомнящий — «как я, цыфрами, 20-м годом, Волгой, голодом». Ответила она так потому, что не под силу был стране задуманный социалистический опыт: «из подмышек ноги не растут, они растут откуда следует . . . и я за Россию». В этот конфликт вмешалась третья сила, представленная технической интеллигенцией, которая позже, в период индустриализации, получила титул «непартийных большевиков». Инженер Росчиславский у Пильняка говорит: «У государства (как и у отдельного человека) есть свои будни и пьяные дни — это революция. Россия пьянствовала пять лет (роман писался в 1923 году), — прекрасные годы! Теперь она идет в будни, революция кончается и я утверждаю: не революция и не революционный городовой несут счастье, — счастье несет человеку только труд».

Страна так отстала, что когда ее народ рванулся делать свою историю, он оказался беспомощным, и его поглотила бы русская «волчья» «безгосударственная стихия» и привела бы к распаду: «Национальная русская душа — страшная над Россией мятель. Все разбросает, если . . . в вихревую эту мятель, корявую, кровяную, полыхающую заревами, удалую, разбойничью» не вмешается «черная чья-то рука, жестокая и стальная, как машина, государственная». И эта рука вмешалась и «взяла под микитки и Россию, и русскую метелицу, и мужика, — сжала до хрипоты, это она захотела строить, строить, слышишь, — строить!» В этой формулировке 1923 года уже в общих чертах схвачена философия индустриализации, к которой позже пришла компартия и которая частью добровольно была поддержана технической советской интеллигенцией.

Внутренно-близка была эта концепция и покойному Алексею Толстому. Еще к десятилетию Октября появилась его небольшая повесть «Голубые города»: Умирая от сыпняка в степи, объятой пламенем гражданской войны, грезит молодой коммунист Буженинов о чудесных «голубых городах» будущего. Ему удается выжить, и после окончания гражданской войны он учится в политехникуме, чтобы стать строителем. Однажды он попадает в годы нэпа в родной город и с горечью убеждается, что революция мало изменила его, только прежнее мещанство стало теперь изворотливее и хитрее, прежний кабак именуется «Ренессансом», а сын кабатчика стал агентом советской закупочной конторы. В припадке безумия Буженинов поджигает город и отдается в руки правосудия. Судебному следователю, коммунисту Хотяинцеву, он говорит: «Отстучали копыта наших дней. Умерли великие года. Счастливы те, кто в земле догнивают». Но Хотяинцеву чужда революционная романтика: «Жизнь не прощает уходящих от нее — фантазеров, мечтателей, восторженных» — говорит он... «Жизнь, как злая, сырая баба не любит верхоглядства. Мудрость в том, чтобы овладеть ею, посадить бабу в красный угол в порядке, в законе».

Тоска по скорейшему завершению революции, по упорядоченной, нормальной жизни была внутренней доминантой нэповской России. Этой мечте не суждено было сбыться. Гораздо позже, в 1943 году, Алексей Толстой в очерке «Четверть века советской литературы», ретроспективно обозревая события драматического двадцатипятилетия, осторожно давал понять, что от Октября 1917 года до года «великого перелома» (т. е. до начала 30-х годов с их индустриализацией и насильственной коллективизацией) «в стране еще не был решен вопрос 'кто кого', внутри общества шла борьба социалистических и капиталистических элементов, борьба за направление, за содержание революционного процесса». Отсюда — пестрота не только литературных группировок, но и пестрота тем. Вот почему — по мнению Толстого — можно даже говорить «о нэповском литературном цикле». Именно в этой атмосфере противоречий родилась «лукавая, умная, прелестная проза Зощенко, с ее иронически-приниженным героем-обывателем, которого он и высмеивает, и жалеет». В жизни и в литературе появился нэповский «купец». В упомянутом очерке Толстой отзывается о нэповском купце саркастически, называя его «карикатурой на европейского буржуа, жуликоватым, увертливым приспособленцем-маркитантом, раскинувшим свою жал-

кую палатку среди лагеря суровых солдат, отдыхающих между двумя боями».

Это высокомерно-презрительное отношение к нэпу отнюдь не было всеобщим в руководящих интеллигентских и коммунистических кругах двадцатых годов. Внутри компартии имелось широкое течение, позже заклейменное как «правый уклон», которое видело прогрессивные возможности развития в рамках нэпа. В литературной среде наиболее активно отстаивал эту концепцию редактор первого советского «толстого» журнала «Красная новь» — А. К. Воронский, принимавший деятельное участие и в организации литературной группы «Перевал». В одной из статей сборника «Литературные типы», Воронский так охарактеризовал обстановку середины 20-х годов: «Многим из нашей молодежи кажется, что новая экономическая политика есть только вынужденная сдача революционных позиций врагу, в нэпе не видят ничего творческого. Такая недооценка усугубляется отвратительным материальным положением молодых писателей и ведет к разным, подчас сомнительным настроениям. Цуканием тут делу не поможешь. Наша писательская молодежь фактически брошена на произвол судьбы, живет и развивается очень одиноко. Если прибавить сюда подвиги наших литературных ташкентцев, то станет совсем ясным, что поэтическое самоопределение — совсем не легкое дело».

Наиболее полно вихрь чувств и дум, вызванный новой экономической политикой в душах коммунистических «кадров», запечатлен в нескольких произведениях Юрия Лебединского, давно вероятно изъятых из библиотек: это романы «Комиссары», «Поворот» и «Рождение героя». Особенно интересен оставшийся неоконченным роман «Поворот» (1923 г.). В Москву из командировки возвращается крупный партийный работник Завелев, чтобы добиться свидания с Лениным и поделиться с ним своими наблюдениями о положении дел в провинции. Завелеву прежде всего хочется помыться с дороги, раздобыть белья. Около бани ему удается купить пару белья из под полы у бабы-частницы, которая испуганно шепчет ему: «Прячь, прячь, дедушка — антихристы два дня с облавой не ходили. Вот придут, будь они трижды прокляты, — все отберут». От этой «горькой, гневной ненависти, которой звучали эти слова», Завелев почувствовал, как содрогнулось в нем сердце. Не радуют и другие наблюдения: в живой действительности Завелев всюду замечает трагическое столкновение «чудесно задуманного» с «реально-осуществляемым порядоком вещей». Завелев — убежденный сторонник уступок крестьянству. И

когда один из заводских коммунистов насмешливо спрашивает его: «Что-ж, значит Ленин и свободная торговля?», Завелев не в силах сдержаться и страстно парирует: «Это было бы нашим счастьем, если бы мы могли, сохранив большевистскую линию, сделать крестьянам какую-то уступку».

Роман этот появился после того, как «уступка» стала фактом, но это отнюдь не снижает значения этого произведения, написанного по горячим следам событий. Потребность в завершении революции, в каком-то правовом упорядочении жизни, совсем не была мечтой только «отсталых мелкобуржуазных масс крестьянства», о том же мечтали широкие слои рабочих, интеллигентов, жили эти настроения и в самой компартии. Вот тогда-то те элементы в партийном руководстве, которые стремились к дальнейшему «углублению революции», и стали покровительствовать деклассированной и радикальничавшей молодежи, особенно тем из них, которые в литературе, с легкой руки Воронского, получили прозвище «литературных ташкентцев». Пользуясь поддержкой в руководящих сферах, литературные ташкентцы укрепили свою прежде слабосильную организацию РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей) и под рукводством «генерального секретаря» Авербаха вскоре превратились в вершителей судеб всей советской литературы.

РАПП ненавидело большинство писателей, ненавидели ее и сами члены, вступавшие в нее по чисто оппортунистическим и житейским соображениям. Но выступать против РАПП открыто было рискованно. Это скоро стало очевидным на судьбе известного марксистского литературоведа проф. Переверзева и, особенно, на участи ликвидированного «Перевала». Ограничусь одним эпизодом из борьбы «Перевальцев» и «Рапповцев». Критику-перевальцу Дм. Горбову рапповцы предложили выступить у них с докладом на тему об отношении искусства и действительности, гарантируя «товарищескую форму полемики». Свой доклад Горбов озаглавил «Поиски Галатеи». Центральная мысль докладчика сводилась к утверждению, что искусство отнюдь не является голым показом действительности. Хотя в каждом произведении присутствует некая действительность, искусство по природе своей вовсе не повторение действительности. Подлинная его природа хорошо выражена в стихотворении замечательного поэта-мыслителя Боратынского «Художник»:

Глубокий взор вперив на камень,
Художник нимфу в нем прозрел,

И пробежал по жилам пламень,
И к ней он сердцем полетел . . .

Долго длится работа художника, но час рождения произведения искусства не настанет до тех пор, пока

Под лаской вкрадчивой резца
Ответным взором Галатея
Не уведет, желаньем рдея,
К победе неги мудреца.

Горбов продолжал: «Несмотря на то, что я со всей возможной неотвратимостью навлекаю на себя обвинение в антимарксизме, эстетизме, сочувствии реакционным дворянчикам, а, следовательно . . . гм, гм . . . эмигрантам, — я все-таки принимаю мужественное решение: пренебрегая капризным пером Авербаха и фривольным карандашом Кукрыниксов, — во всеуслышание объявляю приведенное стихотворение Боратынского общеобязательной для всякого подлинного художника формулой творчества». И тут же на примере Фадеевского «Разгрома» Горбов показал, как в настоящем художественном произведении, рядом с видимыми героями, «легкой поступью невидимки» проходит «сокровенная богиня Галатея». Доклад этот был прочитан в октябре 1928 года. Надо ли говорить, как взят был Горбов в штыки и как втечении более года все рапповские литераторы изощрялись в придумывании позорящих Горбова эпитетов!

История советской литературы периода нэпа так никем до сих пор и не написана, и еще до войны в официальной публицистике стала явственной тенденция при анализе развития советской литературы по возможности скомкать повествование об этом первом десятилетии, когда, выражаясь словами Ал. Толстого, еще не решен был вопрос «кто кого?» Очень отчетливо эта тенденция проявилась во время празднования 25-летия советской литературы в 1943 году. Во всех статьях и очерках, посвященных этой годовщине, бросалась в глаза нарочитая торопливость, с какой публицисты пробегали этот период. Уже тогда, в 1943 году, человек, знакомый с советской литературой, тщетно искал в юбилейных статьях имена Пильняка, Замятина, писателей «Серапионовцев». Но тогда эта странная забывчивость могла казаться результатом особых условий, в которых праздновался юбилей: в тяжкий период войны не на жизнь, а на смерть, могло казаться понятным желание литературных критиков замолчать тематику гражданской войны и

обостренной классовой борьбы, чтобы не ослаблять духа патриотического единства, который удалось создать в грозные месяцы военных поражений.

Но сериия постановлений ЦК компартии летом 1946 года о журнале «Ленинград» и «Звезда», о писателях Зощенко и Ахматовой, о драматургии и киносценариях, статьи «Культуры и Жизни» — нового органа ЦК ВКП — не оставляют сомнений относительно действительных причин остракизма, которому подверглось большинство писателей, бывших властителями дум первого периода революции.

В соответствии с новым курсом составляются и новейшие руководства и учебники по современной литературе. В недавно вышедшей «Современной литературе» Л. И. Тимофеева — обширном — более 400 страниц — учебнике (изд. Учпедгиза, М. 1946 года) имена Ахматовой, Бабеля, Михаила Булгакова, Евг. Замятина, Е. Зозули; М. Зощенко, Л. Лунца, Н. Никитина, Б. Пильняка, Б. Пастернака, Пант. Романова — просто ни разу не упоминаются; из большого количества «пролетарских писателей», некогда занимавших авансцену (М. Чумандрин, С. Семенов, Г. Никифоров, Дм. Лаврухин и др.) оставлен один Гладков; вся многочисленная группа крестьянских писателей представлена покойным А. Неверовым и здравствующим Ф. Панферовым. Из крестьянских поэтов уцелел Есенин, представленный одним стихотворением «Ой, ты, Русь, моя родина кроткая», да М. Исаковский с А. Твардовским.

В высказывании Кунфи, о котором речь шла в начале статьи, была верная мысль: да, в отличие от французской революции, огромный революционный катаклизм, обычно распадающийся на ряд этапов, из которых каждый возглавляется новыми людьми, в русской революции внешне не прерывался, он все время находился «под контролем» той партии, которая пришла на гребне революции. Но эта постоянность руководства, в сущности, только фикция: в страшных процессах 1936-1938 г.г. были расстреляны наиболее видные вожди Октября и руководители Красной Армии и сверху до низу компартия была «очищена» от «героев Октября». Достаточно присмотреться к именам ответственных руководителей советской политики, чтобы убедиться в том, что из старой большевистской гвардии там остался один Сталин.

И та же картина наблюдается в современной литературе: можно по пальцам пересчитать в сегодняшней литературе писателей, выдвинувшихся в первый период революции. Литературная авансцена давно занята новым поколением, биогра-

фию которого определил не нищий, но дерзновенный социальный порыв Октября, а участие в осуществлении экономического плана индустриализации России. Старшие писатели, те, которым удалось уцелеть после разных «чисток» (как Гладков, Леонов, Караваева и пр.), не притязая на роль «властителей дум», приспособляются к господствующему течению.

Эволюция эмоций внутри общества началась очень рано, она явилась результатом поражения демократической тенденции завершения революции и победы в ней авторитарного начала. Наиболее глубоко, с какой-то почти мистической озаренностью эта победа авторитаризма запечатлена в произведении Пильняка «Повесть непогашенной луны» (1925 год). Сюжет ее на первый взгляд прост: Командарм Гаврилов по требованию центрального комитета компартии вызывается в Москву с Кавказа, где он находился в отпуске по болезни. В Кремле Гаврилову дают понять, что ЦК считает нужным, чтобы Гаврилов подвергся операции. Сам Гаврилов боится операции, да и врачи говорят ему, что операции можно избегнуть, поскольку в болезни наметилось улучшение. Но на операции настаивают из таинственного центра и один из виднейших руководителей этого центра, некий «не горбящийся человек» — в сущности приказывает Гаврилову лечь на операционный стол. Гаврилов подчиняется и умирает под ножом.

Повесть имеет свою длинную историю. В 1924 году, в результате операции умер командовавший после Троцкого Красной Армией Фрунзе. Было известно, что он сочувствовал Зиновьеву, одному из вождей левой оппозиции. Сейчас же после смерти Фрунзе возник слух, что Фрунзе был устранен Сталиным под благовидным предлогом операции. Слух этот несомненно лег в основу фабулы Пильняковской повести, хотя в предисловии к ней писатель категорически отвергал сходство смерти своего Гаврилова со смертью Фрунзе. Но оставим выяснение исторической правды будущим историкам, — современниками эта повесть была воспринята как художественное воплощение конфликта между авторитарным началом и демократической стихией революции.

Этот конфликт в повести воплощен в образы большой силы, он чувствуется во всей внутренней инструментовке повествования. Оно начинается с описания хмурого, раннего, московского утра. К пустынному вокзалу бесшумно подходит поезд, к которому прицеплен вагон командарма. У входа в его вагон выстраивается безмолвный караул. Сам командарм, имя которого обросло «легендами войн, полководческих доблестей,

безмерной храбрости» — обыкновенный человек, невысокого роста, широкоплечий, с добродушным, чуть-чуть усталым лицом семинариста. В вагон то и дело прибывают курьеры с шифрованными пакетами. Вдруг у вагона вырастает неказистая фигурка человека без всяких мандатов; человек этот просит передать командарму, что он, Алеша Попов, хотел бы его повидать. Только услышал командарм имя, он велит впустить посетителя. Алеша Попов — старинный друг командарма. Оба в далекой юности были ткачами в Орехово-Зуеве, оба с головой ушли в революционную работу, мыкались по тюрьмам. «Октябрь» сделал одного из них — Гаврилова — начальником штаба Красной Армии, а Алешу Попова — председателем Губисполкома. Но на всю жизнь оба чувствуют себя связанными служением «величайшей в мире революции».

Встреча радует обоих друзей: хорошо знаменитому командарму со своим закадычным другом, с которым можно говорить «без чинов и регламентов», в беседе воскресает время, когда оба были товарищами-ткачами, были влюблены в зареченскую учительницу; тогда юный Гаврилов, отправляясь к ней, чистил сапоги, но через лес бежал босиком, чтобы их не запачкать. Вдруг среди милых сердцу воспоминаний Гаврилов помрачнел: вспомнил о предстоящей операции. Алеше Попову он доверился: боится он этой операции, не выживет и придется Алеше Попову стоять у гроба командарма в почетном карауле!

Трагедийный узел повести зашифрован в бреду командарма на операционном столе. Вот обрывки этого бреда, в котором мысли о революции причудливо переплетаются с воспоминаниями юности и с недавно прочитанной повестью «Детство и Отрочество» Толстого:

«Лед прошел и Волга вскрылась, золотой мой, золотой. Я, девченочка, влюбилась — пропел командарм и зашептал: а ты спи, спи, Алешка, брат! Скорости все открыты, земли уже не видно, я все помню. Тогда я знаю, что такое революция, какая это сила и мне не страшна смерть. — И опять запел: 'За Уралом живет плотник, золотой мой, золотой'...»

Скорости, ведшие к авторитарному завершению революции, были открыты очень рано, и рано чуткое ухо художника уловило зарождение силы, которая не остановится ни перед воплощающим народное начало в революции командармом, ни перед вдохновителями и творцами Октября.

Этой повести Пильняка хочется противопоставить рассказ Анны Караваевой «Вечер воспоминаний» (1941 г.), тоже описывающий встречу после многих лет разлуки двух еще моло-

дых женщин, которые вместе пережили юность Октябрьской революции, были делегатками на съезде Комсомола, на котором выступал Ленин. Сейчас одна из них, Ольга, заведует детским санаторием в провинции, другая, Лена — архитектор в Москве. Встреча происходит в уютной, красиво обставленной квартире Лены; домашняя работница обслуживает обеих приятельниц; оне пьют чай из белоснежных чашек Дулевского фарфорового завода и «жмурятся от удовольствия», поглядывая, как «сквозь тонкий, как яйцо, фарфор густо светится медноораижевый чай».

Хотя сама Караваева пришла с первым призывом писателей, она и по происхождению, и по своим настроениям и по своим писаниям — типичная представительница коммунистического мещанства, на каждом этапе развития приспособляющегося к новым веяниям.

С середины 30-х годов, после успеха 1-ой Пятилетки, «знатные люди страны», помогавшие ее осуществлению, стали тяготиться «пролетарской романтикой», перестали домогаться пролетарских биографий, им захотелось стать «мозгом», образованной интеллигенцией мощного государства. Именно потому, что не идеи освобождения, а идея оснастки большого государственного корабля была их «Илиадой» — они любят мощь, монументальность в быту и в истории и охотнее увидели бы «Октябрь» не во фригийском колпаке или скромной кепке Ильича, а в тяжелой шапке Мономаха.

Официальные публицисты не только не борются с этими новыми вкусами и вожделениями, но всячески поощряют их. Это ярко проявилось в истории с повестью Зощенко «Перед восходом солнца» и с трилогией К. Федина «Горький среди нас», вызвавшими грубый и резкий отпор официальной критики. Оба писателя принадлежат к зачинателям первой литературной группы «Серапионовы братья»; оба на всю жизнь впитали в себя неповторимый воздух, которым дышало их время, время голода, героизма, хаоса, молодых исканий.

Каждый современник этой поры, дойдя у Зощенко до описания 1917 года на фронте и в Петербурге, сразу почувствует внутреннюю правдивость и особую стесняющуюся взволнованность писателя: в его зарисовках он увидит вновь живыми и без публицистической косметики Есенина, Маяковского и многих других. И те же чувства будит книга Федина (трилогия осталась незаконченной, так как ее взяли в штыки после появления 2-й части).

Если исходить из предположения, что официальные «вла-

стители дум» современной России внутренно связаны с начальным периодом революции, просто нельзя понять мотивов, продиктовавших критикам их резкие отзывы об обоих произведениях. Но на самом деле связь с ранним этапом революции держится только «на ниточке». Наиболее откровенно и цинично выразил это И. Лежнев в «Литературной Газете» (в сентябре 1944 года). Он упрекнул Федина в том, что тот не понял границ эволюции, которую пережила партийная мысль. Эта «партийная мысль подняла из недр прошлого великую русскую национальную традицию, поставила ее на службу советского народа». Не разобравшись, «что к чему», некоторые писатели, и Федин в том числе, «стали рыть клад не в положенном месте» и захотели воспользоваться эволюцией партийной мысли, чтобы подвергнуть «ревизии основы нашего мировоззрения». Этой «модной среди людей, оторванных от жизни, тяге к переоценке ценностей» надо положить конец. Мысль Лежнева проста: сегодняшние властители дум не хотят, чтобы им напоминали о бунтарском, стихийно-демократическом аспекте «Октября»...

У писателей первого призыва, при всем их формальном антидемократизме, много было — по верному замечанию Воронского — «стихийного, часто неосознанного демократизма, как следствия революции, притока и приобщения к культуре огромных кадров нового демоса». Этот неосознанный стихийный демократизм не раз бывал хорошим коррективом к официальным директивам, которыми забрасывали писателей руководители советской политики. Тогда писателям не надо было писать так выспренно о народе, как пишут теперь. Тогда они чувствовали себя органической частью этого народа. Новые писательские призывы, хотя и пришли из той же среды и являются детьми и внуками городского мещанства, провинциальной интеллигенции, росли уже в обстановке разложившегося старого уклада и еще не созданного нового. Верно характеризовал Фурманов в «Чапаеве» то время: «Старого нет — и нового нет. Где же голову преклонит беззащитный человек?» И недаром прибавлял писатель: «в те нечеловеческие дни тяжко было человеку».

Вот почему, несмотря на неусыпный контроль компартии, произведения 20-х годов заключают в себе бесценный познавательный материал, без которого не сможет обойтись ни один современник и ни один историк, который захочет понять проблематику русской революции и механизм ее внутренних процессов. К художественной литературе первого десятилетия,

да, впрочем, и всего советского периода, в известной мере приложима характеристика, которую дает в своей книге «История древней русской литературы» проф. Н. К. Гудзий ранней русской письменности: «Древняя русская литература по своему характеру была в основном публицистична и злободневна. Самое понятие художественной литературы, как области формально автономной и отграниченной от других областей культуры, в древности у нас не существовало, по крайней мере, если иметь в виду литературу письменную, а не устную словесность. Это обстоятельство позволяет нам порой л е г ч е, чем в литературе последующей, вскрывать те исторические и социальные связи, какие существовали между данной эпохой и тем или иным памятником, к ней относящимся». — Именно поэтому литература первого периода революции оказывается к 30-летию Октября таинственным градом Китежом, затопленным по велениям авторитарной власти.

Задача введения революции в прочное русло демократической государственности, о которых двадцать лет назад писал Кунфи и которая до и после него маячила перед многими представителями молодой советской литературы, оказалась неразрешенной и на тех путях, которыми пошла Россия, неразрешимой. И это роковым образом сказалось и на развитии художественной литературы. Она утратила непосредственную интимную связь с народными массами, которая в ранний период и многим художественно-слабым произведениям передавала взволнованный трепет жизни. Постепенно она все больше становится послушным орудием авторитарной власти. Техника литературного письма, правда, улучшилась, но дух живший в ней захирел.

Развитие это было прервано войной. Тяжкое испытание, которому подверглись страна и народ, заставило власть искать каких-то новых путей и ослабить железный обруч, которым скована была духовная жизнь народа. Вновь перед литературой открылась возможность стать рупором народных чаяний. Вот отчего произведения этого первого периода войны (их я касалась в обзорах в «Новом Журнале»), если не по своей тематике, то по демократичности своих настроений и даже отчасти по своему социально-психологическому звучанию чем-то стали напоминать литературу первого десятилетия революции.

Но период идеологического отступления власти продолжался недолго. С изменением военной обстановки и тем более после победоносного окончания войны, власть решительно повернула на старый путь и быстро «ликвидировала» все

«уступки» первых лет войны. «Выпрямление идеологической линии», «перестройка литературных кадров» по приказу ЦК компартии и под непосредственным контролем Жданова — все это еще свежо в памяти. Сможет-ли власть такими крутыми мерами вытравить влияние духовного потрясения, пережитого страной в годы войны, сказать трудно. Но одно несомненно: в этой борьбе авторитарных традиций и народных чаяний — решится и вопрос о дальнейшем развитии и о самой судьбе советской художественной литературы.

В. Александрова.

ТРИ СУДЬБЫ[1])

(Блок, Гумилев, Сологуб)

II. ИЗБРАННИК СВОБОДЫ

Я люблю избранника свободы,
Мореплавателя и стрелка.
Н. Гумилев.

И нет на его могиле
Ни холма, ни креста — ничего.
И. Одоевцева.

1.

О Блоке уже существует огромная и все растущая литература.[2]) Хотя некоторые стороны его биографии остаются еще в тени, перед нами уже достаточно ясная и полная картина его личности и жизни, складывающаяся на основании его собственных писем, дневников, записных книжек, а также многочисленных воспоминаний людей, близко или отдаленно его знавших. Есть и несколько биографий — и подробная, но несколько иконописная и слащавая биография, написанная его теткой, М. А. Бекетовой, и более краткая А. В. Цинговатова, и другие. Имеется и ряд трудов о творчестве Блока, общих и частных.[3])

Н. С. Гумилев, напротив, еще ждет своего биографа и

---

[1]) См. книгу 16-ю «Нового журнала».

[2]) В книге О Блоке под редакцией Е. Ф. Никитиной (Москва, 1929 г.) приводится 842 названия за одни только 11 лет (1918-1928), причем список этот далеко не полный, особенно в отношении зарубежной литературы.

[3]) Недавно вышли, например, две французские книги: капитальная диссертация г-жи Бонно и более скромная книжка Нины Берберовой.

исследователя. Даже материалы для его биографии не собраны. Судьба архива его неизвестна — по всей вероятности, он сохранился в России, но публикаций из него пока не было: там, несмотря на влияние, которое Гумилев оказал на ряд советских поэтов (Тихонов, Багрицкий и др.), не любят вспоминать о расстрелянном поэте. Кое-какие материалы для биографии Гумилева и неизданные произведения его имеются заграницей.[4]) Знавшие его люди — Георгий Иванов, Г. Адамович, И. Одоевцева, В. Ф. Ходасевич, П. Б. Струве — печатали в зарубежных изданиях отрывочные воспоминания о нем. Есть и несколько отдельных статей о его творчестве.[5]). Но даже некоторые произведения самого Гумилева стали почти недоступной библиографической редкостью (например, его интересные теоретические и критические статьи). В СССР Гумилев до сих пор «под запретом», и при всей способности большевиков к фальсификации истории и искажению фактов, едва ли они способны перешагнуть через факт расстрела ими Гумилева. Да и по существу едва ли бы они сейчас рискнули, даже в скромной форме литературно-исторического исследования, возрождать культ Гумилева. На нас, зарубежных русских, лежит поэтому долг, как правильно недавно писал Ю. К. Терапиано, и переиздать сочинения Гумилева, включая то, что имеется за рубежом неизданного (например, византийская трагедия Отравленная туника, начало повести Веселые братья),[6]) и собирать материалы для его биографии, воспоминания о нем всех, кто его знал, письма его и к нему, если они сохранились вне России. Особенно мало до сих пор было напечатано об африканском периоде жизни Гумилева (то-есть о его трех путешествиях в Африку перед первой мировой войной), о его пребывании в армии во время войны и о десяти месяцах, проведенных им заграницей — в

---

[4]) См. мою статью «Неизданные стихи Н. Гумилева» в «Новом Журнале», книга 8.

[5]) В 1931 году парижская еженедельная газета «Россия и Славянство» посвятила Гумилеву целый номер (от 29 августа 1931 года). Недавно появились две английские статьи о Гумилеве Л. И. Страховского в "American Slavic and East European Review" и "Russian Review".

[6]) Обе эти вещи имеются в моем гумилевском собрании, о котором я писал в упомянутой статье в «Новом Журнале», но Отравленная туника в несовсем полном и неокончательном виде. Местонахождение другого ее экземпляра, тоже бывшего заграницей, неизвестно.

Лондоне и Париже — в 1917-1918 годах.[7]) Кое-какие штрихи, рисующие эти периоды жизни Гумилева, имеются в статье Георгия Иванова «О Гумилеве»,[8]) но статья эта очень субъективна, и у читателя от нее остается впечатление, будто Иванов подходит к Гумилеву с некоторым легкомысленным цинизмом. Из его рассказа выходит, что Гумилев нарочно застрял в Париже в 1917 году и не доехал до Салоник; что заграницей он «отдыхал»; что возвращение в Россию было с его стороны легкомысленной бравадой. Иванов пишет:

> Гумилев рассказывал, как он и несколько его приятелей-офицеров, собравшись в кафэ (очевидно, в Лондоне — **Г. С.**), стали обсуждать, что делать дальше. Один предлагал поступить в Иностранный Легион, другой ехать в Индию охотиться на диких зверей. Гумилев ответил: «Я дрался с немцами три года, львов тоже стрелял. А вот большевиков я никогда не видел. Не поехать ли мне в Россию? Вряд ли это опаснее джунглей». Гумилева отговаривали, но напрасно. Он отказался от почетного и обеспеченного назначения в Африку, которое ему устроили его влиятельные английские друзья. Подоспел пароход, шедший в Россию. Сборы были недолги. Провожающие поднесли Гумилеву серую кепку из блестящего шляпочного (*sic*) магазина на Пикадилли, чтобы он имел соответствующий вид в пролетарской стране.

Может быть, все это так и было, хотя свидетельским показаниям, особенно передачам чужих рассказов на расстоянии многих лет, иногда опасно доверять. Может быть, Гумилев говорил именно так, как передает Иванов, но слова его могли быть, так сказать, целомудренной позой. Приведу во всяком случае факт, которого не упоминает Иванов и который заставляет усомниться в некоторых деталях его рассказа. Задержанный в Париже Октябрьской революцией, Гумилев просидел там до января 1918 года. 8-го января он подал представителю Временного Правительства, в распоряжении которого нахо-

---

7) В моем собрании гумилевских бумаг имеется ряд официальных документов, бросающих свет на пребывание Гумилева в Париже и Лондоне. Ниже я цитирую некоторые из них. О пребывании Гумилева в армии мог бы, вероятно, рассказать много интересного проживающий под Парижем С. М. Осоргин, который был адъютантом полка, где служил Гумилев в 1916 году. Наверное, нашлись бы заграницей и другие однополчане Гумилева.

8) «Современные Записки», № 47, Париж, 1931 г.

дился, рапорт о назначении его на персидский фронт. В послужном списке Гумилева значится, что 2/15 января 1918 года он «по собственному желанию командирован в Англию для направления в действующую армию на Месопотамский фронт». Из другого документа видно, что Гумилев фактически покинул Францию 21 января. В этом документе также указывается, что он отправляется в командировку в Лондон, дабы быть в дальнейшем отправленным в специальную командировку «стараниями великобританского правительства». Намерение Гумилева отправиться в Месопотамию и продолжать воевать там было, видимо, серьезно: в одной из его записных книжек, имеющихся у меня, сохранились рекомендательные письма, которыми снабдил Гумилева в Италию некий Арундель дель Ре — Гумилев, очевидно, собирался быть в Милане и Риме проездом на Ближний Восток.

Ни в Месопотамию, ни даже в Италию Гумилев не попал. Но, видимо, не по своей вине — встретились, очевидно, препятствия со стороны британского правительства. Из другого документа видим, что в феврале Гумилев уже искал работы в Англии, и управление русского военного агента запрашивало его о его квалификациях. Чем диктовалось желание Гумилева ехать на фронт, мы не знаем, но вероятно не только погоней за авантюрой. Возможно, что от своих английских знакомых (а у него завязались некоторые литературные знакомства) Гумилев слыхал о Лоренсе-Арабском. Остается факт, что Гумилев так или иначе хотел продолжать принимать участие в войне. Когда выяснилась невозможность этого, он решил вернуться в Россию. С какими мыслями и в каких настроениях он ехал туда, мы не знаем. Но те, кто видел его вскоре после приезда в Петербург в 1918 году, говорили, что уже тогда он был настроен анти-советски. В дни кронштадтского восстания он уже был связан с контр-революционными организациями — об этом свидетельствует и Георгий Иванов, хотя он и старается изобразить эту деятельность Гумилева не то как случайность, не то как пустую браваду.

2.

Вскоре после своего выступления на литературную сцену Гумилев оказался в роли застрельщика похода против символизма во имя новой школы — «акмеизма». Но акмеизм сам был детищем символизма, и Гумилев хорошо это сознавал. Еще в 1910 году, в статье «Жизнь стиха» он писал: «Мы не можем не быть символистами». В сущности, бой, который

Гумилев давал символизму, был направлен лишь против крайностей последнего. В одной из своих теоретических статей Гумилев писал, что они, акмеисты, отвергают верлэновский завет "de la musique avant toute chose", как и всякое вообще "avant toute chose". Акмеисты это делали во имя целостности искусства, во имя равновесия. Как давно уже было отмечено, акмеизм был в сущности возвратом к некоторым принципам классического искусства. Это особенно чувствовалось в творчестве младших акмеистов — Ахматовой, Мандельштама. У них, — я бы сказал — больше, чем в поэзии самого Гумилева. Но теоретиком этого нео-классицизма был именно Гумилев (участие Городецкого в акмеистическом движении было случайным явлением). Взгляды Гумилева на поэзию были связаны с его жизнечувствием, и в его поэтике отразилась его личность. Когда-то в одной своей статье о Гумилеве [9]) я цитировал слова крупнейшего современного английского поэта (американца по рождению) Томаса Стэрнса Элиота, который в английской новой поэзии сыграл роль несколько сходную с гумилевской. Элиот говорил, что для того, чтобы бороться с «болезнью века», нужно быть «классиком в литературе, роялистом в политике и англо-католиком в религии». Соответственно перефразируя их, Гумилев мог повторить эти слова. И, когда в 1918-1921 годах Гумилев заявлял себя монархистом и подчеркивал свою преданность Православию, это было связано у него с его «классицизмом». При всей «романтичности» Гумилева, при всей его тяге к экзотике, классическое начало порядка и формы, начало устрояющее и оформляющее, было очень сильно в нем. От поэта он требовал, чтобы он носил «вериги трудных форм». В отличие от Блока у Гумилева жизнь и поэзия не были так тесно, неразрывно слиты. Но они были между собой связаны. Когда Гумилев писал: «акмеистом труднее быть, чем символистом, как труднее построить собор, чем башню» и в пояснение прибавлял: «один из принципов нового направления (т. е. акмеизма — **Г. С.**) — всегда идти по линии наибольшего сопротивления»,[10]) то это говорил не только Гумилев-поэт, но и Гумилев-человек, тот Гумилев, который путешествовал в труднейших условиях по Африке, тот Гумилев, который пошел добровольцем на войну и на войне испытал «муки голода и жажды» и дважды получил за отличия солдатский Георгиевский крест (в первый раз в декабре 1914 года,

[9]) «Россия и Славянство», 29-VIII-31.

[10]) Статья «Наследие символизма и акмеизм».

второй раз в январе 1915 года), тот Гумилев, который в дни кронштадтского восстания агитировал в рабочих кварталах Петербурга, тот Гумилев, который мужественно встретил смерть в петроградской Чеке. Линия наибольшего сопротивления, это — принцип, которым руководствуется художник, творя произведение искусства, и человек, творя свою жизнь.

В последние годы жизни Гумилев готовил книгу по теоретической поэтике. План этой книги имеется в моем собрании гумилевских бумаг. Глава I-ая четвертой части этой книги должна была трактовать следующие проблемы:

> Понятие эйдолологии: образы выбираемые поэтом и отношение к ним. Познание поэта: двенадцать богов и две паузы. Дионис и Будда. Три подразделения: голова, сердце, чрево. (Отношение к миру вытекающее таким образом). Четыре касты (шесть видов). Чет[ыре] темы. Идиосинкр[азии].

В черновых заметках Гумилева, также имеющихся у меня, раскрывается значение упоминаемых здесь четырех каст. Это — воин, клерк, купец и пария. Шесть видов, которые имеет в виду Гумилев, это типы поэтов: воин-клерк, воин-купец, воин-пария, купец-клерк, купец-пария и клерк-пария.

В другом месте в качестве характерных представителей некоторых видов поэтов указаны следующие поэты: Лермонтов — воин-клерк, Некрасов — купец-пария, Блок — клерк-пария. Самого Гумилева можно, как и Лермонтова, отнести к разряду воинов-клерков. Это обозначение, в связи со схемой, начертанной Гумилевым, имеет более глубокий смысл, нежели простое констатирование факта воинской фазы в жизненном пути Гумилева.

Гумилева принято противопоставлять Блоку. Как поэтические типы, они действительно разны. Личные отношения их были временами натянутые: Блок несомненно недолюбливал Гумилева, у Гумилева к Блоку была своего рода ревность. Но какими-то сторонами они соприкасаются (так выходило бы и по схеме Гумилева: воин-клерк и клерк-пария). И не надо забывать ,что Гумилев назвал Блока «одним из чудотворцев русского стиха». Человек, который писал, что «поэзия должна гипнотизировать», не мог не чувствовать чудотворной магии Блока.

3.

После Пушкина Гумилев был самым жизнелюбивым русским поэтом. Жизнелюбие и мужественность — разительные черты его поэзии. Черты эти не часто встречаются в русской

поэзии, в ней более обычны женственность и taedium vitae. У Гумилева есть чудесное стихотворение (в «Колчане») о Фра Анджелико. Заключительные строки этого стихотворения вполне применимы к самому Гумилеву:

Есть Бог, есть мир, они живут вовек,
А жизнь людей мгновенна и убога,
Но все в себе вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога.

Религиозность Гумилева была сдержанно-целомудренной. В период «борьбы» с символизмом он восставал против нецеломудренного отношения символистов к таинственному, непознаваемому, неведомому, против их дерзких посягательств на раскрытие всех тайн. Непознаваемое на то и непознаваемо, чтобы нельзя было познать его — говорил он с присущей ему логичностью. Но присутствие таинственного и непознаваемого, власть его над человеком он не отрицал. Он писал:

> Детски-мудрое, до боли сладкое ощущение собственного незнания — вот то, что дает нам неведомое ... Всегда помнить о непознаваемом, но не оскорблять своей мысли о нем более или менее вероятными догадками — вот принцип акмеизма.[11]).

И в последних книгах Гумилева («Костер», «Огненный столп») особенно сильна эта тяга к непознаваемому, к неведомому. «Мы не можем не быть символистами», говорил Гумилев в 1910 году, и многие его стихи 1916-1921 годов могут быть названы символическими в лучшем и глубочайшем смысле слова.

С жизнелюбием у Гумилева тесно связано целомудренно-мужественное отношение к смерти. 24 августа 1914 года Гумилев, который был ратником 2-го разряда и не подлежал призыву, поступил добровольцем в Лейб-Гв. Уланский полк (позднее, в 1916 году, он был переведен в гусарский Александрийский Ея Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк). Георгий Иванов в уже цитированной статье немного наивно рассказывает, что этот поступок удивил друзей Гумилева:

> Не одному мне показалась странной идея безо всякой необходимости надевать солдатскую шинель и отправляться в окопы.

---

[11]) «Наследие символизма и акмеизм».

Сам Гумилев в автобиографических «Пятистопных ямбах» («Колчан») так говорит об этом:

То лето было грозами полно,
Жарой и духотою небывалой,
Такой, что сразу делалось темно
И сердце биться вдруг переставало,
В полях колосья сыпали зерно,
И солнце даже в полдень было ало.

И в реве человеческой толпы,
В гуденье проезжающих орудий,
В немолчном зове боевой трубы
Я вдруг услышал песнь моей судьбы
И побежал, куда бежали люди,
Покорно повторяя: буди, буди.

Солдаты громко пели, и слова
Невнятны были, сердце их ловило:
— «Скорей вперед! Могила, так могила!
Нам ложем будет свежая трава,
А пологом — зеленая листва,
Союзником — архангельская сила». —

Так сладко эта песнь лилась, маня,
Что я пошел, и приняли меня
И дали мне винтовку и коня,
И поле полное врагов могучих,
Гудящих грозно бомб и пуль певучих,
И небо в молнийных и рдяных тучах.

И счастием душа обожжена
С тех самых пор: веселием полна
И ясностью, и мудростью, о Боге
Со звездами беседует она,
Глас Бога слышит в воинской тревоге
И Божьими зовет свои дороги.

О войне Гумилев написал лучшие в русской поэзии стихи («Война», «Солнце духа», «Наступление», «Смерть»). Указывалось (тем же Георгием Ивановым, например) на романтическую идеализацию Гумилевым войны, на то, что его рассказы о ней расходились с его стихами. Говорить так — значит не понимать чего-то существенного в Гумилеве. Для него поэзия всегда была сублимацией жизни. Война и его собственное

участие в ней были для него не только суммой ужасов и лишений, но и глубоким духовным опытом. Он говорил об «огнезарном бое», о том, что «солнце духа наклонилось к нам», о том, что в его груди мерно бьется «золотое сердце России», о том, что «одна лишь достойна смерть»:

Лишь под пулями в рвах спокойных
Веришь в знамя Господне, твердь.

Для него «дело величавое войны» было «воистину светло и свято», и, сочетая русскую воинскую и христианскую традицию, традицию Сергея Радонежского, он молил:

Тружеников, медленно идущих
На полях, омоченных в крови,
Подвиг сеющих и славу жнущих,
Ныне, Господи, благослови.

Как у тех, что гнутся над сохою,
Как у тех, что молят и скорбят,
Их сердца горят перед Тобою,
Восковыми свечками горят.

Но тому, о Господи, и силы,
И победы царской час даруй,
Кто поверженному скажет: — Милый,
Вот, прими мой братский поцелуй.

Целомудренно-сдержанный, Гумилев не говорил об этом в житейских разговорах, а лишь высоким языком поэзии. Но эти его военные стихи принадлежат к жемчужинам русской поэзии.

Гумилев верил, по свидетельству знавших его, в свою счастливую звезду, в кривую, которая его вывезет. К Гумилеву, вероятно, обращены строки Ахматовой:

Знаешь сам, ты и в море не тонешь,
И в смертельном бою невредим.

И на войне судьба сохранила Гумилева:

Но святой Георгий тронул дважды
Пулею нетронутую грудь.

Тем показательнее настойчивое предчувствие насильственной смерти, звучащее в послевоенных стихах Гумилева:

И умру я не на постели,
При нотариусе и враче,

А в какой-нибудь дикой щели,
Утонувшей в густом плюще.

Или еще более жуткое видение в «Заблудившемся трамвае», этом самом таинственном, самом визионерском, самом потустороннем и символическом стихотворении Гумилева:

Вывеска... кровью налитые буквы
Гласят — зеленная, — знаю, тут
Вместо капусты и вместо брюквы
Мертвые головы продают.

В красной рубашке, с лицом как вымя,
Голову срезал палач и мне,
Она лежала вместе с другими
Здесь в ящике скользком, на самом дне.

Георгий Иванов рассказывает,[12]) что, когда Гумилева арестовали и посадили в Чеку, он взял с собой Гомера и Евангелие и из тюрьмы писал жене: «Не беспокойся. Я здоров, пишу стихи и играю в шахматы...» И приходят на ум слова из ненапечатанной трагедии Гумилева Отравленная туника, где рассказывается о том, как царь Трапезондский, один из главных персонажей трагедии, бросился на смерть с высоты Св. Софии [13]) :

Потом сказал, что умереть не страшно,
Раз умерли Геракл и Юлий Цезарь,
Раз умерли Мария и Христос,
И вдруг, произнеся Христово имя,
Ступил вперед, за край стены, где воздух
Пронизан был полуденным пыланьем...

Сам Гумилев тоже наверное, если не говорил, то думал, идя на смерть, что «умереть не страшно». При всей ее «случайности» эта смерть у стенки была подобающим завершением его жизни. Мы не знаем, во имя чего Гумилев, никогда политикой активно не занимавшийся, пошел в ту организацию, за участие

---

12) «О Гумилеве». «Современные Записки», № 47.

13) Цитирую по статье Лоллия Львова «Три драмы Гумилева» в «России и Славянстве» от 29 августа 1931 года. В имеющемся у меня тексте Отравленной туники от пятого действия есть только начало, и этого места нет.

в которой он был арестован и расстрелян. На допросе он, якобы, заявил, что сделал это, как монархист. Что он исповедовал монархизм, это, очевидно, верно. Монархические символы неслучайны в стихотворении «Память» («Огненный столп»), заключительные строки которого явно имеют в виду будущие судьбы России:

Сердце будет пламенем палимо
Вплоть до дня, когда взойдут, ясны,
Стены Нового Иерусалима
На полях моей родной страны.

И тогда повеет ветер странный,
И прольется с неба страшный свет.
Это Млечный Путь расцвел нежданно
Садом ослепительных планет.

Предо мной предстанет, мне неведом,
Путник, скрыв лицо; но все пойму,
Видя л ь в а, стремящегося следом,
И о р л а, летящего к нему.[14])

Но организация, в которой работал Гумилев, не была монархической. И, вероятно, контр-революционером Гумилев стал не во имя монархии, а во имя России и во имя свободы. За Россию, за свободу и за поэзию, в которой для Гумилева сочетались величайшая свобода с величайшей дисциплиной («вериги трудных форм»), и погиб этот «избранник свободы, мореплаватель и стрелок». И, вспоминая о гибели Гумилева в 1921 году, нельзя не вспомнить тех, в том же году написанных, строк Блока, которые я цитировал в первой части моей статьи:

Пушкин! Т а й н у ю с в о б о д у
Пели мы вослед тебе . . .

Имена Пушкина, Блока и Гумилева — из которых первые два присвоили себе и всуе употребляют теперешние поработители русской свободы — должны быть нашими путеводными звездами на путях к свободе.

---

[14]) Подчеркнуто мной.

III. РЫЦАРЬ ПЕЧАЛЬНОГО ОБРАЗА

Бессмертною любовью любит
И не разлюбит только тот,
Кто страстью радости не губит,
Кто к звездам сердце вознесет,
Кто до могилы пламенеет, —
Здесь на земле любить умеет
Один безумец Дон-Кихот.

Ф. Сологуб.

Я не собираюсь давать здесь литературный анализ или критическую оценку творчества Сологуба. О Сологубе написано уже много. Даже при жизни его вышел сборник критических статей о нем, составленный его женой, Анастасией Николаевной Чеботаревской.[15]) Когда-нибудь будет о нем написана настоящая книга. Сейчас в России такая книга, сколько-нибудь сочувственная или даже просто объективная, едва ли мыслима. Сологуба там признают, но с большими и существенными оговорками. В 1933 году вышло новое издание Мелкого беса, а в 1939 г. в «Библиотеке поэта (малая серия)» — Стихотворения (этот томик почти в 400 страниц содержит несколько сот стихотворений Сологуба из разных книг, кое-какие переводы и три ранее неопубликованных стихотворения). Оба эти издания снабжены предисловиями Ореста Цехновицера, советского специалиста по Сологубу, а Мелкий бес подготовлен к печати А. Л. Дымшицем. В предисловии к тому стихотворений Цехновицер пишет:

> Перед нами поэт-эстет, который при столкновении с убожеством и уродством окружающей его жизни, вместо того, чтобы поднять против нее бунт, обращается к гротескному освещению отдельных деталей и эпизодов. Эти частности Сологуб иногда ошибочно обобщает до некоего символа жизни вообще. Современная Сологубу критика не только не разоблачала эти реакционные установки, а, наоборот, превозносила именно отрицательные стороны творчества Сологуба.

---

[15]) О Федоре Сологубе. Критика. Статьи и заметки. Составлено Анас. Чеботаревской (СПБ. 1911). В этой книге есть и тонкие этюды Ин. Анненского, Зин. Гиппиус, Андрея Белого, Л. Шестова и др., есть и довольно пошлые статьи.

В предисловии к Мелкому бесу Цехновицер объясняет, чем этот роман интересен и ценен для советского читателя, и пишет:

> ...для наших дней, для читателя-современника великих побед революционного пролетариата, выкорчевывающего и перепахивающего пошехонскую и окуровскую Русь, ценен роман Сологуба именно с этой стороны. Мы отметаем в сторону Сологуба-мистика, индивидуалиста, певца Альдонсы — солипсической мечты эстетического одиночки, а берем Сологуба — автора «Мелкого беса», мастера одного из наиболее ярких и точнейших зеркал, запечатлевшего на своей поверхности все убожество и несовершенство старого мира и его обитателей.[16])

Из этого отрывка видна тенденциозность советского подхода к Сологубу, отсутствие настоящего его понимания.[17]) Но сейчас, в переживаемую русской литературой эпоху «ждановщины», даже та относительно высокая оценка Сологуба, которую дает Цехновицер, была бы по всей вероятности невозможна: Сологуб был назван Ждановым в его знаменитой речи против Ахматовой и Зощенко в числе вредных писателей.

Нам Сологуб предстоит сейчас и как один из изысканнейших мастеров русского стиха и русской прозы, и как один из значительнейших писателей эпохи символизма. Сологубу случалось писать слабые — вернее: бледные — стихи (хотя и не очень много — он поэт ровный, без срывов), случалось писать неудачные рассказы (особенно патриотические рассказы в период войны 1914-1918 годов). Он даже написал один роман настолько плохой (Заклинательница змей), что, читая его, можно было усомниться в принадлежности его Сологубу. Но эти отдельные неудачи меркнут перед его достижениями и в поэзии, и в рассказе и в романе. Но, повторяю,

---

[16]) Стр. 27-28.

[17]) Между прочим, в предисловии к английскому переводу Мелкого беса, вышедшему в 1916 году, Сологуб предостерегал английских читателей «против искушения видеть в этом романе только русские черты» и писал: «Фигура Передонова является выражением общечеловеческой наклонности ко злу, почти бескорыстного стремления извращенной человеческой души уклониться от общего пути вселенской жизни, направляемой единой всемогущей Волей, и, мстя миру за свое скорбное одиночество, нести в него зло и ужас, калечить данную действительность и осквернять прекрасные мечты человечества».

я не намерен разбирать здесь творчество Сологуба в целом — я хочу лишь вставить его судьбу в рамки революционной судьбы России и рассказать о некоторых фактах и некоторых произведениях последних лет Сологуба, оставшихся малоизвестными или совсем неизвестными зарубежному читателю.

Сологуб был одним из тех писателей, которые остались в России, но внутренно не приняли большевицкой революции. На его неприятие революции намекала в своих воспоминаниях З. Н. Гиппиус,[18]) но при жизни его она могла ограничиться лишь намеками. Довольно смутно говорит об этом же В. Ф. Ходасевич в своей интересной статье о Сологубе,[19] хотя он писал уже после смерти Сологуба. Надо сказать, что в войну 1914-1917 года Сологуб, к удивлению некоторых своих друзей, знакомых и читателей, проявил горячий патриотизм. Октябрьскую пораженческую революцию он воспринял, как позор и гибель России. Всем своим существом гордого, одинокого и свободного писателя он восстал против нового строя. Он остался в Петербурге, но больше, чем когда-либо, ушел в себя. Его друзьям было известно, что он и его жена мечтают уехать из России. Тогдашний комиссар народного просвещения, Луначарский, с которым А. Н. Чеботаревская была в родстве, подал весной 1921 года в Политбюро просьбу о выпуске заграницу по болезни Блока и Сологуба. Просьба эта была поддержана Горьким. О дальнейшей судьбе ее так рассказывает Ходасевич:

> Политбюро почему-то решило Сологуба выпустить, а Блока задержать. Узнав об этом, Луначарский отправил в Политбюро чуть-ли не истерическое письмо, в котором ни с того ни с сего потопил Сологуба. Аргументация его была приблизительно такова: товарищи, что вы делаете? Я просил за Блока и Сологуба, а вы выпускаете одного Сологуба, меж тем как Блок — поэт революции, наша гордость, о чем даже была статья в Times'е, а Сологуб — ненавистник пролетариата, автор контр-революционных памфлетов и т. д.
>
> Копия этого письма, датированного, кажется, 22 июня, была прислана Горькому, который его мне и показал тогда же. Политбюро вывернуло свое решение наизнанку: Блоку дало заграничный паспорт, которым он уже не успел воспользоваться, а Сологуба задержало. Осенью, после многих стараний Горького,

---

18) Живые лица. Выпуск второй. Прага, 1925.

19) Некрополь. Брюссель, 1939.

Сологубу все-таки дали заграничный паспорт, потом опять отняли, потом опять дали.[20])

Как известно, все эти мытарства так подействовали на А. Н. Чеботаревскую, что она покончила с собой, бросившись в Неву с Тучкова моста. Тело ее было извлечено только следующей весной. До тех пор Сологуб все еще надеялся, что она жива, скрывается. Смерть ее он пережил очень болезненно.

Советский критик и специалист по Сологубу, уже упомянутый мною Орест Цехновицер, не заикаясь ни словом о самоубийстве А. Н. Чеботаревской, дает иную версию эпизода с невыпуском Сологубов заграницу и в сущности раскрывает советские карты. В предисловии к Мелкому бесу в издании 1933 года он пишет, что, ходатайствуя о выпуске заграницу, Сологуб обращался за поддержкой к Ленину, и цитирует следующее место из письма Сологуба к последнему от мая 1921 года:

> ...И по происхождению и по работе я — член трудового народа; сын портнго и прачки, я 25 лет был учителем гор[одского] уч[илища], написал 20 том[ов] художественных произведений и имею не меньшее количество вещей, не вошедших в собрание сочинений... Я не имею намерения заниматься политикой, т. к. считаю это слишком ответственным и сложным делом, — я никогда не состоял ни в какой партии...[21])

Цехновицер продолжает с циничной откровенностью:

> Но у советского правительства были основания не верить в искренность заявления этого виднейшего представителя русского символизма. В годы империалистической бойни Сологуб был ярым барабанщиком шовинистического лагеря буржуазно-дворянской литературы, писал патриотические стихи и статьи... мечтал о кресте на Айя-Софии и ратовал за победоносный разгром «тевтонов»... Не успев, подобно своим собратьям по «Лукоморью» и «Русской Воле» — Андрееву, Куприну, Бунину и другим, во-время эмигрировать за пределы Советской России, Сологуб стал забрасывать советское правительство своими ходатайствами о выезде заграницу. Но не было веры у правительства в эту подчеркиваемую Сологубом его аполитичность,

---

[20]) Некрополь, стр. 176-177.
[21]) Стр. 5.

и получил он отказ в ответ на свои ходатайства.[22]) Тогда стал поэт декларировать свою отчужденность происходящим событиям . . .[23])

Цехновицер приводит следующий интересный отрывок из неопубликованной статьи Сологуба «Что делать?», повидимому написанной в 1920 году и хранящейся в архиве Сологуба в Институте Русской Литературы и Искусства в Ленинграде:

> Я не принадлежал никогда к классу господствовавших в России и не имею никакой личной причины сожалеть о конце старого строя жизни. Но я в этот конец не верю. Не потому, что мне нравится то, что было, а просто потому, что в новинах наших старина слышится мне наша. Я поверил бы в издыхание старого мира, если бы изменилась не только форма правления, но и форма мироощущения, не только строй внешней жизни, но и строй души. А этого как раз и нет нигде и ни в ком.[24])

В этом отрывке Цехновицер видит доказательство «реакционности» Сологуба. Цитирует он и несколько ненапечатанных «контр-революционных» стихотворений из того же архива Сологуба. Вот ироническое восьмистишие, написанное Сологубом, согласно его помете, «в совдепе» в 1920 году:

Муза, как ты истомилась
Созерцаньем диких рож!
Как покорно приучилась
Ждать в приемных у вельмож!

Утешаешься куреньем,
Шутишь шутки, сердце сжав,
Запасись еще терпеньем, —
Всякий путь для музы прав.[25])

А вот другое стихотворение, жуткое по своему безысходному отчаянию, в котором нетрудно узнать старый мотив Сологуба («Мы плененные звери, — Голосим, как умеем»), но которое несомненно навеяно картиной революционной

---

[22]) Подчеркнуто мной.
[23]) Стр. 5-7.
[24]) Стр. 9.
[25]) Стр. 8.

России (дата этого стихотворения — 13 сентября 1926 года, за год с небольшим до смерти Сологуба):

Вот подумай и пойми:
В мире ты живешь с людьми, —
Словно в лесе, в темном лесе,
Где написан бес на бесе, —.
Зверь с такими же зверьми.

Вот и дом тебе построен,
Он уютен и спокоен,
И живешь ты в нем с людьми,
Но таятся за дверьми
Хари, годные для боен.

Человек иль злобный бес
В душу, как в карман, залез,
Наплевал там и нагадил,
Все испортил, все разладил
И, хихикая, исчез.

Смрадно скучившись у двери,
Над тобой хохочут звери:
— Дождался, дурак, чудес?
Эти чище, чем с небес,
И даются всем по вере.

Дурачок, ты всем нам верь, —
Шепчет самый гнусный зверь, —
Хоть блевотину на блюде
Поднесут с поклоном люди,
Ешь и зубы им не щерь.[26])

В другом стихотворении (более раннем, 13 июля 1924 г.) Сологуб предвидит возрождение России:

Но будет день, — колокола,
Сливаясь в радостном трезвоне,
Нам возвестят: Русь ожила
Опять в блистающей короне.[27])

---

[26]) Стр. 19-20.

[27]) Стр. 8-9.

Но прежде всего Сологуб продолжает требовать от поэта полной свободы, бесстрастия и суровости. Любить поэту дозволяется лишь одно — «сплетенье верных слов»:

Поэт, ты должен быть бесстрастным,
Как вечно справедливый Бог,
Чтобы не стать рабом несчастным
Ожесточающих тревог.

Воспой какую хочешь долю,
Но будь ко всем равно суров.
Одну любовь тебе позволю,
Любовь к сплетенью верных слов.

. . . . . .

Все ясно только в мире слова,
Вся в слове истина дана,
Все остальное — бред земного,
Бесследно тающего сна.[28])

Над поэтом властен только бог поэзии, «светозарный Аполлон»:

Какое б ни было правительство
И что б ни говорил закон,
Твое мы ведаем властительство,
О светозарный Аполлон!

— писал Сологуб в альбом В. В. Смиренскому за полгода до смерти.[29])

Вероятно, в архиве Сологуба осталось еще много ненапечатанных вещей — известно, что в последние годы, ведя жизнь отшельническую, он много писал, но почти ничего не печатал. Из того, что приводит Цехновицер, ясно — почему. Увидят ли когда-нибудь свет эти его стихи? Доживут ли они до того, чтобы увидеть свет? В стране, где не стесняются фальсифицировать историю, вычеркивать из нее неугодных людей, нет никаких препятствий для изъятия неугодных и неудобных документов. Но большевики устами Цехновицера уже прогово-

[28]) Стр. 7-8. Многоточие у Цехновицера.
[29]) Стр. 8.

рились, признав, что Сологуб был их врагом и — их жертвой.

Я назвал Сологуба в заголовке этой статьи Рыцарем Печального Образа. Сологуб издавна возлюбил образ испанского гидальго. В его творчестве образы Дульцинеи и Альдонсы, ставшие для него многозначительными символами, играли большую роль. Не давал ему покоя и образ самого Ламанчского рыцаря. В 1921-1922 годах он посвятил Дон-Кихоту ряд стихотворений. Есть что-то знаменательное в том, что мы поминаем Сологуба в 20-летнюю годовщину его смерти именно в этом году, когда весь мир поминает бессмертного творца Дон-Кихота по случаю 400-летия его рождения:

Дон-Кихот путей не выбирает,
Россинант дорогу сам найдет.
Доблестного враг везде встречает,
С ним везде сразится Дон-Кихот.

Глеб Струве.

КАЧАЛОВ И МОСКВИН

(Из этюдов о Московском Художественном Театре)

Качалов и Москвин. Москвин и Качалов. Кого поставить выше? И как определить, — какой гений гениальнее?

Качалов.

Разве можно, глядя на него и его игру, усомниться в том, что существуют добрые феи? Одна из них оказалась у постели, где жена деревенского священника-белоруса родила мальчика. И сказала она:

— Есть на свете красота, но нередко бывает она пошлой и маленькой; есть благородство, но часто не умеет оно найти внешней формы, радующей других; есть талант, дающий благородству форму, но и талант вне гармонии с другими дарами бывает только судорогой человеческого духа. Я дам тебе все: красоту, лишенную пошлости; благородство, с которым ты пройдешь по жизни со скромным достоинством, среди восторгов, от которых у всякого другого закружилась бы голова; я дам тебе талант, огромный, глубокий и прочный; а из груди твоей, вместо человеческого голоса будут раздаваться звуки органа. И дам условия, при которых этот талант будет оберегаться для нового роста.

Так сказала фея, и сын деревенского священника, Василий Иванович Шверубович, сделался Иваном Царевичем и великим волшебником. Только феей и объяснишь, откуда взялась эта огромная ценность содержимого в соединении с пленительной изысканностью содержащего. Даже создавая срединных и упавших, Качалов наделяет их глубоко человечным; даже в содержанце подзаборной проститутки, над нею же издевающемся, в шулере-бароне, потерявшем имя, светится человек. Вот надорвавшийся на один лад чеховский Иванов, а вот надорвавшиеся совсем иначе Иван Карамазов и Ставрогин. Русский интеллигент, наш русский интеллигент, так пугающий европейца, красота и дисгармония. Ни в одном актере до Качалова в передаче его не чувствовалось такой огромной культуры исполнителя. Здесь и осуждение холодным умом, и жгучее желчное издевательство, и защита огромным сердцем. Громадна кача-

ловская гамма; со дна до снежных вершин церкви, к которой стремится Брандт. И нигде, даже за облаками, не покидает несчастного человека раздвоенность. И мне, и другим говорил часто Качалов, что он не понимает Гамлета, не умеет слить всех его противоположностей. Если и не понимает умом, то огромным талантом сливает превосходно. Качалов и сам любил говорить, что его дело не понимать, а делать, хотя сам не только страшно талантлив, но и чрезвычайно умен, и беседовать с ним — великое удовольствие. Как-то пришлось мне рассказывать о том, как он толкует те или иные роли; как те или иные персонажи у него выглядят. Он слушал очень внимательно, а потом говорит:

— «Все это очень интересно: как жаль, что я ничего этого не видел»...

Создатель сверхчеловека. Цезарь, властитель из властителей; тоже раздвоенный: глубоко спрятанная человеческая слабость, покрытая величием полубога. Как испугал нас Качалов этой фигурой! Фауст, вызвавший Духа, не был так потрясен, как мы, увидевшие титана, вышедшего из дали тысячелетий..

А какая перевоплощаемость! Разве не подлинный римлянин этот старчески дряблый Цезарь? Разве не подлинный испанец этот непростительно красивый, созданный на погибель всем женщинам, Дон-Жуан? Разве не чувствуете вы отвратительного запаха ночлежки у этого несчастного Барона со всеми повадками заживо разложившегося человека, через которое проглядывает далекое прошлое, когда переодевался он из мундира в мундир, «пил кофе... со сливками»?... Стопроцентный босяк, а за ним видна «карета прошлого»...

А распятый на кресте своего максимализма, с экстатически горящими глазами, ничего общего не имеющий с ползающими по земле людишками Брандт? А полный первобытной силы, нетронутый европейской цивилизацией Набоб, гордое и дерзкое дитя природы? Сколько силы, страстности, непосредственности в этом очаровательном животном!

И рядом с ним такой старый, такой младенчески-добрый Царь Берендеев в «Снегурочке» или Анатема, мифическое существо, одетое в европейский костюм. А за всем этим еще и еще образы, и не только не повторяет он ни в одном из них виденного нами раньше, но все у этих сотворенных им разное: рост, фигура, черты лица (самое удивительное: вот целый ряд лиц, безбородых и безусых, ни носов необыкновенных, ни щек, ни подбородков, — казалось бы, где тут спрятаться? — а между тем вы ни в одном не поймаете черт качаловского лица). И

это вовсе не тот ненужный сцене тип трансформатора, у которого нет своего ничего: оболочка — какая угодно, а внутреннее — не взыщите. У этого, во всех, разнообразнейших ролях есть единое, великое, неповторяемое — его, качаловский талант, непередаваемая обаятельность, убедительность, как бывают убедительны герои великих писателей, все разнообразные, объединенные только мощью авторского таланта.

Как ни велик Качалов, но кроме огромного таланта его выручают счастливая внешность, и необыкновенные голосовые средства, и выигрышность большинства его ролей. Но вот пришел маленького роста, курносый, с некрасивым лицом мужичка, с очень маленькими глазками, Москвин, с самым обыкновенным голосом. И говорит до такой степени просто, как и в комнате не всегда говорят, — и не понять, не разобраться — да чем же достигает он этой последней яркости образов? И в ярчайших из них — ничего надуманного, высосанного из пальца для пущего эффекта. В том то и дело, что никаких эффектов Москвин не знал. Но в нем была творческая наблюдательность, которая отчасти видит, отчасти создает из найденного во множестве встреченных фигур.

Недавно прочел я в некрологе о нем, что когда юноша Москвин пришел в театральное училище экзаменоваться у Немировича-Данченко, тот не советовал ему итти на сцену:

— «С такими данными вы ничего на ней не добьетесь».

По своему Немирович-Данченко был прав: для того, чтобы посоветовать другое, нужно было быть волшебником и знать, что перед тобой тоже волшебник.

Да Москвин как будто бы не в театр и пришел. Словно к людям на дне пришел... настоящий Лука? Нет, не настоящий: настоящий, очень возможно, был бы и не типичен, случаен. Больше и лучше настоящего. По слову Белинского — возведение правды в перл создания. Его Луки во всю жизнь не забудешь. Здесь тайга, где прячутся беглые; скиты, где ищут правды взалкавшие духом; в прошлом чувствуются тяжкие жизненные драмы, в результате которых рождается горькая, скептическая философия опыта, дающая право лгать слабым, не умеющим перенести правды. Черноземные Сократы, которые вдруг почуют тягу бродяжить по селам и городам, по постоялым дворам и ночлежкам, по всей широчайшей и темной Руси.

Превосходны чеховские дьячок из «Хирургии» и «Злоумышленник», а москвинские, может быть, еще превосходнее, и сам Чехов говорил, что то, что сделал Москвин из его Епиходова, ему и во сне не снилось.

У меня был случай сравнить игру Качалова и Москвина в одной и той же роли.

Было это в 22-м году. Часть труппы Художественного театра играла в Загребе. О том, что Качалов играет царя Федора, я узнал из газетной заметки и, признаюсь, счел это сообщение результатом беззаботности в отношении театра газетного хроникера.

— Качалов — Федор! Это не укладывалось в воображении. К тому же казалось, что престол Федора до такой степени неотъемлемо принадлежит Москвину, что всякая попытка завладеть им рождала и удивление, и протест.

А главное — Качалов.

Москвин и Качалов — можно ли придумать две более яркие и более противоположные друг другу художественные индивидуальности ?

Было удивительно, было жутко и интересно до последней степени.

Много раз видел я Москвина-Федора в Москве, а по приезде труппы в Париж смотрел и того, и другого по три раза.

Для театрала это были необыкновенно интересные вечера.

Прежде всего, ничто так не доказывало самодовления сценического творчества, как эти спектакли. Люди, не обладающие чувством театра, не считают актера самостоятельным художником, творцом новых ценностей. Они говорят:

— Творец — это живописец, писатель, композитор, а актер — только передаточная инстанция; он весь зависит от драматурга.

Точно пейзажист не «зависит» от пейзажа, писатель — от действительности, которую воссоздает! Но к пейзажу подходят, скажем: Левитан, Шишкин, Куинджи; к русской действительности — Тургенев, Толстой, Достоевский. Три отражения одинаково верные, потому что это е с т ь, и одинаково лживые, потому что это есть лишь в д у ш е Левитана, Шишкина, Куинджи, Тургенева, Толстого, Достоевского...

Но есть границы; есть художественное сродство и отталкивание; и потому для меня борьба Москвина и Качалова за престол была волнующим событием.

Когда я видел москвинского Федора в первый раз, я сознавал, что это прекрасно, восхищался, но как-то не принял его: не мой Федор и, думается, не толстовский Федор.

Маленький ростом, полный, одутловатый; часто моргающие, испуганно-жалкие глазки убитого Богом человека, — внешностью своей он очень похож на исторического Федора,

как описывает его Толстой в своем «Проекте». Но, описав, Толстой говорит: «конечно, это не мой Федор».

Благостность, ясность, милое ребячество, святость — вот Федор Толстого. «Церковь в землю некогда ушла»; «там, в глубине, звонят колокола и клирное в ней пенье раздается».

Благолепие.

А вместо этого благолепия — больной русский мужичек, юродивый. Что мужичек — прекрасно; на смену уже объевропеивающемуся Грозному, этот — представитель атавизма, пономарь, тешащийся кулачным боем да медвежьей охотой. По всей вероятности эпилептик, и в лице, несмотря на растительность, что-то скопческое. Жаль женщину, которая около такого мужчины, и как-то брезгливо за нее; потому что к: «какой я царь?», он должен был бы добавить и: «какой я муж?»

Этот москвинский Федор — в состоянии почти непрекращающегося экстаза, вечной одержимости; маленькая, но огнедышащая гора. Надломленная, беспомощная душа этого Федора (не толстовского, а москвинского) бросается из стороны в сторону, и сама не отдает себе отчета, где она находится сейчас и куда ее бросит в следующее мгновение. От этого и его гнев, и его непротивление не имеют опоры, хотя бы только той, которую они должны иметь у «ненадежного» Федора. Волны, бросающие эту бедную душу, так огромны, что совершенно нельзя предвидеть, куда они бросят ее, где она очутится.

— «Ты весь дрожишь», — говорит Ирина Федору, но странной кажется эта фраза по отношению к Москвину, бледной и слабой: что уж обращать внимание на дрожь, когда тут только что не душа с телом расстается? Точно также странным кажется, когда Федор говорит жене: «даже в пот меня он бросил», — говорить ли о том, что человек вспотел, когда его били конвульсии?

Пароксизм мешает душевной ясности, и когда москвинский Федор отпускает Годунова, я не верю ему; он не вырос в эти мгновения, не появилась другая ипостась, и я говорю себе:

— Случайно душу бросило в ту, а не в другую сторону. Не по-толстовски. Я уже сказал об автономности артистического творчества; понять правильно автора может всякий, умеющий понимать, но побороться с автором, как Яков боролся с Богом, и выйти из этой борьбы победителем, — это дано только избранным. Как Толстой отошел от исторического Федора, так Москвин отошел от Толстого и создал Федора, словно выкопав и воскресив его. Толстовского, интеллигентски-измышленного Федора народ московский не только в XVI веке, но, пожалуй, и сейчас может не понять, а вот этого Христа-

ради-юродивого, маленького, скорбного головой, вероятно неряшливого, вероятно несостоятельного в семейной жизни, как и на престоле, поймет. И русская женщина, Ирина, жалостливо, любовно, а не гадливо отнесется к такому.

И вдруг — Качалов. Качалов, созданный для того, чтобы сверху на людей смотреть.

Артист-философ. Артист-аристократ. Когда следователь в «Живом трупе» спрашивает Каренина о звании и Качалов-Каренин отвечает: «камергер, тайный советник», он стесняется своего звания, боится придавить им следователя и произносит эти слова со скромностью подлинного аристократа.

А ну, философ, а ну, аристократ, а ну, изобразитель титанов, покажите слабого, неотесанного, немудрого Федора.

— Царь идет...

Вошел высокий, гибкий, тонкий, в светло-желтом кафтане — и мгновенно: да ведь это же сын Грозного! Состарится и ссутулится, как отец; еще более заострится, станет клювом горбатый нос. Большая ограниченность в лице, но достаточно маленьких, неуловимых черточек, чтобы сделать это лицо и мудрым, и сильным. Вошел легкой, такой легкой, такой юношески-изящной походкой, какою царевичи в сказках ходят, какою святые по воздуху идут; отдал приближенному плеть небрежным, красивым жестом, и сразу обнаружил руку, свою, качаловскую руку, узкую, длинную, одухотворенную. Красив и болезнен. Странно не сочетаются, патологически дисгармонируют простоватость с ликом Христовым, доброта с несомненной иоанновой кровью.

Несомненно сын Грозного; только — Федор-ли? Не убитый ли Иоанн Иоаннович? Заговорил. Придушенный, поднятый почти до тенорового тембра, но ведь качаловский голос, полный, звучный, органный, какого не бывает у приниженных последышей.

Начал играть и говорить — просто, ясно, истово, честно до последней степени. Художник редко честен: быть честным — быть неэффектным. Уборы нужны, гарнитур, завитушки, сложность. Качалов отказался от них; словно не заполнил роли, а только чертит тонкие, четкие, билибинские контуры. И в словах дает только то содержание, которое в тексте значится.

Подходы к тексту Москвина и Качалова совсем различны: Москвин идет от переживаний; он во власти эмоций, и уже эмоции вызывают слова, как явления второго порядка; попались хорошие слова — хорошо, не совсем подходящие — неважно; даже и вовсе без слов может обойтись его Федор.

Иногда слова Москвина не в состоянии догнать пережива-

ний, иногда опережают их и от этого получается новая психологическая сложность, углубленность. При этом на стих, на ритм — никакого внимания. Да и можно ли, играя не условного, не романтического, не стихотворного Федора говорить стихом? Москвинский Федор — из корявой жизненной гущи, и со стихом распоряжается, как Бог Федору на душу положит. Иные слова и фразы и вовсе не долетят, иные повторит, иные вставит, иных лишит того содержания, которое в них заключается, согнет, сломает их, наполнит своим собственным содержанием, всегда глубоким и значительным.

А Качалов идет от слова. Качалов слово любит и чувствует. Он иллюстрирует слово, вынимает из него то самое и в той мере, что дал автор. Ни одно не пропадет, ни одно не расплескается в расплесканности души. Некоторые фразы качаловского Федора вызывают смех публики, а у Москвина никто не смеется. Я думаю, что Федор должен в некоторых местах вызывать смех; автор предвидит этот смех и говорит: «Это будет смех добрый, не умаляющий нисколько уважения к высоким достоинствам Федора». У Москвина не смеются, потому что в его Федоре мало вызывающего добрый смех ребенка и много тяжело волнующего больного человека.

Незаметно и постепенно от юноши с простоватым видом качаловский Федор переходил то-ли к Христу, то-ли к угоднику старинного письма; от репинской кисти — к кисти Билибина, Стеллецкого. И в сцене, когда он отпускает от себя Годунова, произошло преображение, в евангельском, мистическом смысле этого слова. Поднялся, вытянулся, отрешился от земли; направо — божница с ликами святых, перед ним — окно, и узоры переплета оконного создают что-то вроде ореола вокруг экстазно устремленного вверх лица, на вытянутой тонкой шее.

— Да, ведь, это не Федор, и это не Качалов... Какого святого так пишут, и какого это века письмо?

И еще большее, несомненное преображение в сцене с Шуйским. И Шуйский увидел. Повернулся к Федору и испугался.

— «Он святой!»...

Сказал то, что мы, в волнении и испуге, увидели раньше его.

В последней сцене сын Грозного выглядывает порою так несомненно, что боишься: а что, как и впрямь пойдет по стопам отца? Москвинский Федор и в гневе слаб и почти благостен, а в этом святом бес сидит.

Уйдешь из театра и думаешь: что же принес мне качаловский Федор, обернувшийся Федором Качалов? Спрятал ли он

свой большой, аналитический, интеллигентский разум? — Нет, не спрятал. Смог ли отрешиться от внешней силы — тела и голоса? — Не смог, и не болит у него бок, и под ложечкой не сосет, и на Ирину ему облокачиваться не нужно. Есть настоящий хороший романтизм, которым напитано все произведение Толстого, есть мистицизм, который имеет право жить здесь. Есть незаполненность некоторых мест роли; недостаточность непосредственной напряженности, холодок.

Москвин дальше от Толстого: Качалов — ближе к нему. В качестве самодовлеющего сценического творчества, Москвин дает больше, чем Качалов. У Качалова Федор — механическое соединение Федора с Ал. Толстым; у Москвина Федор — химическое претворение, слияние с образом столь полное, что можно и Толстого до известной степени отодвинуть: через его голову непосредственно протянуть руки от Москвина к Федору, от Федора к Москвину. И Москвин подчас с Толстым не церемонится.

И еще одно, очень тонкое замечание. Могу его так назвать, потому что принадлежит оно не мне, а одному из моих друзей:

— Качаловский Федор — не бытовой, как и пьеса Толстого не бытовая, а постановка — сгущенный быт. При москвинской передаче Федора — все цельно, при качаловской нужны другие тона декорации, другие костюмы исполнителей, другая передача текста.

Совершенная правда. Сейчас это вписанный в репинскую картину кусок Стелецкого. Стиль, тон, характер, ритм — иные.

Качалов и Москвин — ни в одной точке не совпадающие индивидуальности, и если Качалова не удовлетворит, что его победа не полна там, где Москвин — был царь, — пускай утешается тем, что Москвин и вовсе не мог бы приблизиться ни к Анатэме, ни к Брандту, ни к Гамлету.

Артист не иллюстратор, а самостоятельный художник. Творит в соответствии со своей индивидуальностью, и каждому свое:

Москвин — царь Федор, Качалов — Юлий Цезарь... Оба владыки.

Сергей Яблоновский.

ИСКУССТВО У ИНДЕЙЦЕВ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ

Отношение американских властей и белых поселенцев к аборигенам Америки было долгое время более, чем пренебрежительным. Демографически это привело к усиленному вымиранию индейцев, в культурном отношении — к нивелировке их национальных черт, а в чисто художественном — к игнорированию их многообразного искусства. В последние десятилетия многое изменилось к лучшему: стали интересоваться их своеобразной жизнью, отвели им значительные земельные пространства, прекратилось унижение их национальных чувств; это отразилось и на численности индейского населения: с 270 тысяч в 1900-х годах число индейцев к настоящему времени достигло 361 тысячи. Музеи стали изучать те коллекции, которые раньше считались лишь этнографическими и были в некотором пренебрежении. Они заинтересовали и историков искусств. За последнее время вышел ряд интересных книг, специально посвященных индейскому искусству, и в больших университетах открылись соответствующие кафедры.

Истоки индейской цивилизации и индейского искусства еще мало изучены. Известно, однако, что индейцы пришли в Америку тысячелетия тому назад из восточной Азии, по всей вероятности, из Сибири, через Берингов пролив. Отсутствие китайских элементов в искусстве северо-американских индейцев является главным аргументом сторонников сибирского происхождения индейцев.[1])

Своеобразным звеном, связующим индейцев с Азией, является выделка некоторыми племенами берестовых художественных и хозяйственных предметов, очень схожих с теми, которые выделываются крестьянами в Сибири.

Ко времени прихода в Америку испанских конквистадоров (1546 г.) цивилизация индейцев была настолько стара, что в ней уже имелись зачатки распада, и неудивительно, что индейцы не устояли перед беспощадным натиском пришельцев, которые вырубали огнем и мечем непонятную им культуру «дикарей».

---

[1]) В цивилизации индейцев средней и южной Америки — Ацтеков, Майи, Юкотана — некоторые ученые находят сходство и с Китаем.

Но если можно было разрушить социальный строй и бытовой уклад, то искусство уничтожить было труднее: оно было приглушено, но не исчезло; и то искусство, с образцами которого мы встречаемся сегодня, является прямым продолжением былого.

Отличительной чертой этого искусства, характерной и для до-колумбийского периода,[2]) является, за немногими исключениями, его прикладной и декоративный характер. При этом оно является в большей мере продуктом женского творчества, чем мужского. Мужчины охотились и воевали; индейская женщина с незапамятных времен являлась конструктивным элементом общества. Индеец мужчина это охотник, рыболов, наездник, танцор, шаман, знахарь; индейская же женщина заведует домом, часто строит его (мужчины приносят камни), лепит горшки, раскрашивая их высоко-художественными узорами; плетет корзины, выводя из разноцветных лоз причудливые орнаменты; прядет ткани и покрывала удивительной раскраски и узорчатости, готовит шкуры для мокассинов и расшивает их бисером; выводит на бизоньей коже своеобразные орнаменты.

Исследователи различают среди северо-американских индейцев несколько больших географически разделенных групп: юго-западную, лесную, равнинную, калифорнийскую и северо-западную.

Юго-западная группа живет к югу от Скалистых гор, между реками РиоГрандэ и Колорадо, на пространстве современных штатов Аризоны и Новой Мексики. Она пришла сюда из Канады незадолго до начала христианской эры и известна под общим именем Анасази (что значит «древние люди» на языке Навахо). От первого периода их цивилизации, известного под именем периода «плетельщиков корзин» (basket makers) сохранилось немногое: найдены части корзин, вымазанных глиной снаружи и изнутри; отсюда и имя этих индейцев. От более позднего периода (500-700 после Р. Х.) сохранились черепки горшков из обожженной глины.

В начале VIII века мы встречаемся с зарождением нового периода цивилизации Анасази, известного под именем «Пуэбло» (что по-испански значит дом), выросшего из цивилизации

---

2) До-колумбийским периодом или «до-историческим» принято называть время до 16-го века, т. е. до появления в Америке первых конквистадоров.

«плетельщиков корзин» и к XX веку приобретшего уже свои новые характерные и отличительные черты.

В долинах Колорадо до сих пор сохранились развалины до-колумбийских «дворцов» Пуэбло. Это первые «небоскребы» с большим количеством жилых помещений. Древнейшее селение этого типа было построено в 1019-1024 годах и известно под названием Пуэбло Бонито. Оно состоит из 5-6 этажных каменных домов своеобразной стройки, с общим числом более 500 жилых помещений.

Один из наиболее известных — «Дворец среди утесов» — (Cliff Palace) был построен в конце XII века из больших аккуратно сложенных камней, скрепленных глиной, смешанной с гальками. Эта сложная постройка — плод труда искусных архитекторов-каменщиков. Cliff Palace состоит из нескольких сот комнат, башен, террас (на последних до сих пор сохранились следы костров) и 34-х круглых кив. По тому же типу построены и другие дворцы. Большие компактные четырехугольные массы (в некоторых до 1000 комнат) с несколькими этажами и отступающими назад террасами напоминают современные дома. По мере прироста населения к центральным массам пристраивались дополнительные меньших размеров; массы и террасы придавали этим строениям их дворцовый характер. О том, как искусно и прочно строились эти дома, можно судить по тому, как прекрасно они сохранились до сих пор; обвалились только потолки.

Индейцы Пуэбло, живущие сейчас в Аризоне, не унаследовали грандиозной архитектуры своих предков. В юго-западной Америке живут теперь племена Зуни, Хопи и Акома, прямые потомки «плетельщиков корзин» и Пуэбло. Как и их далекие предки, они продолжают строить свои жилища из камня, но всего лишь в форме мазанок, а не дворцов. От прежних времен сохранились искусная лепка глиняных горшков и красочные церемонии вокруг кив.

Кивы это круглые углубления, которые выкапываются внутри помещений или посередине дворов и служат для религиозных церемоний. В них спускаются по приставным лестницам. Женщины туда не допускаются, и во многие из этих священных кив не ступала до сих пор нога белого человека. Индейцы верят, что в кивах живут таинственные духи «Катчина». В праздничные дни индейцы современных племен Пуэбло пляшут вокруг выходов из кив в расшитых бисером костюмах и живописных головных уборах, имеющих вид фантастиче-

ских масок, очень оригинальных и очень художественно сделанных.

Простота и изящество форм, удивительно разнообразные и самобытные узоры, украшающие поверхность их глиняных сосудов, в основных своих чертах напоминают работы доисторических индейцев. Эта тождественность орнамента, не потерянного несмотря на приход чужеземных завоевателей, эта неразрывная связанность с прошлым, запас воспоминаний, сохраненный народной памятью, — характерная и замечательная черта индейского искусства.

Индейцы племени Хопи выделывают горшки, напоминающие по форме русские горшки для каши, но более суженные кверху. Украшается только верхняя половина сосуда. Рисунок обычно разделен на четыре части (иногда на 6 или на 8), причем на двух сегментах всегда вырисовывается кольцеобразный завиток, а другие части расписываются геометрическими узорами. Фон горшка своеобразного желтого цвета, орнаменты — черного.

Женщины Зуни лепят горшки с узким верхом. Роспись, которой покрывается поверхность, отлична от росписи горлышка. Одна отделена от другой широкой черной орнаментальной полосой, которая никогда не замыкается (ибо она символизирует линию жизни: замкнуть ее — значит умереть в скором времени). На верхней части горшка — «на губах», как говорят женщины Зуни, рисуются геометрические символы, облака — полукруги, дождь — косые линии, а на средней части или «животе» — необычайно художественные стилизованные цветы: («потому что цветы всегда появляются после дождя» — так объясняют свои рисунки индейские женщины). Иногда рисуют стилизованных грациозных птиц на коротких лапках с извилистым клювом, или же полу-абстрактных антилоп. Ансамбль этих узоров чрезвычайно четок и почти классически прост.

Другое племя Пуэбло, Акома, расписывает свои глиняные сосуды столь сложными по композиции узорами, что создается впечатление, что они принадлежат к совсем другой художественной традиции. В Акома покрывают орнаментом сплошь всю поверхность глиняных сосудов. Если горшки Зуни можно бы отнести к «классическому периоду», то горшки Акома — это «пламенная готика», столь сложен и аффектирован орнамент, их покрывающий. Излюбленной темой является абстрагированная птица, с открытым клювом, на высоких ножках. Кроме этого мотива женщины Акома пишут геометрические узоры, в

которых преобладает трехугольник. Узоры наносятся бурой или желтоватой краской.

Локальная группа Санта Клара выделывает громадные сосуды для воды, иногда с высокими горлышками. Горшки Санта Клара приобрели широкую популярность благодаря покрывающему их блестящему черному глянцу. На некоторых из них изображен «след медведя», так как, по старинному преданию, у ручья Санта Клара находили следы медведя, приходившего сюда утолять жажду.

Другая локальная группа — Сан Идельфонсо-делает очень красивые сосуды, украшенные геометрическими узорами, скупо и четко разбросанными по поверхности. Одна из жительниц этой деревни, художница-кустарь Мария Мартинез, недавно скончавшаяся, прославилась в Америке своими глиняными произведениями (главным образом, горшками и невысокими сосудами в форме салатниц), с интенсивно звучащей гаммой пестрых красок.

За последние несколько десятков лет наплыв туристов и соблазн денег наложили свой отпечаток и на это народное творчество. Раньше не бывало двух схожих горшков. Теперь они изготовляются в большом количестве самими кустарями одиночками. Это повлияло на оригинальность и качество орнамента, который начинает не только терять связь с прошлым, но и связь с предметом, который он призван украсить. Стремление к наживе, вызванное погоней за «сувенирами», убивает созерцательное начало творчества, сводит на нет воображение, фантазию и любовь к законченному индивидуальному произведению. На смену художественному произведению все чаще приходят изделия ... из консервных банок.

В этой же юго-западной части Америки издавна находятся кочевые племена Навахо и Апаче, живущие или в шалашах, наскоро построенных из веток и покрытых дерном, или в своего рода юртах, покрытых кожами. Эти племена были последними прибывшими в доисторические времена из Азии в северную Америку. На юго-запад они перекочевали, приблизительно, шестьсот лет тому назад.

Почти весь быт и искусство индейцев Навахо связаны с животными, которые дают им пропитание и одежду. Мужчины, в качестве пастухов, стерегут многочисленные стада баранов, по закону принадлежащие женщинам; женское население большую часть своего времени проводит за пряжей одежды и различных покрывал. Эти покрывала-шали, которые накидываются на плечи, ткутся так, чтобы основная центральная часть

их (в форме широкой полосы) приходилась на середину спины. Раньше эти покрывала делались из одноцветной шерсти, но в конце XVIII века торговцы стали привозить шерсть, крашеную кошенилью, и индейцы Навахо заинтересовались растительными красками. В 80-х годах прошлого столетия Навахо стали употреблять шерсть, крашеную химическими красками. Наиболее цельная и законченная из всех шалей это, так называемое, «покрывало вождя», поверхность которого разбита на широкие полосы, с вотканными в них квадратами и ромбами.

Одно из наиболее редких проявлений художественного творчества — живопись на песке, встречающаяся еще у некоторых племен Австралии, в Америке известна только у племени Навахо. В отличие от других отраслей индейского искусства, этой своеобразной живописью занимаются мужчины — знахари. Рисунки из песка делаются во время целительно-заклинательных церемоний в специально для того отведенных хижинах. В одном углу такой хижины сидит на корточках раздетый больной, в другом хор индейцев поет заклинания; в середине шаман, стоя на коленях, рассыпает по очищенному месту разноцветный песок. Он «рисует» по памяти, по образцам перенятым у других знахарей. Центр композиции перечеркнут крест на крест двумя линиями, на которых помещены высокие тонкие стилизованные человеческие фигуры в масках, изображающие богов неба, земли, и т. д. Они окружены рисунками всевозможных символических предметов — табаком, маисом, тыквой и узкой полосой, изображающей радугу. Рисунки достигают 15 футов в диаметре. Рисунки эти, обычно, уничтожаются после церемонии, до заката солнца. Их символизму и своеобразной красоте посвящено много трудов. В Музее Естественной Истории в Нью-Йорке, в залах отведенных Навахо, в специальной комнате, воспроизводящей туземную хижину, можно познакомиться с такой целительной церемонией и рисунками на песке, зарисованными с натуры различными исследователями.

В настоящее время у мужчин Навахо воинственные наклонности притихли, и среди них встречаются искусные, внимательные и усидчивые ювелирных дел мастера. Их серебряные браслеты и ожерелья, простого и строгого рисунка, высоко ценятся на художественном рынке.[3])

---

3) Сейчас для Навахо опять настали тяжелые времена. По настоянию правительства им пришлось уменьшить количество разводимых баранов, в виду порчи верхних слоев почвы, которые на больших пространствах производили их стада.

Теперь из 11.117 семейств Навахо всего лишь 161 обладают

Другим районом индейского расселения, давшим так называемую «лесную цивилизацию», является Атлантическое побережье. Там, на севере, живут племена Алгонкин и на юге племена Ирокуой (Iroquois). Это отсюда, главным образом, заимствованы литературные мотивы об индейцах, столь привлекающие юного читателя в повестях Купера, Майн-Рида и др. Искусство развивалось здесь по трем руслам. У групп Пенобскот, Меномини, Ожибвей из племени Алгонкин сохранилось вышивание по коже или материи из игл дикообраза и бисером. Группа Монтанье, из того же племени Алгонкин, делает, главным образом, посуду из бересты. Южное племя Ирокуой выделывает, кроме того, и церемониальные маски.

Женщины Монтанье выделывают разнообразную домашнюю утварь, громадные сосуды для воды или для варки кленового сахара и популярные небольшие, очень изящные, ларчики. Орнамент, вырезанный на их поверхности, представляет, в большинстве случаев, стилизацию листьев и цветов. Такого рода орнамент вообще чрезвычайно редок среди примитивных народов. Геометрические формы попадаются редко, хотя иногда и те и другие сочетаются на одном сосуде. Установлено, что прообразом цветочных узоров явились французские вышивки и ковры XVII века, которые в ту пору были завезены в Америку иностранными купцами.

Вышитая мелким бисером материя, выделываемая у Пенобскотов, Микмак и Меномини, идет на мешки и одежду; небольшие цветочки или линии, скрещивающиеся на подобие буквы X, дают очень художественные узоры. До появления коммерческого бисера, привезенного европейцами, вышивки делались из нарезанных на мелкие кусочки игл дикообраза или ежа. Это искусство еще не совсем утеряно и следует старинным образцам, но работа несравненно грубее прежней.

Женщины Меномини расшивают, главным образом, мешки и ридикюли из шкур буффало, узорами в форме характерных стилизованных орлов («птица-гром», как их еще называют). Современное коммерческое псевдо-индейское производство брошек и браслетов переняло этот декоративный узор, служивший раньше для заклинаний, и широко пользуется им на

стадами в 200 баранов, т. е. минимальным количеством, обеспечивающим нужды средней семьи; остальные Навахо голодают. Им опять грозит вымирание, если Конгрессом не будут приняты срочные меры.

всякого рода изделиях, почему то выбросив из поля своего внимания другие, не менее интересные узоры.

Ирокуой, живущие на юге лесной полосы, в районе Нью-Йорка и Нью-Джерзи, в XV веке пришедшие туда из Миссисипи, состоят из нескольких весьма воинственных кланов. Именно эти индейцы и продали Манхэтэнский полуостров новым пришельцам — голландцам. Мужчины воевали так много и так часто, что довели свои племена до крайних пределов развала. Тогда появился знаменитый Гайавата, поэт, философ и миротворец. Его мирная доктрина привела к тому, что в 1570 году часть кланов племени Ирокуой основали «Лигу пяти наций», под предводительством пятнадцати главарей. Они обязались не воевать друг с другом, и благодаря этому в короткий срок достигли сравнительного благополучия.

Жили они по несколько семейств вместе в длинных деревянных общежитиях, одевались в кожаные одежды, которые женщины расшивали паралельными рядами игл дикообраза (иглы кипятились в различных красках: черной, коричневой, красной, реже в синей и зеленой, и потом нашивались на обработанные шкуры). Мокассины и онучи также покрывались вышивкой. Теперь бисер заменил иглы, но узоры остались те-же. Выделывались также деревянные вещи; трубки с человеческими головами, дубинки и, главным образом, церемониальные маски. Как в старину, так и теперь, маски вырезываются специалистами-мужчинами в лесу на живом дереве (не из бревна) во время специальных церемоний. Маски эти обычно красятся в красный цвет и надеваются в бытовые праздники и на собраниях секретных церемониальных обществ.

Маски индейцев Ирокуой едва ли не самые выразительные и фантастические в мире. Они изображают сверхъестественных духов и служат иногда для того, чтобы, спрятавшись за образ одних, защищаться от других духов. Разнообразие этих масок поразительно. Существуют маски «кривого рта», на которой губы искривлены в своего рода сардоническую усмешку. У маски «прямых губ» толстые губы напоминают утиный клюв, и лоб изборожден глубокими черными морщинами. Есть маски «ложко-образных губ», маски с «опущенным ртом», маски, у которых висит язык, маски с губами, сложенными точно для свиста, безротые маски и т. п.; много масок с изображением голов животных. Ирокуой выделывают также совсем маленькие маски, служащие амулетами.

Женщины также выделывают маски, но из нитевидных листьев сердцевины кукурузы, очень грубо и наспех изготов-

ленные и не представляющие большого художественного интереса.

В центре Америки, в штатах Дакоты, Канзаса и Миссисипи, живут «Индейцы равнин» — неутомимые всадники, популяризованные во всем мире картинами Холливуда. Жизнь и соответственно с этим вся культура этих индейцев тесно связаны с диким бизоном, который еще сравнительно недавно встречался в большом количестве в центральных степях Соединенных Штатов Америки. Индейцы питались бизоньим мясом, из бизоньей шкуры строили для жилья остроконечные хижины-типи и из этих же шкур делали себе одежду и вьючные мешки. На этих равнинах еще в конце прошлого столетия проживало до тридцати различных племен. Но как давно и откуда они сюда прибыли, остается до сих пор загадкой.

Типичными охотниками на бизона, одними из первых перенявших лошадь у белых завоевателей еще в 1754 году, являются индейцы «Черной ноги». Расцвет культуры этих индейцев относится к тридцатым годам прошлого столетия, когда их численность достигла 18 тысяч. Но цивилизация белого человека принесла в этот край смертельное орудие — оспу; индейцы «Черной ноги» насчитываются теперь всего лишь десятками.

Это племя строило свои жилища-типи из высоких кольев, на которые натягивались бизоньи шкуры. Строили их женщины. У этих индейцев было много искусных живописцев (из их среды вышел ряд современных художников), они украшали типи разнообразными символическими узорами и рисунками животных. Мужчинам полагалось рисовать лишь реалистические сюжеты, женщинам же разрешались геометрические узоры и орнаменты, которыми они украшали не только типи, но и мокассины, одежду и вьючные мешки. Эти узоры отличаются своеобразным пространственным распределением и резко выраженной симметрией. Их не только рисуют, но и чрезвычайно красочно вышивают бисером и иглами дикообраза.

Индейцы другого крупного племени равнин — Арапахо — разрисовывают свои одежды охотничьими сценами, событиями из жизни своих вождей и т. п. Это рисунки натуралистического стиля, без перспективы, но с таким богатством движения и узорчатости, что, по справедливости, ставят индейцев этого племени в ряды лучших туземных художников.

Четвертый центр индейской культуры, так называемый калифорнийский или район «Резчиков по камню», как их называют археологи, сравнительно небогат в художественном

отношении. От искусства до-колумбийского периода сохранились лишь найденные в раскопках каменные статуэтки прекрасной работы, в большинстве своем изображающие рыб. Современные же индейцы, в особенности племя Помо, достигли высокого мастерства в плетении корзин; узоры на них геометрические или представляют абстрактную человеческую фигуру. Эти же индейцы выделывают корзины, в которые вплетают блестящие раковины и яркие перья птиц, придающие им какой-то своеобразно-таинственный вид.

Наконец, между северной Калифорнией и Аляской живут так называемые «Индейцы северо-западного побережья». Они широко известны своими тотемными шестами, разрисованными домами и импонируют красиво звучащими именами своих племен: Тлингит, Чилкат, Белла-Кула, Куакютл. Археологическими изысканиями установлено, что этой северо-западной культуре не больше 600 лет. Обычно, изучая этот район, изучают и эскимосов. Для полного понимания их искусства надо обратиться к Сибири, но это выходит за пределы настоящей статьи.

Искусство этих индейцев одно из самых оригинальных, ибо это единственное примитивное народное искусство, прибегающее к декомпозиции форм. Свои шкатулки, сундучки, шали, ложки, фронтоны домов, одежды они расписывают фантастически расчлененными изображениями животных. Эти изображения похожи не то на анатомические рисунки, не то на распластанные туши. Если, например, в середине какого нибудь декоративного мотива помещена голова медведя, то вокруг нее будут распластаны четыре лапы. На свободных местах будут нарисованы глаза, уши, связки и т. п. В этом плоскостном репрезентативном искусстве, представляющем медведей, бобров, воронов, китов, наряду с реализмом дана воля фантазии художника; фантазия же его целиком основывается на зрительной памяти, а не на зарисовке с натуры. Симметрия и изящное заполнение незанятых основной темой поверхностей, связанность всех частей при помощи широких линий, обычно черного цвета, объединяет все в одно гармоничное целое большой оригинальности и красоты.

Высшим достижением этого своеобразного искусства были треугольные шали-покрывала, так называемые «чилкат», по имени племени, которое их выделывало. Ткали их женщины — по рисункам, сделанным мужчинами и изображавшим какое-нибудь распластанное животное. Для их изготовления употреблялась козья шерсть и кедровая кора; части сшивались сухожилиями. Обрамленные широкими черными и желтыми

полосами, с рисунком, сделанным на черном фоне желтыми и голубыми красками, с длинной бахромой, эти шали художественно великолепны. На изготовление одного такого покрывала требовалось больше года времени. Их делали только для вождей различных кланов; теперь они являются музейной редкостью, оценивающейся в 10-15 тысяч долларов. В Нью-Йорке и в Чикаго есть великолепные экземпляры этих шалей.

Другим, теперь совершенно утерянным видом искусства, сохранилось в Британской Колумбии, но так как все они высечены из довольно мягкого дерева, то в ближайшем будущем они исчезнут совершенно. Расцвет выделки тотемных шестов относится к 30-70-ым годам XIX века. Судя по последним изысканиям, эти шесты являются скорее геральдическими знаками различных семейств, чем тотэмами, как предполагалось раньше. Тотемные шесты, обычно 7-9 футов вышиной, представляют собой довольно грубо отесанные, расположенные одна над другой фигуры людей и животных, олицетворяющие предков — своего рода генеалогическое дерево, чтение которого для непосвященных представляется нелегким. Ни у каких других индейцев вопросы престижа, происхождения, ранга не играют такой большой роли, как у жителей северо-запада. Этим отчасти объясняется и характер их искусства.

Племена Куакютл, Салиш и Нутка выделывают фантастически-уродливые и комические деревянные маски, раскрашенные в ярко-синий или красный цвет. Этими масками пугают женщин и детей в церемониях религиозного и бытового характера. Разнообразием и причудливостью эти маски уступают только маскам Ирокуой, но чувства театральности в них больше.

В этом кратком очерке я могла дать лишь некоторое общее представление об искусстве индейцев в Северной Америке. Я лишь мельком затронула до-колумбийский период, оставила в стороне искусство племен, менее интересных в художественном отношении, и совершенно не коснулась доисторических индейских цивилизаций, которые исчезли и изучаются теперь по раскопкам.

Искусство северо-американских индейцев продолжает жить, несмотря на все трагические перипетии их существования в соседстве с белым человеком. Оно преимущественно декоративно. К декоративному искусству часто относятся свысока; однако же, вазы индейцев, их вышивки, корзины, мокассины, шали, берестовые изделия, живопись по коже и на песке

очень часто достигают большой художественной экспрессивности и красоты. Это искусство сохранило неразрывность со своим прошлым, не порвало ни со своей почвой, ни со своей религией и соответствует духу создавшего его народа. В этом его историческая и духовная ценность.

Вера Коварская.

ВЫШИНСКИЙ

Вышинский давно уже гремел в России и служил пугалом не для одних только детей, когда имя его замелькало на столбцах европейских и американских газет и даже на экране. Это случилось во время второй мировой войны, когда Голливуд выпустил с пропагандными целями фильм «Миссия в Россию», скомпанованный по книге Джозефа Дэвиса под тем же заглавием.

Автор книги, конечно ,никак не ответственен за физическое искажение облика Вышинского в кинематографе. Те, кто присутствовали при «показе» фильма в Москве Джозефом Дэвисом, передают, что Вышинский с каким-то генералом сидели при этом в передних рядах. Когда бритый и скорее низкорослый Вышинский увидел на экране своего двойника, высокого роста и с бородой, он, говорят, прыснул со смеха и, обхватив генерала, в течение нескольких минут не мог остановиться.

Отступление от физического сходства имеет, конечно, ничтожное значение по сравнению с отступлениями от правды морально-политической. Джозеф Дэвис, как известно, сделал из Вышинского положительного героя: «он провел процесс об измене так, что вызвал уважение и восхищение, как юрист». Другой автор, Артур Кестлер, включает Вышинского в свой образ Глеткинса, «синтез» следователя и прокурора, из «когтей» которого тщетно стараются вырваться жертвы: многих из них автор "Darkness at Noon", в прошлом коммунист, знал лично. Вышинский был «таинственной личностью в России последнего десятилетия», писал лондонский «Обсервер». «Его личность будет вызывать недоумение историков, моралистов и социологов в течение многих грядущих поколений ... С ним связана темная загадка непривычного суда и московских «чисток» в процессах 1936-1938 г.г.».

Как бы то ни было, правдой или неправдой, положительными своими качествами или отрицательными, Вышинский бесспорно поразил воображение современников. И, действительно, вся карьера Вышинского, профессиональная и политическая, — прямое следствие и порождение советского пе-

риода русской истории: она отражает советскую политику со всеми ее устремлениями и зигзагами, подъемами и падениями за последнюю четверть века.

Нельзя, конечно, утверждать, что, не будь Вышинского, советская политика была бы не такой, какой она была в действительности. Но с большой долей убедительности можно утверждать, что, не будь советского периода русской истории и, в частности, «сталинизма», Вышинский не мог бы стать тем, кем он стал. Официальная доктрина, правда, гласит, что историю делают массы, а не отдельные лица. Однако, со времен Цезаря Августа никогда еще тупое идолопоклонство и почитание гения вождя не достигало таких степеней и форм выражения, как в нынешней России, «вооруженной» идеями Маркса и Энгельса, Ленина и Сталина.

Везде карьеры бывали головокружительны в революционные эпохи. И русская революция не составляет исключения в этом отношении. На гребне революции, как ее пена, оказывались те, кто сумели попасть в «ритм» событий и согласовать свои дела и чувства с генеральной линией вождей и, в последнем счете, — вождя. Произведя полуграмотного вахмистра и других героев гражданской войны в маршалы, хитроватого мужичка-простачка в президенты республики, та же революция продвинула и неудачливого провинциального адвоката на международную авансцену и сделала из него «героя».

*
**

«Предистория» семьи Вышинского награждает в 1782 году предка и тезку нынешнего Андрея Януаровича, уроженца австрийской Галиции, титулом барона священной римской империи. Титул этот был подтвержден и российским самодержцем в 1852 году в отношении Вышинских, очутившихся на Волыни. Киевская же ветвь, от которой ведет свое происхождение наш герой, баронского звания не получила. Отец его сохранил свое польское имя — Януарий — и был зажиточным аптекарем в Баку.

Светло-рыжий Андрюша увидел свет Божий 10 декабря 1883 года. Среднее образование он получил в 1-й гимназии имени Императора Александра III в Баку. Он был способным и начитанным мальчиком, — самоуверенным и сыздетства аррогантным. Был одет с иголочки, умел носить гимназический мундир, отлично танцовал. Еще в гимназические годы он увлекся местной красавицей и покорительницей юных сердец,

Капочкой Михайловой, которая, став позднее Капитолиной Исидоровной, сделалась его женой и матерью двух детей.

Окончив среднюю школу, Вышинский Андрей поступил в 1901 году в киевский университет на юридический факультет. Закончить высшее образование ему, однако, удалось лишь 12 лет спустя: он отдал дань своему времени, и, как тысячи сверстников, принял участие в студенческом движении и был из университета исключен. В 20-летнем возрасте он вступил в социал-демократическую партию, примкнув к меньшевикам. Революция пятого года застает Вышинского в Баку, где он был арестован в связи с железнодорожной стачкой и приговорен судом к году заключения в крепости. Таков послужной список Вышинского-революционера.

В большевистской агиографии житие Вышинского, как и других вождей, окружено, конечно, революционным ореолом. Он изображен жертвой покушения в 1907 году со стороны черносотенца из Союза русского народа. Если подобное покушение, действительно, имело место, именно ему, может быть, надо приписать то, что революционный пыл Вышинского надолго остыл. Во всяком случае в течение последующего десятилетия, до самого 1917 года, будущий член ВКП (б) стоял совершенно в стороне от революции, ушедшей вновь в подполье.

Желая возвеличить с в о е г о Вышинского, большевистские биографы не только умалчивают об этом периоде жизни своего героя, но и стараются подыскать для него почтенную генеалогию: вместе с неустрашимостью и преданностью революции, Вышинский оказывается бескорыстным искателем истины и справедливости.

Действительность была гораздо более прозаична. Мечтой и амбицией Вышинского было стать ученым, и он усердно занимался юриспруденцией, уголовным правом и судопроизводством. Но мечте этой не суждено было осуществиться, и, когда в 1913 году он получил, наконец, университетский диплом, он вернулся в Баку и стал заниматься там адвокатской практикой — вел, в частности, гражданские дела местных нефтепромышленников. На этом поприще, однако, ни в Баку, ни позднее в Москве он не преуспел и славы не стяжал. Он продолжал оставаться в неизвестности и материально неустроенным.

При врожденной самоуверенности и бесцеремонности, создавалась благоприятная почва для психологии неудачника,

озлобленного против всех и готового пойти на многое, чтобы попытать судьбу и счастье.

Февральская революция сделала Вышинского, как и многих других помощников присяжного поверенного, комиссаром одного из полицейских участков, на которые делилась Москва. На этом посту застал Вышинского и большевистский переворот в октябре 17-го года. Его политические взгляды были тогда не очень устойчивы. Продолжая входить в меньшевистскую фракцию, он был там на крайнем правом фланге: критиковал Февраль не слева, а справа — за его излишества и крайности. В голодавшей в 1918 году Москве Вышинский состоял председателем клуба «Искра», которым руководили меньшевики; он защищал необходимость отпускать посетителям клуба суп даром на том, между прочим, основании, что «каждая ложка супа будет вливать и меньшевизм».

Встречавшиеся изо дня в день с Вышинским того времени считают, что переломным в его взглядах моментом был конец 18-го года, принесший революцию в Германии. При монопольном пользовании телеграфом и прессой, большевистская пропаганда представила германскую революцию не как результат поражения, нанесенного Германии капиталистическим западом, а как оправдание прогноза Ленина, что Октябрь развяжет «мировую» и отсталая, хотя и революционная, Россия обретет возможность прислониться и опереться на индустриализованную и передовую Германию.

Германские события совратили в большевистскую веру не одну марксистскую и меньшевистскую душу. Вышинский был не первый и не последний среди множества соблазненных. На общей многим идеологической канве его психология вышила узоры характерные лично для него, карьериста-неудачника. Среди всех «перелетов», пожалуй один только Заславский может соперничать с Вышинским в рвении, с которым они стремились заслужить доверие у недоверявших им новых господ, и в почти сладострастном азарте, с которым они уничтожали и компрометировали то, чему раньше служили. Наблюдавшие в Москве Вышинского — и Заславского — передают, что за улыбающимися глазами того и другого неизменно стоят испуг и опасение: а вдруг?!

Вышинский не сразу перекинулся к большевикам. Осенью 19-го года, когда «белые» под начальством генерала Деникина стали приближаться к Москве, Вышинский, вместе с другими пятью меньшевиками, во главе коих стоял тогдашний левый Д. Ю. Далин, отправились в Тулу — звать местных рабочих

оказать сопротивление наступавшей контр-революции. Как вспоминается сейчас Далину, Вышинский очень тогда разочаровал его: он говорил тускло, без всякого ораторского подъема и убежденности, и с такой быстротой, что аудитории трудно было уследить за ходом его мысли. По возвращении в Москву, Далин писал в докладе меньшевистскому комитету: «Выступление Вышинского было столь убогим, что я не вполне уверен, говорил ли он то, что думал, и не симпатизирует ли он в действительности генералу Деникину или готовит себе на всякий случай алиби» («Нью Лидер» от 4.X.47).

Вышинский не сразу нашел себя — и свой путь к большевизму. Одно время, говорят, он задумывался даже над тем, чтобы воспользоваться своим происхождением, оптировать гражданство новой Польши — «Польши Пилсудского» — и покинуть непризнавшую его РСФСР. Колебания и сомнения кончились все же тем, что Вышинский подал в 20-ом году заявление о желании вступить в РКП (б). Его, конечно, немедленно приняли. Ленин любил перебежчиков — они как бы подтверждали, что он был прав, — искал их и им покровительствовал. Они, с своей стороны, старались как могли. Когда Вышинский, Заславский и др. были по ту сторону баррикады, Ленин не называл их иначе, как «Заславский и другие негодяи», «клеветники» и прч. Те же, кто переметнулись, без стеснения стали говорить о себе: «Мы, большевики, всегда утверждали» и т. д. Так уже повелось на советской Руси, и это не коробило ни тех, кто это утверждал, ни тех, кому оно адресовалось.

И теперь, выступая в Нью-Йорке на банкете Советско-Американской дружбы, Вышинский без стеснения вспоминает о том, как «30 лет тому назад, когда рождалась молодая советская республика, ... против Советского союза поднимались тоже злые силы, как и сейчас». Он точно забыл, что он и сам был среди этих «злых сил».

Не всякий отказ от прежних убеждений есть непременно ренегатство. Но так, к а к от своих взглядов отказался Вышинский, вернее, как он стал проповедовать свои новые убеждения, не могло не вызвать презрения — и недоверия — со стороны не совсем утративших чувство чести и порядочности. Даже среди Майского, Сурица, Трояновского, Эренбурга и других Вышинский выделяется своим подчеркнутым сверх-конформизмом и угодливостью. Это способствовало его продвижению на самые верхи советского Олимпа.

*
**

Возвышение Вышинского и продвижение его в первые ряды большевистской знати происходило постепенно — не слишком медленно, но и не с излишней быстротой. Нужно было время, чтобы забыть прошлое, и нужны были заслуги, чтобы получить признание. Надо было «проверить» большевистскую лояльность нового сочлена, а последнему надо было показать и доказать на деле на что он способен. Вышинский переменил множество специальностей и должностей прежде, чем стал единственными и незаменимым. Он побывал и в Наркомпроде (1919-1923 г.г.), и в Наркомпроссе (1925-1928 г.г.), и в комиссариате юстиции (1923-1925 и с 1928 г.). Был и начальником распределительного отдела продовольствия, и заведующим профессиональным образованием, и профессором по кафедре уголовного судопроизводства в московском университете и даже, увы, ректором старейшего русского университета, а в 1923-1925 годах — прокурором уголовно-судебной коллегии Верховного Суда РСФСР.

Все это были как бы подготовительные ступени к освоению ленинистски-сталинской учебы и практики. На всех этих постах Вышинский обнаружил деловитость способного администратора, лояльность вождям и беззаветную преданность «самому». Но не на этих должностях приобрел Вышинский всероссийскую, а затем и мировую известность. Известность, а потом и «слава», пришли после того, как он был назначен председателем специального присутствия Верховного Суда по делу, так называемых, шахтинцев в половине 1928 года. Отныне разоблачение и преследование врагов и вредителей большевистской власти и социалистического государства стали главной специальностью Вышинского, и на этом именно поприще он достиг наибольших личных успехов. Бывший крайний антибольшевик стал наиболее свирепым и беспощадным паладином большевизма — борцом против всяческих «вредителей»: иностранных (англичан) и отечественных, правых и левых. Этому делу Вышинский неустанно служил и служит пером и словом, как судья и как прокурор, как советский академик и как дипломат.

Дело о вредительстве на электро-станциях СССР, или об английских инженерах фирмы Виккерс, едва не привело в апреле 1933 года к разрыву дипломатических отношений между Англией и СССР. Оно же послужило трамплином к последующему продвижению Вышинского в большевистской иерархии:

экзамен на партийно-большевистскую зрелость аспирант выдержал с отличием — summa cum laude. Обвинительная речь Вышинского длилась почти восемь часов и занимает свыше четырех огромных простынь «Известий». Он кричал, угрожал, проклинал, оскорблял не только обвиняемых — до того, как суд признал обвинение доказанным, — но и свидетелей. На этом процессе Вышинский впервые продемонстрировал и новый метод обвинения: публичное сознание подсудимых в деяниях, которых они частью не совершали, а иногда и объективно не могли совершить. Самообвинение стало отныне правилом на всех последующих показательных процессах, которые ставил Вышинский в 1936-1938 годах. Советский союз превратился в «гигантский сумасшедший дом», — как выразился знаменитый Арнольд Тойнби. Между обвинителем и обвиняемым устанавливалось своеобразное состязание на резвость, кто кого обгонит в требовании беспощадной расправы.

Три процесса против, так называемых, старых большевиков, ликвидировавшие старую гвардию Ленина, были зенитом в карьере Вышинского-прокурора. Те, кто организовали «Великий Октябрь» и осуществляли его в течение двух десятилетий, занимая посты премьера (Рыков), оруженосцев и фаворитов Ленина (Зиновьев, Каменев), послов и министров (Троцкий, Крестинский, Сокольников), теоретиков (Бухарин, Пятаков), главы ГПУ (Ягода) и т. д., до 20 членов ЦК и 8 членов Политбюро, были изобличены бывшим «контр-революционером» и «клеветником» Вышинским в том, что все они были предателями родины и революции, организаторами убийства Кирова и Горького, «бандитами и шпионами английской, германской, польской и японской разведок» «с первых же дней Великой Октябрьской революции».[1])

В 1922-1923 годах Вышинский читал в Москве лекции по «Истории Коммунизма» — от античного мира до Ленина. В этих, позднее напечатанных, лекциях автор почтительно цитирует, наряду с прочими авторитетами и рядом с Марксом, Лениным и Сталиным, — «прекрасные и глубоко верные слова» и «точные формулировки» Зиновьева, Бухарина, Каменева,[2]) всех тех, кого он позднее не только на суде, но и в своих якобы ученых трудах называет не иначе, как «предателями», «банди-

---

[1]) «Политический словарь» под редакцией Г. Александрова и др., 1940 г., стр. 459. — История ВКП (б) краткий курс. Изд. 1945 г., стр. 337. — Большая Советская Энциклопедия, 1947 г., том 55, стр. 42-47.

[2]) «Очерки по истории коммунизма». Ч. 2, стр. 326—359.

тами», «шпионами», «двурушниками», «смрадными подонками» и т. д.[3])

На первом же процессе против Зиновьева, Каменева и других Вышинский говорил: «Лгуны и шуты, ничтожные пигмеи, моськи и шавки, взъярившиеся на слона, — вот что представляет собою эта компания... Банда убийц и уголовных преступников, воров, пытавшихся расхищать государственное достояние... отпетые и закоренелые убийцы... прожженые игроки в политической борьбе». И в заключение: — «... взбесившихся собак я требую расстрелять — всех до одного».[4])

Всех их — и многих вслед за ними — расстреляли. Это, однако, не решает вопроса или альтернативы: если прав был Вышинский, и те, кто свершили «Великий Октябрь», были вульгарными ворами и убийцами на службе иностранных разведок, то в чем «величие» Октября и какова его морально-политическая ценность? Если же осужденные и расстрелянные вовсе не были такими извергами рода человеческого, какими их изобразило обвинение, — какова цена самому обвинению и обвинителю, суду и всему режиму, не останавливающемуся перед предательством и опозорением своих же соратников и единомышленников?

Тайна процессов и самооговоров не раскрыта до конца и по сей день. Ни одна версия не разъясняет всего полностью. Однако, кто знал лично подсудимых и обстановку, в которой происходили октябрьский переворот 1917 и суды 1936-1938 годов, тех ни пафос Вышинского, ни приговор суда, возглавляемого известным чекистом Ульрихом, не способны убедить в том, что главные творцы Октября были агентами иностранных разведок и бандитами. Они, конечно, презирали и ненавидели Сталина и его приближенных и в частных разговорах между собой, вероятно, и злоумышляли против него, но они оставались верными большевизму по убеждению и психологии.

Картина, нарисованная Вышинским, сама себя изобличает, как подделка.

Это следует не только из фактов, на которых построено обвинение и которые оказались часто материально невозмож-

---

[3]) Ср. «Советское Государственное Право». Учебник для Институтов Права. Изд. Советской Академии. 1938 г., стр. 49, 56, 60, 71, 92 и т. д. и т. д.

[4]) «Известия» от 23 августа 1936 г.

ными.[5]) Это следует и из того, как подсудимые нераз забегали вперед обвинителю и признавали себя виновными в том, в чем и Вышинский их еще не обвинял: 68-летний д-р Левин, например, признается, что отравил Максима Горького, будучи «тайным троцкистом». И, главное, — подделку обнаруживает необычайная срепетованность между прокурором и подсудимыми, которая встречается в романах или фильмах, но не в реальной жизни.

Приведу в качестве иллюстрации один такой диалог.

Вышинский: Как оценить Ваши статьи и заявления, которые вы писали в 1933 году и в которых вы выражали преданность партии. Обман?

Каменев: Нет, хуже обмана.

Вышинский: Вероломство?

Каменев: Хуже.

Вышинский: Хуже обмана, хуже вероломства, — найдите это слово. Измена?

Каменев: Вы его нашли.

Вышинский: Подсудимый Зиновьев, вы это подтверждаете?

Зиновьев: Да.

Вышинский: Измена, вероломство, двурушничество?

Зиновьев: Да.

---

[5]) Напомню некоторые из таких фактов.

Подсудимому вменялась встреча с Троцким в гостинице Бристоль в 1932 году, тогда как отель этот был разрушен до основания еще в 1917 году и не был восстановлен. Другому подсудимому вменялся полет из Берлина в Осло в декабре 1935 года для свидания с тем же Троцким, тогда как официально было удостоверено, что ни один иностранный авион в это время на указанный аэродром не опускался. И т. п.

Из личного опыта могу указать, что при допросе Бухарина тот «признался» на суде в том, что, будучи в Париже, установил связь с заграничной организацией социалистов-революционеров, «которые, главным образом, сосредоточивались около такой фигуры, как Марк Вишняк — секретаря Учредительного Собрания». Это самообвинение, как и многие другие, было сплошным вымыслом, так как за всю свою жизнь я имел только один раз малоприятный случай видеть и слышать Бухарина — на заседании Учредительного Собрания 5/18 января 1918 года.

Аналогичные оговоры, вызвавшие опровержения в свободной печати, делались подсудимыми и относительно Эмиля Бюрэ, Поля Шефера, Магдалэн Пааз, Дана, Абрамовича, Николаевского и других.

Диалог говорит сам за себя. Такой согласованности между репликами, которые подает прокурор и подхватывают налету подсудимые, которым угрожает смертная казнь, при нормальном судопроизводстве не бывает. В советском суде — иное дело. Измена, вероломства, двурушничество так пришлись по вкусу Вышинскому, что он дважды возвращался к этому ударному месту, которое могло явиться лишь в результате предварительного сговора. Подсудимым, вероятно, обещано было сохранение жизни, *если* они дадут на гласном суде показания нужные партии и окруженному со всех сторон капиталистическими акулами советскому государству. По ряду оснований: вследствие упадка духа, из страха за судьбу близких, по неистребимой большевистской выучке повиноваться партийной указке, из-за политической беспросветности и т. п., подсудимые приняли условия сделки и добросовестно их выполнили — признались во всем, чего Вышинский и компания от них требовали. Но другая сторона — советская власть в лице Вышинского — соглашение коварно нарушила. Вдоволь надругавшись над творцами Октября, — прославляемого задним числом и Вышинским, — всячески опозорив свои жертвы, Вышинский их убил.

Революции сравнивали с мифологическим Сатурном, пожиравшим своих детей. Большевистская революция, — если Октябрь был революцией, а не заговором бунтовщиков, — пожрала не только тех, кого она породила, но и тех, кто ее породил.

*
**

Жестокость и бесстыдство, с которыми представитель советского правосудия третировал своих униженных и измученных противников — недавних еще «вождей» и учителей политической мудрости, — поразили воображение не одного наблюдателя. Иностранцы вспомнили, конечно, героев Достоевского. Они ошиблись, однако, в названии произведения Достоевского и в уточнении имени героя, которому можно уподобить Вышинского. В «профиле Андрея Вышинского», напечатанном в лондонском «Обсервер» в связи с его появлением на международной авансцене, советский прокурор-инквизитор уподоблен «конечно, Великому Инквизитору новой секуляризованной церкви, которая тоже опирается на таинство, чудо и власть».

К большевизму можно и должно подходить и как к метафизической проблеме о назначении человека и смысле человеческой истории. Но Вышинский, как человек и политик, никак

не стоит на уровне Ивана Карамазова и Великого Инквизитора у Достоевского. Он гораздо мельче, вульгарнее и примитивнее их, — не метафизик, а социолог, «вульгарный социолог», по советской терминологии. В нем нет ничего оригинального или своего: он от природы имитатор и по положению своему обречен повторять чужие слова, прикрываться не своим авторитетом. Он близок по духу героям Достоевского, описанным не в «Братьях Карамазовых», а в «Бесах», и больше всего, конечно, — Шигалеву.

«Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом. Прибавлю, однако-ж, что кроме моего разрешения общественной формулы не может быть никакого». Разве не это же утверждает Вышинский? Шигалев рекомендует «разделение человечества на две неравные части. Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться в роде как в стадо и при безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной невинности, в роде как бы первобытного рая, хотя, впрочем, и будут работать». Разве это не то самое, во что окончательно выродился большевизм со своей великой октябрьской?

А вот и функция Вышинского в советском «обществе»: «Шигалев гениальный человек!.. у него шпионство. У него каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем, а все каждому. Все рабы и в рабстве равны. В крайних случаях клевета и убийство, а главное равенство... Без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства, но в стаде должно быть равенство, и вот шигалевщина... Я за шигалевщину!»

Так «бес» Верховенский доказывает другому «бесу» Ставрогину целесообразность «системы» и «формулы» третьего — Шигалева. Большевистские слова и формулы звучали иначе, но дела — «клевета и убийство, а главное равенство»...

Успешное проведение процессов, которые могли и сорваться, привело к необычайному возвышению Вышинского. Он был награжден двумя орденами Ленина, был сделан академиком и главой Отделения Права советской Академии Наук, редактором Большой Энциклопедии, журнала «Советское государство и право», членом Верховного Совета и ЦК партии, членом комиссии по пересмотру партийной программы, членом комиссии по выработке сталинской конституции, председателем комиссии по пересмотру той же конституции (с 1946 года), награжден 200-тысячной сталинской премией и т. д. и т. д.

Вышинский достиг всех мыслимых в советском «обществе» почестей и лавров — за исключением, конечно, того, чтобы быть включенным в состав Политбюро. Но для последнего, как известно, необходимо политически родиться большевиком, а не сделаться им: неудачный опыт с Троцким убедил в том не одного только Сталина.

Своим возвышением Вышинский обязан был в значительной мере личным способностям, уму и образованию. Но не только им, а и другим чертам своего характера — бесцеремонной ловкости и циничесой хватке, с которой он умел белое превращать в черное, а красное выдавать за белое.

В «Большой Энциклопедии» до 1933 года отдел «Право» редактировал некий Пашуканис — сторонник ортодоксальных ленинских взглядов на право и государство. Вышинский время от времени помещал в «Энциклопедии» свои статьи, не замечая никакой преступной ереси у Пашуканиса. Позднее Вышинский занял его место и стал разоблачать своего предшественника, как «вредителя и контр-революционера, полу-троцкиста и полу-бухаринца», который еще «в 1929 году позволял себе выдавать за марксизм антиленинские утверждения», — без того, чтобы то заметил Вышинский, тем самым, по советской практике, повинный в «укрывательстве» преступника.

Аналогичное случилось и с предшественником Вышинского на посту прокурора СССР — Крыленко. Вышинский с Крыленко выпустили «Курс уголовного процесса». Но когда потребовалось второе издание книги, в 1936 году, звезда Крыленко уже закатывалась, и Вышинский выпустил ту же книгу уже с другим автором, Ундревичем, и в ней он уже полемизировал с недавним своим соавтором.

Если большевистская революция пришлась по вкусу и пошла на пользу Вышинскому, — Вышинский с своей стороны пришелся чрезвычайно кстати большевизму, особенно сталинского периода, когда партия из воинствующей и пробивающейся к власти сделалась правительством, власти достигшим и торжествующим. К тому времени, когда Октябрь преодолел первоначальную разруху и хаос и окреп, — нагулял себе партийные мышцы и румянец и большевик-прозелит Вышинский. «Не люди ведут за собой революцию, а революция использует людей в своих интересах», — заметил один тонкий наблюдатель французской революции полтораста лет тому назад. Самая профессия Вышинского-юриста способствовала тому, что революция в сталинский период ее развития использовала Вышинского для своих нужд.

*
**

Большевики пришли к власти под полу-утопическими, полу-анархическими лозунгами: немедленный мир; немедленный раздел земли путем захвата; «вся власть — на местах»; «грабь награбленное»; «и кухарка способна управлять государством» и т. п. Это был период господства разрушительной, бунтарской стихии. Ленин в «Государстве и Революции» дал теоретическое обоснование и моральное оправдание этой анти-государственной стихии. Он развил старую идею Энгельса об «отмирании» государства. Ленин отрицал не только государство, но и право, которое, по его убеждению, всегда предполагает неравенство и привилегии. Никаких других норм, кроме норм буржуазных, право не знает и обречено, поэтому, вместе с государством на гибель. Соответственно, и диктатура, которую исповедывал и проповедовал Ленин, «означает неограниченную, опирающуюся на силу, а не на закон, власть».

Ленин развивал эти идеи, когда стоял в оппозиции к государственной власти и не предполагал, что ему и его партии удастся «освоить» государство и сделать свое представление о праве и государстве официальным законом. Когда же это случилось и большевистская диктатура утвердилась на годы, возникла необходимость прежнее полуанархическое представление о праве и государстве обратить в его противоположность и доказать исключительное значение для пролетариата и социалистической революции советского права и советского государства. Это произошло уже после смерти Ленина, когда пугачевский период советской истории сменился аракчеевским. И здесь Вышинский проделал большую работу — теоретически и практически. Продолжая славить непревзойденную «гениальность» непогрешимого «Ильича» и, в частности, его «гениальные» прозрения относительно отмирания государства, Вышинский и другие постепенно пришли к апологии его всемогущества и неограниченного абсолютизма.

Сталин еще в 1933 году заявил: «Отмирание государства придет не через ослабление государственной власти, а через максимальное усиление, необходимое для того, чтобы добить остатки умирающих классов и организовать оборону против капиталистического окружения, которое далеко еще не уничтожено и не скоро еще будет уничтожено». После этого Вышинскому было уже легко и естественно сказать: «Не может быть и речи об ослаблении государства и в частности таких его органов, как армия, флот, НКВД, прокуратура, суд, в условиях наличия в других странах капиталистического строя».

Вся энергия Вышинского сосредоточилась на практическом усилении карательной мощи советской власти и идеологическом оправдании абсолютного суверенитета государства. Он стал одним из главных архитекторов, строителей и надзирателей за советской легальностью, одной из самых мрачных фигур советского тоталитарного режима. Он стал и предметом подражания. Венгрия, Болгария, Румыния под советской оккупацией усвоили приемы дознания и следствия, самопризнание и оговоры,[6]) введенные Вышинским. Он безжалостно преследовал и уничтожал не только классовых и политических врагов, но и нарушителей, так называемой, социалистической собственности. Он многократно прославлял «всемирно-историческое значение» постыдного декрета 7-го августа 1932 года, предусматривавшего концлагерь и смертную казнь даже для 12-летних за похищение и расхищение коллективного имущества.

Вышинский сам высмеивал нелепости, происходившие с применением прославленного им декрета. Нелепости бывали анекдотические, но для жертв — трагические. Удар камнем по колхозному поросенку суд признал «посягательством на общественную собственность», и виновный был присужден к концлагерю. Охранялась не только физическая неприкосновенность колхозных поросят, но и их «нервы». Вышинский рассказал, как один парень был осужден на 10 лет за то, что, — как говорится в приговоре, — «баловался в овине с девушками и тем причинил беспокойство колхозному поросенку».[7]) За

[6]) В увенчанной сталинской премией «Теории судебных доказательств», 1946 г., Вышинский говорит: «Оговор это опаснейшее орудие против правосудия» (210). Именно этим «орудием» он и орудовал, главным образом, на знаменитых процессах.

Его «монография» направлена, прежде всего, против былой юриспруденции — «орудия классового господства эксплоататоров» и проявления «идей, взглядов, миросозерцания буржуазных юристов» (80, 146). Это проделывается, однако, для того, чтобы в заключении заимствовать у тех же юристов-предшественников их теорию, понятия, даже терминологию, приставив к ним лишь украшающий эпитет — «советский». «Подлинно народное правосознание, как и подлинно свободное внутреннее судейское убеждение, возможно лишь в подлинно народной и свободной стране, где самое правосудие осуществляется свободно и независимо, в интересах народа и непосредственно самим народом» (133). И т. д.

[7]) «Революционная законность на современном этапе». — 1933 г. Стр. 102-103.

кражу «социалистических» колосьев приговаривали к 10 годам концлагеря стариков 60, 65, даже 66 лет.[8]) Приговор этот позднее отменили, но что пережили осужденные до отмены? А сколько подобных же приговоров не отменили?

Жестокость — одна из отличительных черт Вышинского, советского деятеля. Он открыто и цинично оправдывал массовые казни, доказывая, что нужды живущих сейчас людей должны быть безжалостно принесены в жертву мифу о золотом веке коммунизма в будущем. И доказывал это Вышинский, аргументируя правом и апеллируя к праву. В этом своеобразие этого апологета большевистской диктатуры. Те, кто привыкли связывать право с правдой и справедливостью, конечно, не могут не отдать предпочтения отрицающим право начисто, нигилистически, перед теми, кто право и правосудие только компрометируют, издеваясь над ним вовне и про себя.[9])

Вышинский приложил свою руку к юридическому оформлению, так называемой, сталинской конституции. Публично он не раз восторгался этим «солнцем, под которым живет советский народ». О подлинных же чувствах советского циника, выдающего себя за особую разновидность гуманистов — за «советского гуманиста», — дает представление мелкий эпизод, скрытый от посторонних взглядов, но удостоверяемый очевидцем. Конституция только появилась, как к сыну Вышин-

---

[8]) Там же, стр. 104.

[9]) Фразеология Вышинского ввела в заблуждение и некоторых юристов в эмиграции. Летом 1938 года — тотчас же после третьего показательного процесса большевиков, закончившегося казнями Рыкова, Бухарина и других, — Вышинский прочел пространный доклад на совещании советских юристов об «Основных задачах науки советского социалистического права». Этот доклад дал основание М. Я. Лазерсону утверждать пятью годами позже, что «положена надгробная плита над правовым нигилизмом в России»; «произошла реабилитация права»; «советский организм несомненно (!) переживает доброкачественное перерождение ткани»; «отныне ... нельзя больше легкомысленно передоверять творение и осуществление права государственному аппарату» и т. д.

Все это ни в какой мере не соответствовало советской действительности ни в 1938-ом году, ни в 1943 и 1945 годах, — когда об этом задним числом оповещал М. Лазерсон русскую и американскую аудиторию (см. «Новое Русское Слово» от 8.XI.43 и "Russia and the Western World", 1945).

скому пришел приятель, такой же подросток, в рваных брюках. Глядя на них, Вышинский-отец заметил с укоризной:

— Смотри, солнце сталинской конституции просвечивает сквозь твои драные штаны!..

Не только других презирает Вышинский, он и себе, конечно, знает подлинную цену.

*
**

Карьера Вышинского-дипломата — почти у всех в памяти, у многих на виду.

Вышинского сделали дипломатом не только потому, что он доказал умение скрывать свои мысли, по рецепту Талейрана, но и потому, что он обнаружил комбативность — на международной арене такую же, как «у себя дома», в советском суде над «бандитами и шпионами». Вышинский оказался таким же ценным техником советской дипломатии, каким был на посту советского судьи, прокурора, академика. И это неудивительно, если сравнить образование Вышинского с образованностью всех 14 членов правящего Политбюро: даже о Жданове нельзя сказать с уверенностью, получил ли он высшее образование и где. Вышинский же имеет законченное университетское образование и читал не только Маркса-Энгельса и Ленина-Сталина.

Дипломатическую выучку Вышинский прошел еще до вступления СССР в войну. В медовые месяцы Риббентропо-Молотовского соглашения Вышинский проделал в Латвии то же, что Жданов в Эстонии и Деканозов в Литве, т. е. «провел» плебисцит для легализации последующего включения Латвии в советский союз. Вышинский в Риге держался сравнительно скромно, изображая себя послушным исполнителем чужой — высшей, советской — воли. Уже тогда Вышинскому приходилось временами заменять Молотова и обращаться с просьбами к германскому послу фон-Шуленбургу, — например, 10 сентября 1940 года о допущении СССР на конференцию в Вене, где должен был обсуждаться Дунайский вопрос; просьба эта была отклонена. За то реванш был взят Вышинским у британского посла Крипса, настаивавшего на установлении более тесных отношений между Россией и Англией (пространный меморандум от 22 октября того же 1940 года): английское предложение было отвергнуто в резкой форме.

Вышинский принимал участие в обсуждении почти всех наиболее важных вопросов внешней политики СССР. Он уча-

ствовал, в качестве ближайшего помощника Молотова, в московской конференции в октябре 1943 года, с Корделем Холлом и Антони Идэном; в конференциях в Ялте и Потсдаме. С конца 1943 года и до марта 1944 Вышинский представлял советский союз в Совете по делам Италии, потом осуществлял высший надзор за политикой бывших германских сателлитов: Румынии, Венгрии, Болгарии. Он стоял, не только физически, за спиной маршала Жукова во время вторичной сдачи Германии советской армии в Карлхорсте. Во всех этих сложных положениях Вышинский проявлял умение и находчивость Он умел ладить не только с иностранными коммунистами, но и с королями — итальянским и румынским, поскольку они нужны были советской власти. Но он при случае умел и приказывать королям. По настоянию Вышинского был исключен из списка военных преступников бывший сторонник наци Татареску, чтобы быть включенным в состав правительства, одобренного Кремлем. Вышинский ставил и срок — не позже, чем через 2 часа и 5 минут для образования правительства. Румынский король Михаил признавался, что, настаивая на назначении премьером Петра Грозы, а не князя Стирбея, Вышинский так на него кричал, что король опасался, как бы Вышинский на него не набросился.

В последних числах декабря 1945 года Вышинский отправился в Бухарест вместе с бывшими послами в Москве — англичанином Керром и американцем Харимэном. Последний спросил Вышинского, сколько, по его мнению, получил бы голосов правительственный «фронт» в Румынии, поддерживаемый Москвой, еслибы выборы были совершенно правильными? Вышинский на минуту как бы призадумался: «Вы говорите совершенно правильные выборы?» — Харимэн кивнул головой. Вышинский вытянул свою правую руку и начал производить волнообразные движения, как пианист, касающийся первой и последней клавиши октавы. — «При совершенно правильных выборах — около 45 процентов. Но . . .», — при этом мизинец жестикулирующей руки заметно опустился, — «при некотором небольшом нажиме — 90 процентов» . . .

И в Румынии, и в Болгарии, смещая правительства и санкционируя террор, Вышинский творил, конечно, волю пославших его. Но творил он ее с убеждением и рвением, чтобы не сказать неистово и с азартом. О том, как Москва командовала Бухарестом и Софией, рассказали сами болгаре — Симон Георгиев, Стаянов и Югов, приглашенные Сталиным к обеду в Кремль 6-го января 1946 года. В их присутствии Сталин по-

звонил по телефону Вышинскому в Бухарест и поручил передать в Софию, что «Москва» находит нужным введение в состав болгарского правительства двух представителей оппозиции.

На международной авансцене Вышинский впервые появился открыто в январе 1946 года, как глава советской делегации, прибывшей в Лондон на генеральную ассамблею ОН. Когда перед ассамблеей предстал не взлохмаченный нигилист с кэпкой à la Ленин и не с трубкой в импровизированной военной куртке и высоких сапогах à la Сталин, а почтенный, седовласый и коренастый, краснощекий и упитанный джентльмэн, с несходящей с лица улыбкой, — Лондон был приятно изумлен. Зрелище было настолько неожиданно, что Вышинскому долгое время прощали все его грубости и личные выпады. Его наскоки объясняли дурными манерами непривыкшего к новой деятельности дипломата-новичка.

Вышинский с места в карьер усвоил в отношении окружающих роль и тон прокурора. Он стал обвинять Англию, Францию, Голландию в агрессивных намерениях и в том, что они препятствуют замирению Греции, Ирана, Сирии, Ливана, Индонезии. Он первый наложил вето на резолюцию, которую признал не на все сто процентов соответствующей советским взглядам. Свою жестокость он и не пытался как-нибудь смягчить или замаскировать. «Мы не хотим терпимости. Мы слишком дорого за нее заплатили», — заявил Вышинский в Лондоне. И в Нью-Йорке, в одном из многих своих свирепых выступлений против беженцев и перемещенных лиц, не попавших в советские руки, Вышинский не постеснялся предложить: «посадить в тюрьму для первого раза для того, чтобы повесить для второго» — тех, кто помогают беженцам и перемещенным лицам в германских и австрийских лагерях.

Вышинский нисколько не скрывает своего неуважения, презрения и ненависти к иностранцам — явным и скрытым, «потенциальным» фашистам, империалистам, поджигателям войны. Его «советский патриотизм» и «советский гуманизм», которые Вышинский не перестает постоянно подчеркивать, подсказывают и содержание его речей, и форму, стиль и тон его выступлений. Его обличения часто переходят в брань и поношение. Как и на поставленных им процессах в СССР, он клеймит и поносит не только тех, кого считает себя в праве осудить, но и свидетелей. В заседании ОН 20 октября Вышинский опять и опять обрушился на былую балканскую комиссию, установившую акт агрессии со стороны Югославии, Болгарии и Албании на основании многих свидетельских по-

казаний. И снова он назвал этих свидетелей «бесчестными, аморальными, провокаторами, уголовными и просто несчастными жертвами правительственного террора» (в Греции). Вышинский и другие коммунистические ораторы приучили членов ОН и не к таким еще выражениям. Сотрудник «Нью Иорк Таймз», поэтому, особо отметил на следующий день в отчете, что «по сравнению с другими выступлениями советского союза Вышинский (на сей раз) был относительно мягок».

Когда Вышинский вернулся из Лондона, тогдашний английский посол в Москве Кларк Керр спросил его, что в Лондоне поразило его больше всего? Советский дипломат ответил: — «Элегантные лошади в Хайд-Парке и дисциплина людей, даже собак, когда они переходят улицы». Здесь была и едкость, и подлинное восхищение: обращение людей в дисциплинированных животных было и затаенной мечтой Шигалева.

И в Лондоне, и в Нью-Йорке оппоненты Вышинского долго не переходили в контр-атаку, ограничиваясь самообороной. Блеск русских побед и признательность продолжали жить в сердцах былых союзников по оружию. Вышинский — правда, не один, — сделал все, что было в его силах, чтобы вытеснить эти чувства и заместить их другими: раздражением и отталкиванием, к сожалению не только от советских заправил и дипломатов, но часто от России и русских. Вышинский немало способствовал тому, что против советской Москвы оказывались восстановлены все — даже те, кто недавно прилагали активные усилия, чтобы добиться ее дружбы. Обследование путем выборочных опросов показало, что с 1 июля 1945 года по 1 июля 1947 года, за **2** года просвещенной деятельности Вышинского и Ко., число американцев, видевших в советском союзе миролюбивое государство, понизилось: с 38,6 до 12,6%, и, обратно, — число тех, кто считает СССР агрессивным, поднялось с 37,8 до 65%.

Как оратор Вышинский не блещет красноречием — он многоречив и велеречив. Говорит громко и ясно, не заикаясь как Молотов, и литературным языком, не как бесподобный Громыко. Он способен говорить часами и безостановочно на разные темы, повторяя в положительной форме то, что он только что выразил в отрицательной и обратно. Зачастую он нестерпимо вульгарен: прибегает к прямым грубостям и личным выпадам или инсинуациям. Его образы и сравнения избиты и ходульны. Все те же: «Юпитер, ты сердишься, значит, ты неправ»; «В доме повешенного не говорят о веревке»; «Мели, Емеля, твоя неделя», «Кот Васька слушает да ест» и т. п.

Словесный его запас очень ограничен. Но он владеет диалектикой, находчив и бывает временами саркастичен. Аргументация, как правило, идет от «священного писания» — Маркса-Энгельса, Ленина-Сталина, особенно от Сталина. На собрании в Мэдисон сквере 2 декабря 1946 года, произнося митинговую речь с бумажкой в руках, Вышинский 16 раз помянул «великого» и «гениального». И по заслугам, конечно: Вышинский возвышен сталинской милостью и светит сталинским светом.

Вышинский знает свое место в советской иерархии. Продвигаясь вперед, он не лезет на самую верхушку. Рядом с Молотовым, он умышленно отступает на второй план, подчеркивая свою подчиненную роль — советника, эксперта, временного заместителя. Это не мешает ему сознавать свое превосходство над теми, кто поставлен выше него.

На одном из обедов во время потсдамской конференции соседом Вышинского оказался иностранец, говорящий по-русски. Вышинский коснулся излюбленной своей темы о советском праве и советском судопроизводстве. Это логически привело к советским показательным процессам. Вышинский разгорячился и стал откровенничать. Он сказал, что знает — заграницей его считают мясником, пославшим на смерть тысячи людей. «Но чего Вы не представляете себе», прибавил он, «это то, что в действительности я спас много тысяч жизней». «Они», подчеркнул Вышинский, «нашли разветвления заговора, вовлекавшие тысячи за тысячами — гораздо больше того, с чем советская юстиция и палачи могли справиться. Надобно было таким образом провести где-либо линию» ... Вышинский ее провел и счел себя спасителем людских жизней от тех, кому техника помешала — не хватило палачей и судей ... Со всей серьезностью и, как показалось собеседнику, с полной искренностью Вышинский закончил разговор: — «Вы видите таким образом, я вовсе не такой скверный парень ... ».

Если и Дзержинский, в конце концов, оказался «золотым сердцем», почему не быть им и Вышинскому?

Общественное мнение вряд ли разделит и это мнение Вышинского. Он был более прав, когда в докладе, прочитанном в собрании французских юристов в Париже в мае 1946 года, поведал, что советский «обвинитель тоже диктатор» и что «поскольку диктатура действует именем народа во благо отечества, она священна. В России наш режим — диктаториальная демократия, вариант 20-го века того, что обыкновенно называли

просвещенным деспотизмом» ... Это уже гораздо ближе к истине.

К своей небывалой карьере в царстве просвещенного абсолютизма 20-го века прокурор-диктатор взошел по трупам замученных и опозоренных им жертв. И в окружении трупов сохранится в памяти России образ Вышинского-Шигалева. Сколь ни отталкивающа личность Вышинского, ей суждено остаться в истории СССР и, тем самым, России. Он сыграл первенствующую роль в оформлении былой хаотической — если хотите, романтической — советской государственности эпохи Ленина, когда она превратилась в жестокое, бездушное, бюрократически-полицейское государство сталинских пятилеток. Можно не переоценивать обрамление легальной процедурой фактического произвола и насилия. Можно даже предпочитать откровенный цинизм лицемерию, прикрывающемуся словами о праве и справедливости. Это не отменяет значения, которое имело в истории новейшей России оформление новейшей «аракчеевщины» в юридические нормы.

Марк Вишняк.

В ДОМЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ Н. К. В. Д.*)

13. ТЮРЕМНЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Шел четвертый месяц, как я сидел в одиночке. Я не понимал, что со мной будет дальше. Неясность положения была еще и в том, что я не знал точно того, что я подписал в подвале. Поэтому я ждал и новых допросов и, может быть, расстрела по постановлению тройки.

Когда ночью заныл засов моей камеры, я с нервной дрожью поднялся с койки. «Неужели опять пытки?» — думал я.

— С вещами! — крикнул энкаведист.

«Вещей» у меня никаких не было. Я вышел за энкаведистом: куда поведут? Из здания ДПЗ мы вышли и вошли в здание милиции. Пошли по длинному тюремному корридору. Наконец, конвойный остановился у како-то двери и отпер ее, проговорив: — «влазь сюда!»

Я шагнул в камеру. Камера была набита людьми до отказу. Сколько в ней было человек? Вероятно, человек до пятидесяти. У двери стоял небольшой стол, на который я натолкнулся в полутемноте. Это стол — для дележа хлеба. Единственное окно камеры выходило в темный корридор, где горела слабая электрическая лампа. Дневного света заключенные этой камеры не знали. Вид заключенных был ужасен. Все в лохмотьях, как и я, ибо от избиений, от спанья на полу, от сиденья в мокрых карцерах одежда изорвалась, извалялась. От голода вид у всех изможденный, лица желто-зеленые, одутловатые, глаза потухшие. Заключенные сидели, лежали, стояли. Что было тут счастьем для меня — можно было вполголоса разговаривать.

На утро, после «подъема», познакомившись с этой общей камерой, я был поражен ее «международным» составом. Это был, поистине, тюремный интернационал! Кого тут только не

*) См. книгу 16 «Нового Журнала».

было! Многих я уже теперь забыл, они как тени ушли из моей памяти, но всех, кого помню, постараюсь перечислить.

Здесь сидел болгарин доктор Милорадович, несколько поляков, греков, болгар, немцев, венгров, молодой атлетически-сложенный комсомолец, чех из-под Пильзена, костистый матрос-румын, старый еврей, бывший банковский служащий, галичанин лет 30-ти Саварин, о котором меня сразу же предупредили, что это провокатор.

Со многими из заключенных я сдружился. В большинстве своем это были хорошие и ни в чем, конечно, невиновные люди, но обреченные на уничтожение и поэтому обвинявшиеся в самых фантастических преступлениях. Был здесь морской механик Шарай, человек большой воли и спокойствия. Этим спокойствием он удивлял всех заключенных. Противоположностью ему был тоже очень приятный, но крайне нервный высокий худой брюнет с маленькими усиками и всегда немного смеющимися карими глазами, коммунист Готгольд. Сын известного на Кавказе революционера, Готгольд был глубоко культурным человеком. Его преступление перед советской властью состояло в том, что он хорошо знал Западную Европу и долго жил в Париже. Часто Готгольд полушепотом рассказывал нам о Париже, который он очень любил. Из Европы в СССР Готгольд вернулся, ибо хотел жить и работать «в стране победившего пролетариата». Но здесь из-за своей прямоты он чрезычайно быстро попал в немилость и вскоре НКВД квалифицировало его как «шпиона», бросив в тюрьму. Готгольд понимал, что из ДПЗ ему не вырваться, что он будет уничтожен, но к своему уничтожению относился стойко. В этом же порядке тут уничтожался и простой слесарь Дьябольт, по виду скромный и дельный рабочий, арестованный где-то под Пятигорском, и коммунист-венгр Холлаш, провинившийся перед партией своей оппозиционностью. Были тут и другие уничтожаемые: за польское происхождение уничтожался очень культурный адвокат Браиловский, преступление которого в глазах НКВД было чрезвычайно: он был женат на дочери генерала Желиговского. В общей камере Браиловский очень страдал. У него гноилось израненное лицо. Его на допросах Левин избивал по лицу стопой бумаги и эти порезы здесь в грязной камере нарывали. Сидело тут довольно много армян, два кубанских казака, Солнышкин и Кучеров, оба крепкие домовитые люди, лет за пятьдесят каждому. В камере Кучеров подружился с Готгольдом и иногда подсмеивался над этим интеллигентом-коммунистом: «Ну, я то у них за дело сижу, я в белой армии их тоже по

степям гонял. А вот ты, коммунист, за что сидишь?» И казак улыбался в отросшие рыжеватые усы, глядя на нервного Готгольда.

Здесь же сидел рабочий Озеров, который не выдержав «допросов» у Безрукова, подписал двадцать чистых листов бумаги, на которых НКВД должно было составить обвинения против него. Сидел здесь молодой комсомолец Польников, плечистый крепыш, еще год тому назад занимавший какую-то большую должность, а теперь невероятно измученный пытками, но несдававшийся на допросах. Он сидел в углу камеры вместе с известным директором кисловодского курорта Полис и красивым молчаливым интеллигентным юношей греком Отмочиди, тяжким преступлением которого было то, что он жил в России будучи греческого происхождения.

Некоторые из заключенных вызывали юмористическое недоумение. Так, у двери лежал 86-летний неграмотный старик, сторож керосинового бака, которого НКВД обвиняло в «организации восстания на Северном Кавказе». Это, конечно, была очевидная нелепость. Но у НКВД своя логика и стало-быть для чего-то им это было нужно. Этот старик все время лежал, стоять он не мог потому, что следователи на «допросах» каблуками сапог раздробили ему на ногах пальцы.

Я пытался расспрашивать старика о его «деле», но он только качал головой, тихо шепча:

— Говорят, что гарнизатор восстания . . .

Еще большим «палаческим юмором» веяло от «дела» торговца перса. Этот перс с тупым страхом рассказывал, что следователи обвиняют его в том, что он «шах персидский».

— Я им говорю, какой же я «шах», раз меня в Железноводске все знают. А они смеются; мы говорят, знаем, что ты шах персидский, только скрываешь.

Конечно, допрос о «шахе персидском» энкаведисты вели просто для своей ночной садистской забавы, для издевательства и совершенного «подавления психики» этого несчастного человека, которому готовилось уничтожение в одном из концлагерей СССР.

В особо тяжелом состоянии лежал на полу князь Чавчавадзе. Это был почти уже смертник. С ним на допросах следователи делали что-то невероятное в смысле истязаний. И этот благородный и милый человек умирал. Но своей смертью умереть все-таки ему не дали. Его застрелили в подвале. А на его место в тот же день в камеру втолкнули старичка-священника Прокоповича, единственного священника кладбищенской

церкви во всем Кисловодске.Этот ветхий батюшка за революцию уже несколько раз побывал и в тюрьмах и в ссылках, и сейчас в четырнадцатый раз был арестован вместе со всем причтом: диаконом, церковным старостой и псаломщиком. После первого же «допроса» священник Прокопович вернулся страшно бледный, качаясь вошел в камеру и сидел, ни на кого не глядя и не говоря ни слова. По его виду заключенные понимали, каков был этот допрос. Сидел здесь еще седовласый горный инженер, человек очень культурный, у которого от допросов были раздавлены пальцы на руках. Следователь Гурджиев дверью давил ему пальцы. А преступление его состояло в том, что где-то у знакомых инженер охарактеризовал существующий в СССР строй, как государственный капитализм. О, это одно из страшнейших преступлений в Советской России. За такое определение государственного строя, в СССР людей стирают в порошок, ибо пуще огня власть боится просачивания в широкие массы такого понимания сталинизма. Инженер с раздавленными пальцами ждал дальнейших допросов, его дело было не кончено и он не строил себе иллюзий, что скоро будет уничтожен, но держался мужественно.

От него я узнал о судьбе знаменитого советского конструктора самолетов и изобретателя многих видов оружия для Красной Армии, всем известного не только в СССР, но и заграницей А. Н. Тополева. Своими изобретениями (его инициалами «АНТ» назывались советские самолеты) Туполев оказал стране такие услуги, которые были буквально неоценимы, и потому Кремль помимо разных орденов наградил Туполева разрешением иметь в Госбанке «открытый счет». То-есть Туполев мог брать из Госбанка столько денег, сколько хотел. Хочет взять миллион — может взять. Теоретически Туполев мог разорить весь СССР, выписав себе чек на всю наличность госбанка. О Туполеве можно сказать, что это был самый знатный человек из беспартийных спецов. И вдруг в 1938 году в разгар ежовщины ночью в квартиру Туполева раздается стук. Удивленный Туполев, подойдя к двери, спрашивает: «Кто тут?» Незнакомый голос отвечает: «Откройте, НКВД». Конечно, этому поверить знаменитый Туполев не мог. Он подумал, что это бандиты, бросился к своему прямому проводу в НКВД сказать, что к нему ломятся бандиты и просить немедленно прислать отряд энкаведистов. В ответ попросили подождать «минутку». И через «минутку» сказали, что это не бандиты, а действительно НКВД и что надо их впустить. Туполев пришел в ярость. Он отказался отпереть дверь. Энкаведисты стали ее взламывать.

Поднялся шум, переполох во всем доме. А когда энкаведисты ворвались, Туполев оказал им отчаянное сопротивление. Туполева связали и выволокли из квартиры. Туполев исчез в НКВД. Ежов пришил ему какое-то обвинение.

В этой низкой камере, набитой свыше божеской меры, жара стояла такая, что многие задыхались и сняв рубашки сидели голыми. От стоявшей в углу «параши» шла ужасающая вонь. И всетаки после одиночки эта общая камера показалась мне раем. Во-первых, тут я с людьми, во-вторых, хоть полушепотом, но я могу говорить. К тому же жизнь камеры не ограничивалась четырьмя стенами. Благодаря пятиминутным прогулкам мы знали о жизни и соседних камер. Так, я вскоре же узнал, что в соседней камере сидит какая-то француженка Марго, как ее называл и весь ДПЗ. А в камере напротив нас среди заключенных есть беременная женщина. Я видел ее раз на прогулке. И когда ночью из этой камеры неслись дикие крики «Изверги! Изверги!», лежавший со мной рядом Браиловский прошептал мне, что это кричит беременная, что ее уже несколько раз прямо в камере избивал сам начальник НКВД Саламов. Видел я заключенного, сидевшего вместе со своим четырехлетним сынишкой. Он вместе с ним выходил на прогулки и мы столкнулись с ним на тюремном дворе. Близко от себя я увидел этого худенького маленького мальчика, что-то лепетавшего отцу, ведшему его за руку. Я многое видел и многое пережил в ДПЗ, что поднимало в душе незабываемую ненависть к коммунистам. Но вид этого заключенного четырехлетнего ребенка меня потряс. Вот он до чего дошел коммунизм, осчастливевший человечество! Дети в тюрьмах — когда, в какие времена и где это было?

14. В ДПЗ НОЧЬЮ

Изредка в камеру входил помощник начальника НКВД Безруков. Его хорошо знала вся камера: именно он пытал каждого. Дисциплина в ДПЗ железная. При его приходе староста камеры Шарай должен был вскочить и как бешеный закричать: «Встать, смирно!» И все оборванные, похожие на полутрупы, заключенные должны были по военному замирать «смирно». А когда однажды Шарай не успел во-время подать команду, Безруков оставил всю камеру без прогулки на двое суток. А надо знать, что такое быть в этой смрадной камере без прогулок.

Часто по ночам наша камера, как и весь ДПЗ, просыпалась

от криков, несшихся из корридоров и из камер, и до рассвета не могла уже спать: кого-то волокли не то на допрос, не то на смерть и эти животные крики потрясали всех. Каждый знал, что, может-быть, завтра так-же поволокут и его. Один из моих соседей рассказал мне, что незадолго до моего прихода, у нас в камере, ожидая вызова на вторичный допрос, задушился тряпкой старый профессор. Раз, ночью наша камера проснулась от несшегося из соседней камеры какого-то жуткого пения. Сильным драматическим тенором кто-то пел какие-то обрывки из оперных арий, потом начали доноситься ужасные крики: «...чего душишь, о-о-о, чего душишь?!..» и будто кто-то захлебывался, кого-то будто душили и избивали.

Давно сидевший в тюрьме седой инженер объяснил мне это пение тем, что некоторым упорствующим из заключенных энкаведисты подсыпают в пищу наркотики, от которых заключенный впадает в состояние некоего полусумасшествия, становясь «как блаженный». Вероятно и тенору что-то подсыпали, доведя его до «блаженного» состояния, а потом применили и методы «грубого воздействия».

15. НАЧАЛЬНИК НКВД САЛАМОВ

Начальником НКВД в Кисловодске был капитан войск Государственной Безопасности Саламов — гроза тюрьмы. По виду это был типичный чекист. Лоб в два пальца, толстый, ожиревший, с узкими бегающими глазами, во всех своих жестах необыкновенно брутальный. Украшенный орденом Красной Звезды (орден, главным образом, чекистский), Саламов ходил по тюрьме, как самодержец. Всю отвратительность фигуры этого вельможи-убийцы особенно подчеркивало то, что Саламов всегда распространял по ДПЗ запах «самых шикарных» советских духов «Красная Москва». А сопровождала его всегда личная секретарша, по последней европейской моде одетая красавица с наманикюренными руками и накрашенными красным лаком ногтями. Этот надушенный палач в орденах и секретарша с лакированными ногтями вызывали у заключенных ужас.

При появлении в камере Саламова все еле державшиеся на ногах заключенные вскакивали и вытягивались, как требовалось «по уставу». Жестким взглядом заплывших глаз Саламов медленно осматривал заключенных. Некоторым повелительно бросал: «Как фамилия?» И дальше обычно следовал поток самых извощичьих ругательств.

Так, однажды Саламов обратился к стоявшему рядом со

мной атлетически-сложенному чеху-комсомольцу. Чех назвал свою фамилию. Саламов долго исподлобья рассматривал его. И вдруг на его звериное лицо выплыла какая-то даже непохожая на людскую улыбка. И с цинизмом, который нельзя передать, энкаведистский вельможа проговорил:

— Это ты приехал к нам за «счастливой жизнью?» Ну, постой, я тебе ее покажу . . .

В этой фразе была страшная угроза. И в ту же ночь, после отбоя, часовой увел чеха на допрос. Судьба этого двадцатилетнего подпольного комсомольца из-под Пильзена была страшной. Несколько лет тому назад, искренно поверив в советский рай, он приехал в СССР. А здесь с ним произошла обычная для всякого идейного и честного человека история. Столкнувшись с практикой пролетарского рая, юноша мгновенно в нем разочаровался. Но был неосторожен. Не скрыв своего разочарования, захотел вернуться назад в «прогнившую Европу». Но из сталинского рая назад пути нет. Молодой идеалист был схвачен НКВД. Что ему «пришили»? Конечно, шпионаж в пользу фашизма. И начались его странствования по ДПЗ, допросы, пытки, чтоб вырвать подпись под фантастическими обвинениями. Уже три года, как он был пленником НКВД. Но несмотря ни на что этот атлет и необычайно волевой человек держался, отказываясь подписать измышления следователей.

С допроса в шестом часу утра чех вернулся в камеру в чудовищном состоянии. Его били, как и меня, всю ночь, у него было разбито лицо, на одежде повсюду просачивались кровавые пятна. На него было страшно смотреть. Он не говорил ни слова. И только своему соседу прошептал, что не подписал. На следующую ночь его взяли снова. В нашу камеру он уж не возвратился. Но его история — шепотом — обошла всю тюрьму.

Не одну ночь Саламов, Безруков и все следователи показывали чеху «счастливую жизнь», заставляя подписать составленный ими обвинительный акт. Несмотря на все пытки, чех отказывался. Тогда его раздели голым и бросили в холодный карцер. В этом карцере, чтобы покончить с собой, чех вывинтил и съел электрическую лампочку. Часовой заметил в карцере темноту и нашел корчащегося на полу чеха. Тут же было доложено по начальству. Саламов пришел в бешенство от этой попытки чеха уйти от его допросов столь незаконным образом. К тому же съесть «социалистическую собственность»! Это жестоко карается уголовным кодексом СССР. Чеху сделали промывание желудка. И после этого Саламов его избил так, что

несколько дней чех лежал без сознания. Спустя некоторое время мне удалось увидеть его на прогулке. Чех был неузнаваем, это был уже не человек, а изуродованный кусок мяса. Он еле двигался. И вскоре исчез. Его убили.

В этой камере от одного казака я услышал рассказ о гремевшем своей жестокостью на весь Северный Кавказ ставропольском следователе Перерве. Изощренных пыток Перервы не выдерживали даже самые сильные из заключенных. О Перерве ходили легенды. И особо стойких, упорствующих заключенных НКВД часто отправляло к нему в Ставрополь. Один из приятелей этого раскулаченного казака рассказывал ему, что когда его, как исключительно упорного, привели в Ставрополь и ввели в кабинет Перервы, тот уставившись на казака спросил: «Знаешь, кто я? Я Перерва! Садись и пиши все, что я тебе скажу, а не то из тебя котлету сделаю! Понял?» И в течение месяцев сопротивлявшийся на допросах казак от одного вида Перервы сел и написал все, что требовалось.

От другого заключенного, бывшего беспризорного, теперь обвинявшегося по политическому делу, я таким же полушепотом услышал рассказ о том, что в СССР под Москвой и Ленинградом имеются очень засекреченные специальные школы НКВД для несовершеннолетних, которые комплектуются, главным образом, беспризорными детьми. В этих школах детей обучает хорошо подобранный ряд самых серьезных преподавателей, как по общим наукам, так и по НКВД-истским специальностям, готовя (смотря по склонностям) из этих детей сыщиков, шпионов, следователей НКВД, секретных агентов для заграницы, сексотов для внутренней жизни страны и т. п. Вообще, как с уголовным миром беспризорных детей (беспризорный считается до 18 лет), так и с взрослыми уголовниками у НКВД — самая тесная кооперация. Сплошь и рядом НКВД вербует из уголовников своих агентов, ставя перед ними вопрос ребром: или «шлепка» или «посучиться». И нередко такие «посученные» поднимаются до высоких постов НКВД. На жаргоне НКВД красочные выражения — «посучиться», «посученный» означают: «завербовать», «завербованный». Страшными услугами уголовников НКВД пользуется и в тюрьме. Несдающихся им заключенных энкаведисты нередко бросают в камеру уголовников. И там уголовники, зная уже для чего бросили им «контрика», поиздевавшись над ним, срывают с него одежду и самым зверским образом начинают его избивать до тех пор, пока «не сознается».

Этот же заключенный, попавшийся на фальшивом пас-

порте, тем же полушепотом открыл мне один из секретов советских паспортов. Оказывается, эти паспорта, без которых человек в СССР не может сделать буквально ни шагу, для каждой области имеют свои особые водяные знаки, известные только чинам НКВД. Таким образом этот человек, сфабриковавший себе прекрасный паспорт, был уличен только потому, что на нем оказались не те водяные знаки.

16. ОСОБЕННОСТИ ДПЗ

В страшной машине НКВД, держащей двести миллионов человек в состоянии полного рабского повиновения и совершенно неописуемого страха, все расчитано каким-то дьяволом. В основу этой системы лег опыт дореволюционных тюрем, но в еще гораздо большей степени и опыт революционного подполья, благо первые создатели советского террора хорошо знали «с другой стороны баррикады» психологию заключенного. На свете нет тюрем жесточе, бесчеловечнее и страшнее, чем тюрьмы «самой демократической в мире страны». Человек не сидевший в ДПЗ никогда не поймет, что из себя представляют эти тюрьмы, ибо это тюрьмы особые, непохожие ни на какие другие. В ДПЗ нет даже той минимальной свободы, которая существует во всех тюрьмах. В ДПЗ нет никаких передач. С того дня, как вы арестованы, вы отрезаны от всего мира. Книги? Строжайше запрещены. Письма? Строжайше запрещены. Как я уже говорил, в одиночной камере вы не имеете даже права ходить. А в общей камере меж заключенными нет свободы общения потому, что во все общие камеры НКВД подбрасывает своих провокаторов. И еще потому, что даже в тюрьме заключенные коммунисты организованы в свою тюремную «ячейку», которая «руководит» жизнью камеры. И вы невольно должны остерегаться, как возможных провокаторов, так и многих из коммунистов. Вот почему в общей камере ДПЗ никогда не может быть осуждения во всеуслышание тюремных порядков (не говоря уж об осуждении советской власти!), вот почему даже тут откровенны вы можете быть только с немногими, кому вы целиком доверяете, ибо если вы с своей откровенностью налетите на провокатора и он на вас донесет, то вам тут же пришьют новое, так называемое «камерное дело»; оно будет называться — «агитация против советской власти».

Во всем своем быту ни одна тюрьма в мире, вероятно, не поставлена на такую военную ногу, как ДПЗ. В этом смысле ДПЗ равны только застенкам Гитлера. Когда, например, перед

отбоем входит дежурный энкаведист и староста камеры рапортует ему о том, что «в камере все обстоит благополучно», все заключенные должны стоять «смирно», а когда дежурный, выходя из камеры, бросает обычное «Покойной ночи!» заключенные «бодрым и дружным хором» должны ответить: «Взаимно!» Это одно из придуманных издевательств, ибо палач (если он в эту ночь не пытает) уходит спать в квартиру, обставленную по последнему слову комфорта, а в общей камере среди заключенных начинается горячее и нередко переходящее в скандал и драку обсуждение: кому и как ложиться на голом, грязном полу, ибо на площади в пятьдесят квадратных метров трудно улечься ста человекам. Поэтому, под руководством старосты начинается искусный подбор людей по росту и по комплекции так, чтобы все могли улечься.

В общей камере ДПЗ даже куренье зависит от администрации тюрьмы. Иногда дают возможность приобрести табак, иногда нет. Я, например, сделав себе трубку из хлеба, сначала курил все, что можно, а потом, когда куренье было запрещено, отламывал от трубки куски этого прокопченого хлеба и жевал его. А из нужды в спичках мы ухитрялись делить одну спичку на восемь частей. Вот к какой искусной экономии приучает своих граждан советская тюрьма!

В воспоминаниях политических заключенных в дореволюционных тюрьмах вы нередко найдете описание «тюремных игр» в общих камерах. Зато в коммунистических тюрьмах всякие игры строжайше запрещены. За попытку «игры» каждому заключенному избиения и карцер обеспечены. Запрещена даже классическая тюремная игра в шашки, сделанные из хлеба. Но у нас в камере люди все-таки играли в одну единственную игру: когда на камеру давали коробку спичек, то кто-нибудь рассыпал спички кучкой на полу, а другие поочереди одной спичкой разбирали эту спичечную кучку, словно играя в бирюльки, так, чтобы снимая по одной не двинуть других. Если в это время входил энкаведист, ему обычно говорили, что «делим спички».

Во всех советских тюрьмах заключенные всегда являют собой вид совершенных оборванцев. Избивая заключенных, энкаведисты рвут их одежду, а починить ее заключенные не могут. Правда, иглу дают, но только на час и по прошествии часа староста обязан возвратить иглу дежурному энкаведисту. Ниток же не дают вовсе, этот продукт в СССР всегда дефицитный. Поэтому, чтобы как-нибудь починить свою одежду, заключенные распускают свои носки или дергают нитки из своей же

рваной одежды. А игла? В камере у нас жила «конспиративная игла», которую вся камера прятала в условную щель. Эту иглу берегли все, как зеницу ока, ибо без нее никто ничего бы не мог зашить. Мне говорили, что конспиративная игла в камере жила уже много лет.

Особенность ДПЗ состоит еще и в том, что в этих тюрьмах заключенным то и дело делают какие-то прививки. В кисловодском ДПЗ мне делали прививки четыре раза. Что это за прививки? Все заключенные уверены, что они являются «кроликами» для каких-то «медицинских опытов» НКВД. На измученный организм заключенных эти прививки действуют чрезвычайно сильно. После первой прививки я лежал четыре дня без сознания и был уверен, что я умираю. Смертные случаи от прививок бывали часты.

Вряд ли в какой-нибудь другой тюрьме заключенные находятся в таких антисанитарных условиях. Достаточно сказать, что низкая камера битком набита грязными телами людей, среди которых всегда много туберкулезных, которые нередко тут же и умирают. Обычно в углу камеры стоит ужасающая зловонная «параша». А по утрам всех заключенных энкаведисты выгоняют в уборную — небольшую комнату с цементным полом. Тут все, вплотную друг к другу, садятся отправлять свои потребности на полу. И потом заключенные же смывают все водой из шланга. На людей, привыкших к культурной жизни, все эти обычаи действуют крайне тягостно.

17. В ИЗОЛЯТОРЕ

В январе 1939 года, не знаю как и откуда, но в нашу общую камеру стали проникать сведения, что скоро всех нас погонят в концлагер на строительство Самарской Луки. И, действительно, вскоре по ночам из камеры стали вызывать заключенных, которые к нам уже не возвращались. От пришедших новых заключенных мы узнали, что взятых от нас увезли в Пятигорскую тюрьму.

Ночью в феврале 1939 года выводной Маркин, единственный, кажется, более или менее похожий на человека энкаведист, вызвал из камеры меня и бывшего члена торговой советской миссии в Берлине, Владимирова.

На улице я увидел, что она с двух сторон перерезана солдатами НКВД. Возле тюрьмы стоял грузовик. Под сильной охраной нас повели к нему, при чем надо сказать, что я шел с тру-

дом, а Владимиров и вовсе еле двигался от недавно перенесенных им избиений у Безрукова. И все же нас полуинвалидов охраняла добрая дюжина до зубов вооруженных энкаведистов.

Было холодно. Никакой теплой одежды нам не дали. В рваных пиджаках, среди тепло и хорошо одетых энкаведистов, мы дрожали от холода на грузовике, мчавшем нас из Кисловодска в Пятигорск.

На окраине Пятигорска у тюрьмы грузовик остановился. Нас ввели в большие тюремные ворота. Первое, что с нами проделали, это, конечно, обыск. Несмотря на то, что нас обыскивали уже не раз, нас снова раздели и тщательно обыскали. Потом нас повели, но не в камеру, а в изумительное учреждение советской тюрьмы — в так называемый «изолятор».

Этот «изолятор» представлял собой очень небольшую комнату в первом этаже тюрьмы. Цель его — перед помещением заключенных в общую тюремную камеру испытать их здоровье: годны ли они еще для социалистического строительства? Если годны, если первые круги ада еще не убили их здоровья, то заключенных из «изолятора» перебрасывали в общую камеру, а если оказывалось, что заключенные изолятора не выдерживают, то их перебрасывают в так называемую «больницу», то-есть, на быстрое умирание от голода.

Обычно в «изоляторе» заключенных держат семь дней. Когда меня и Владимирова посадили в «изолятор», он был еще не полон. Но в тот же день его набили людьми совершенно до отказу. На каждый квадратный метр приходилось три-четыре человека. Так что общей массой заключенных я был совершенно прижат к окну. Счастье мое было в том, что в окно мне были видны две березки, росшие внутри каменной тюремной ограды. Это развлекало меня и давало какие-то душевные силы переносить «изолятор».

В «изоляторе» людей обычно кормят плохо и дают раз в день трехминутную прогулку. В этой общей «парилке» Владимиров простоял только три дня, на четвертый его вытащили в «больницу». Я, конечно, тоже семи дней не выдержал бы. Но на мое счастье рядом со мной оказался какой-то удивительно симпатичный, только что арестованный летчик. У него с собой был белый хлеб. И он сам стоя семь дней на ногах, устроил мне у окна полусидячее место и все эти дни кормил меня своим хлебом. Только благодаря ему я и попал из «изолятора» не в «больницу», а опять в общую камеру.

18. В ПЯТИГОРСКОЙ ТЮРЬМЕ

Общая камера знаменитой на Северном Кавказе пятигорской тюрьмы была так же набита людьми, как и кисловодский ДПЗ. Камера представляла собой комнату, примерно, восемь на десять метров. Когда меня туда втолкнули, я был 87-мым. Заключенные по виду те же: в лохмотьях, изможденные, с одутловато-синими лицами и угасшими глазами. Посреди этой большой камеры заключенные оставляли «тропинку», по которой ходили, чтобы размять ноги. Воздух в камере был так же удушлив, несмотря на круглый год открытое окно. В углу стояла такая же вместительная «параша».

Первым с кем я «познакомился» был мой ближайший сосед — Перелыгин. В дореволюционном прошлом провинциальный актер, а в недавнем — директор Ессентукского курорта, одного из самых больших в СССР. Рядом с Перелыгиным сидел инженер со станции Минеральные Воды, у которого тряслись руки и голова, ибо при аресте ему проломили череп и повредили позвоночник. История этого инженера довольно характерна для судьбы «беспартийного спеца», и ее стоит рассказать. Это был крупный специалист. Работая на станции Минеральные Воды, он заметил хищения местного начальника НКВД и попробовал запротестовать. С его стороны это могло показаться неразумным. Но инженер запротестовал вовсе не из-за заповеди «не укради», а потому, что понял, что вина за эти хищения начальником НКВД будет перекинута на него, как вредителя. На его протесты начальник НКВД ответил тем, что в ту же ночь схватил инженера, обещая доказать ему, кто из них «вор и вредитель». При аресте инженера избили, проломив ему голову и повредив позвоночник. И вот уже полтора года он сидел в пятигорской тюрьме без предъявления ему каких бы то ни было обвинений. Его просто «забыли в тюрьме», что в советских тюрьмах бывает нередким явлением.

Очень скоро я узнал почти всех сотоварищей по камере. В ожидании отправки на строительство Самарской Луки сюда были согнаны заключенные из многих ДПЗ Северного Кавказа. И тут большинство было «люди иностранного происхождения». Попробую перечислить всех, кого мне сохранила память. Тут умирал от туберкулеза грек Фиоф, рядом с ним лежал перс, в прошлом бывший красным партизаном, и другой грек, дегустатор из совхоза «Абрау Дюрсо», было тут несколько венгерцев, два поляка, был чистокровный англичанин, очень плохо говоривший по-русски, все время возмущавшийся тем, что ему

не дают возможности снестись с английским консулом (увы, этой возможности он так и не получил, англичанин исчез после одного из «допросов»). Был здесь какой-то красный командир времен гражданской войны, участник боев под Перекопом; был пожилой доктор-ветеринар из Ессентуков, на редкость милый и хороший человек; был молодой евангелист, было несколько евреев-ремесленников, несколько калмыков, черкесов, грузин, несколько немцев-колонистов и среди них был человек совершенно непонятной национальности, говоривший по-русски всего несколько слов. Все называли его «африканец». Это, вероятно, и был какой-нибудь абиссинец-коммунист, пожелавший тоже убедиться в счастливой жизни трудящихся в СССР. Очень красочен был финн, отличавшийся от всех тем, что в этой переполненной камере он жил как отрезанный, ни с кем не вступая в разговор. Финн был яркий блондин лет пятидесяти, необыкновенно исхудавший. Судя по всему, это был человек исключительной воли, но какая-то «таинственная фигура». Здесь же сидел местный старичек-священник, последний в Пятигорске, арестованный «за церковную агитацию». На первом же допросе для издевательства энкаведисты стали этого священника стричь. Старик оказывал им отчаянное сопротивление и, издеваясь над ним, энкаведисты отстригли священнику полбороды и в таком виде отпустили. Таким он и был в камере, с полбородой. Он был настолько уже слаб, от старости и от тюрьмы, что в общей тесноте не был в состоянии даже «постелить себе постель», то-есть подложить под себя свои же собственные носильные вещи. С первых дней к священнику «подвалился» какой-то уголовник, считавшийся провокатором, и за то, что стелил ему постель, уголовник съедал у священника его паек хлеба. Таким образом священник оказывался полностью на голодном пайке. Это возмутило коммуниста-венгра и во время одного из «обедов» венгр в бешенстве избил провокатора-уголовника. Поднялся шум. Избитый пожаловался дежурному энкаведисту и венгра спустили на восемь дней в холодный карцер.

Очень красочен был один немец. Во-первых, уж потому, что в этой камере среди оборванных людей он сидел совершенно голый. Кто-то дал ему какую-то тряпку и ею он обвязал себе поясницу. Этот немец с громадной шевелюрой светлых волос и тонкими чертами лица был восторженный романтик. Он постоянно декламировал стихи. Кто он был? И почему попал сюда? Был ли это коммунизанствующий немец-интеллигент, из снобизма приехавший в страну Советов? Не знаю. Во всяком

случае в камере он лежал рядом с «африканцем» и, вероятно, оба они были не в большом восторге от своей судьбы.

А неподалеку от них сидел измученный и исхудавший француз профессор Огильви. Долгие годы этот большой ученый работал на кавказских минеральных группах. Здесь он стал знаменитостью; его именем назван один из открытых им нарзановых источников — даламитный нарзан. Все на Кавказе знали профессора Огильви и относились к нему с глубоким уважением. Но уничтожая «людей иностранного происхождения» НКВД пришило этому крупному ученому «провокацию с бактериями». И профессор Огильви пошел по конвейеру «допросов» так же, как все обреченные на уничтожение. Он испил всю горькую чашу ДПЗ. Когда-то жизнерадостный, тонкокультурный, коллекционер кавказских пейзажей, Огильви теперь казался тенью человека. Он ушел в концлагерь на стройку Самарской Луки. Та же судьба постигла и сидевшего рядом с ним молодого скрипача немецкого происхождения, женатого на родственнице Лермонтова, который, будучи поклонником поэта, всю жизнь собирал все, относившееся к нему.

Характерной фигурой в этой камере был пожилой, явно помешанный заключенный, которого все называли «статистик». Этот жалкий желтый человечек с странно бегающими крысиными глазами действительно был статистиком какого-то большого советского учреждения. Но не то еще до тюрьмы, не то уж в тюрьме он явно помешался. И в камере с утра до вечера продолжал вести всяческую фантастическую «статистику». Закрыв глаза, он шептал бесконечные цифры, высчитывал сколько калорий съедает каждый заключенный, а следовательно вся тюрьма, а следовательно все тюрьмы в СССР. Потом он исчислял, сколько в камере сидит национальностей, и из этого тоже делал какие-то статистические выводы.

И здесь же в камере, неподалеку от «статистика», лежали несколько китайцев, почти не говоривших по-русски. Эти рабочие-китайцы втечение нескольких лет разводили на Северном Кавказе культуру риса. Специально для этого их вывезло из Китая советское правительство, а теперь при курсе уничтожения лиц «иностранного происхождения» и они попали в НКВД. На китайцев было страшно смотреть, на допросах следователи избивали их стульями.

19. РАССКАЗЫ ЗАКЛЮЧЕННЫХ

Как же проводили, вернее, как убивали день заключенные в общей камере? Обычно заключенные проводили время в

рассказах друг другу. Память о прошлом, о прочитанном, — единственное, чего не могло отнять НКВД у своих заключенных. Ею они и жили. Обычно какого-нибудь заключенного обступала вся камера и он полушепотом рассказывал то, что сохранила ему память. Так, бывший актер Перелыгин наизусть декламировал целые пьесы Островского: «Грозу», «Лес», «Свои люди сочтемся». Декламировал он прекрасно, с увлечением. И голодные, избитые заключенные слушали его целыми часами, затаив дыхание. Во время таких декламаций очень часто глазное очко в двери камеры открывалось, но видя полный порядок, дежурный энкаведист уходил. Иногда Перелыгин с необычайным юмором рассказывал анекдоты из былой актерской провинциальной жизни. Его часто сменял романтический голый немец, по-русски торжественно декламировавший стихи Шиллера и каких-то новых немецких поэтов, которых мы не знали. Большой знаток и страстный любитель русского языка, бывший учитель, бывший с. р. Виноградов делал импровизированные доклады о синтаксисе русского языка (он умер тут же в камере от туберкулеза). Профессор Огильви делал доклады о французской живописи, главным образом, об импрессионистах, которых он так любил. Красный командир с большим художественным талантом рассказывал о боях на Перекопе под командой Блюхера. А толстый симпатичный русский немец из Иноземцева (тоже туберкулезный, кашлявший) целыми часами по памяти передавал романы Виктора Гюго, особенно увлекательно рассказывая «Собор Парижской Богоматери».

Я думаю, что никто и никогда не испытывал к творчеству писателей такой благодарности, как мы, заключенные ДПЗ. От допросов, пыток, избиений оно, хоть ненадолго, но уводило нас снова в воспоминания о жизни, которая у всех нас когда-то была . . .

20. НЕОЖИДАННОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ

Наступил февраль 1939 года. Совершенно отрезанные от жизни, мы не знали, что происходит на воле. А на воле происходила большая перемена. Можно без преувеличения утверждать, что самый страшный за все время революции террор Ежова сделал то, что втечение двух лет (1937-1939) ни один человек из двухсот миллионов советских граждан не мог спать спокойно. Вся страна дошла буквально до психоза. И, внимательно измеряя температуру своего террора, «лучезарный отец народов» понял, что пора делать очередной маккиавелиевский

ход. Он его сделал с необыкновенной легкостью, внезапно объявив ежовщину «перегибом» и на Ежова, расстрелявшего Ягоду, перебросив всю ответственность за этот террор в сознании «широких масс». На место Ежова из своего кровавого окружения Сталин вывел теперь Лаврентия Берию, человека, может быть, еще более жуткого, чем Ежов, но сейчас Берия долженствовал «ликвидировать ежовщину», тем самым создав Сталину ореол «либерального самодержца».

В жертву новому курсу Сталин, конечно, приносил, как всегда при таких «поворотах», кое-кого из своих же. Но это обычные «издержки производства», на которые не обращается внимание. Недаром у энкаведистов есть даже поговорка: «за плохую работу — посадят, за среднюю — дадут орден, и за хорошую — снимут голову».

В связи с новым курсом в нашу пятигорскую тюрьму тоже приехала комиссия Шкирятова «производить ревизию» и перерегистрировать заключенных. В камеру к нам пришел какой-то чекист спросить: нет ли жалоб? Какой либерализм! И какая гнусность! Разве советские граждане не знают, что в советском государстве «не жалуются»? А кто пожалуется — пострадает вчетверо. Поэтому, жалоб чекисту не заявляли.

Тем не менее какая-то перерегистрация заключенных все-таки шла. Нас опрашивали, заполняя множество анкет. Оказывается, террор Ежова уничтожил такое количество интеллигенции, что хозяйственная и культурная жизнь страны начала останавливаться. И вот Берия должен был вновь «оживить» жизнь страны, выпустив из тюрем часть предназначенных на уничтожение.

При перерегистрации тюрьмы, в нашей камере оказалось больше 50% людей с высшим образованием. Но мы все продолжали сидеть в ожидании отправки нас на стройку Самарской Луки, то-есть, ждали все того же медленного уничтожения, на которое были обречены.

Готовя нас к этой отправке, нас согнали, человек 300, в громадную камеру. Но вдруг ночью 22-го февраля 1939 года дежурный энкаведист, войдя в камеру, вызвал семь человек, в том числе и меня.

— С вещами! — закричал он.

Нас вывели на улицу, погрузили на грузовик и повезли той же дорогой в Кисловодск. Как и другие заключенные я предполагал, что если нас опять везут в Кисловодск, то наше дело плохо: я думал о расстреле.

Глубокой ночью грузовик остановился возле кисловод-

ского ДПЗ. Мы слезли с грузовика, нас разделили. Меня сразу же повели в знакомое мне здание, где меня пытали. В сопровождении энкаведиста я поднялся на второй этаж. Энкаведист постучал в какую-то дверь. Изнутри раздался голос: «Войди!» И он ввел меня в комнату.

За письменным столом под портретом все того же Сталина сидел молодой следователь в форме лейтенанта войск Государственной Безопасности. Рядом с ним стоял Захарченко. Увидав меня, Захарченко улыбнулся мне, как старому знакомому, и подойдя, «очень дружески» бросил:

— Десят лет мы тебе дали!

Но в это время новый следователь, протягивая бумагу, сказал:

— Прочти и подпиши.

Я взял два исписанных на пишущей машинке листа и стал читать. Это был обвинительный акт и приговор по моему делу. Я читал и не верил своим глаззам. Никаких прежних фантастических обвинений теперь не было и в помине. Я обвинялся, оказывается, «в пораженчестве и неверии в колхозное строительство», но дело «следствием не подтвердилось» и «дело сдать в архив», а меня «из под стражи освободить». Дальше шло невероятное множество чекистских подписей и таковое же множество прокурорских печатей.

Я был потрясен. Ни на одну секунду я, конечно, в свое освобождение не поверил. Прочтя приговор, я не двигался с места. Я был уверен, что это очередная провокация. Я знал подобные случаи. Я знал, как одного моего знакомого вот точно так же «освободили», но отпуская его, следователь говорил: «Бери вот этот чемодан, там твои вещи и отправляйся!» И когда тот отказывался взять никогда ему не принадлежавший чемодан, следователь снова начинал его избивать. А если бы он поддался и взял этот непринадлежавший ему чемодан, наполненный неизвестно чем, то его бы схватили при выходе из НКВД и пришили бы «новое дело», которое было нужно.

Я стоял перед незнакомым энкаведистом, не произнося ни слова. На лице моем никакой радости он прочесть, конечно, не мог. Я видел издевательскую улыбку Захарченко только что поздравившего меня с «десятью годами». С этой улыбкой Захарченко протянул мне какую-то небольшую бумажку — подписать. Я прочел ее, это была бумага, что я обязуюсь никому ничего о моем освобождении не говорить, о том, что я здесь видел, слышал, узнал и т. п. Я подписал.

— Ну, иди! — крикнул следователь.

— Как же я выду? Дайте пропуск, — проговорил я, совершенно уверенный в провокации.

— Иди, говорю! И без пропуска хорош!

Будучи уверен, что это ловушка, что меня сейчас схватят и обвинят в побеге, я повиновался и вышел из комнаты. Я пошел по корридору, стараясь умышленно громко топать, чтобы все слышали, что я не бегу, а медленно иду. Было часа четыре ночи. Топал я, вероятно, не так уж сильно и громко, ибо от избиений и голодовки я, в сущности, еле двигался. К тому же на ногах вместо ботинок у меня было нечто вроде опорок. Но все же я топал, как мог.

Вдруг я услышал сзади себя шаги. Я оглянулся. Это был следователь Левин. «Вот она ловушка», подумал я, «сейчас схватят». Поровнявшись со мной, Левин проговорил голосом, которого я у него даже не подозревал. Он сказал совершенно дружески:

— Ну, вот видишь, как в Китай то ездить, что из этого получается.

— В Китай? — невольно переспросил я, сразу не понимая, но тут же вспомнил, что именно он страшно избивал меня, заставляя сознаться, что еще до революции, еще юношей будучи в Китае, я «уже был китайским шпионом».

Мы были на последнем пролете лестницы.

— Ну, куда же ты теперь пойдешь? Ведь ночь, тебя никто не пустит, — «с участием» проговорил Левин.

Но из двери уж тянуло свежим воздухом, ветром. Так близко от себя почувствовав свободу, я уж ни за что не хотел оставаться тут хотя бы одну минуту.

— Постучусь к друзьям, — проговорил я.

Левин что-то пробормотал и вошел в какую-то дверь, откуда неслись крики. Он шел, вероятно, на такой же «допрос» о «шпионаже в Китае» кого-нибудь, кто еще не прошел через все круги ада НКВД.

21. НА СВОБОДЕ

Я вышел на свободу только потому, что по перерегистрации оказался в числе «нужных государству специалистов». Большинство ушло на Самарскую Луку рыть канал. Но выпущенный из тюрьмы, я был совершенно не в состоянии начать какую бы то ни было работу. Я не мог есть в день больше чашки жидкой пищи. Я был так слаб, что должен был все время лежать. У меня были выбиты коренные зубы, повреждено правое ухо, ноги были изранены и не переставали болеть. От

избиений я чувствовал все время внутренние ноющие боли в области печени. И тем не менее я должен был считать себя счастливым в сравнении с моим приятелем скульптором Иршенко, тоже выпущенным из тюрьмы НКВД на свободу.

Иршенко вышел из тюрьмы совершенно седой и необычайно подавленный. Ни я не боялся его, ни он меня. Но долго он не хотел рассказывать даже мне о том, что с ним произошло в пятигорском ДПЗ. И только однажды, весь трясясь от ненависти к ним, он рассказал мне свою трагедию. Когда на «допросах»-пытках он попробовал аппелировать к человеческим чувствам следователей, умоляя пощадить его, потому что у него молодая жена и только что родился ребенок, которого он еще не видел, пришедший в бешенство энкаведист внезапно ответил ему: «А, молодая жена? Ну, так я покажу тебе... молодых жен!» Иршенко связали по рукам и по ногам и следователь-энкаведист оскопил его шилом. Увы, это не воображение горячечного мозга, я знал несколько случаев оскопления в НКВД...

Вскоре после выхода из тюрьмы я получил неожиданный вызов в горком партии. Зачем? — думал я.

Горком партии помещался в центре города в помещении городского совета. Ходил я с палками. С трудом я дошел и поднялся на второй этаж. Я постучал в комнату. Это была комната не кого-нибудь, а самого товарища второго секретаря горкома партии. Секретарь принял меня чрезвычайно любезно, предложил сесть в стоявшее у стола архи-буржуазное кожаное кресло. Протянул кожаный портсигар с прекрасными папиросами. И начал разговор тем деловым дружеским тоном, на который все эти коммунистические господа такие мастера.

Сначала секретарь рассказал мне, что им нужно сделать роспись большого санатория, и предложил мне место консультанта по вопросам художественного оформления при Курортном Управлении. Я ответил, что был бы весьма рад принять эту работу, но по состоянию своего здоровья взять ее, к сожалению, не могу. Сквозь роговые очки секретарь испытующе посмотрел на меня. И я понял, что не роспись санатория, а вот этот взгляд и есть, собственно, главная причина моего вызова. Тоном еще более дружеским секретарь вдруг спросил:

— Вы вот с палкой ходите, товарищ? Скажите, вас в тюрьме били? Вы можете говорить со мной совершенно откровенно.

Разумеется, я ни на минуту не поверил в этот дружеский тон важного коммуниста. Но я понимал, что тут я должен ответить утвердительно, ибо «одна партийная линия» сейчас сменяет другую и я нужен в качестве «свидетеля» именно для этой «новой линии партии».

И я рассказал второму секретарю горкома все, что я перенес в тюрьме НКВД. Он слушал меня крайне внимательно. На его лице выражалось иногда даже некое «сочувствие», как будто он не знал того, что происходит в их коммунистических тюрьмах. Когда же я кончил, секретарь сказал:

— Вот что, товарищ. Напишите об этом подробно наркому внутренних дел. И там ваше заявление рассмотрят.

Но тут я уже ответил уклончиво, ибо понимал, что для меня, беспартийного, эта игра слишком рискованна. Мы попрощались. Вернувшись домой, я посоветовался с знакомым советским правозаступником, и тот, будучи многоопытен в сих делах, посоветовал мне: если уж подавать жалобу, то надо обязательно сразу в три инстанции: ЦК партии, Наркому внутренних дел и прокурору СССР, чтобы, так сказать, везде был след такой моей бумаги и чтоб потому при новой перемене курса НКВД не так легко было бы пришить мне за это какое-нибудь обвинение. И все-же и правозаступник и я сочли за более разумное никакого заявления не подавать. И мы оказались правы, ибо освобожденный вместе со мной Браиловский по горячности своего темперамента принял всерьез возможность пожаловаться «бериевцам» на «ежовцев» и где-то при посторонних выразился о пытках НКВД с достаточной резкостью. Через несколько же дней он был снова арестован, на этот раз «бериевцами», и навсегда изчез в той же тюрьме НКВД.

В народе так и считалось: кого Ежов не додушил, тот еще при Берии может быть и вырвется, но кого взялся душить Берия, тот уже никогда не увидит свободы.

Надо все-таки быть справедливым и сказать, что кое-какая чистка ежовцев в северо-кавказском НКВД произошла. Так, я с удовольствием узнал, что один из моих палачей, Захарченко, не желая попасть в числе энкаведистов, отправляемых в концлагеря, отравился. Несколько пострадал и Безруков. О нем говорили, что его вызвали в крайком партии и там будто бы сам председатель крайкома встретил его такой фразой:

— Расскажи, что ты делал в твоем застенке?

Не очень себе представляю, что ответил ему Безруков. Но «наказание» его было нестрашное. Это садистическое чудовище было смещено с поста помощника начальника НКВД: его перевели на «мирную» работу, в Курортное Управление.

Вообще, все эти «чистки» в НКВД делаются только для «проформы». Сущность режима и люди остаются те же. «Милые бранятся, только тешатся».

Морис Шабле.

В СОВЕТСКОМ ПОСОЛЬСТВЕ *)

Утром 22 апреля 1945 года я лежал на озимом поле у Гебельцига, и меня осыпало землею, взлымаемой рвавшимися кругом снарядами. Прошел месяц, — ровно месяц. Утром 22-го мая я сидел в комнате, где на стенах весело играло солнце, — в удобном вертящемся кресле, за письменным столом, застланным синей бумагой. В окно виднелся круглый, залитый асфальтом двор. Посередине двора зеленела клумба и била над клумбой, обламываясь и осыпаясь, искрящаяся под утренним солнцем струя фонтана. Начинался мой первый рабочий день в советском посольстве в Париже.

Как я попал в Посольство? Чудесным образом.

В военной миссии меня представили начальнику штаба. Он выслушал историю моего пленения и покачал головою:

— Вашей дивизии не повезло. Говорят, что и штаб был захвачен немцами. Вы еще счастливо отделались. Ну, что же, капитан, Париж посмотреть хотите? Напишу я вам ... на две недели. Хватит?

И он написал на листке из блок-нота — советскому коменданту в казармах Рейи: принять на довольствие на две недели. Дойдя до станции метрополитена, я однако, должен был снова вернуться в миссию: вспомнил, что ехать мне на что. В кармане оставались рубли и злоты, но не было ни одного франка.

— Вот хорошо, что вы пришли, — сказал начальник штаба. — Деньги? Деньги я вам дам ... две тысячи. Не в этом дело. О вас я только что разговаривал с первым секретарем Посольства. Поезжайте сейчас же на рю де Гренель. Вот вам записка к Видясову. Он вас ждет.

Первый секретарь посольства Ф. И. Видясов оказался тем самым Федей Видясовым, которого помнили в нашем ИФЛИ, — Институте философии, литературы, истории, — как талантливого студента, отличного товарища, неугомонного организатора литературных встреч, студенческих концертов и еще

*) В 15-й и 16-й книгах «Нового Журнала» были напечатаны две первые главы из книги М. Корякова «Почему я не возвращаюсь в СССР». Мы печатаем теперь одну из последних глав книги. **Ред.**

какой-то комсомольской работы. Лично мы не были знакомы: он шел по западному циклу, а я по русскому, кроме того он был на старших курсах и, не окончив институт, ушел по «партийной разверстке» в Дипломатическую школу. Но у нас была масса общих товарищей, общих знакомств в профессуре, и мы долго сидели, вспоминая далекие, милые сердцу дни.

— Приятная встреча, — сказал Видясов, — будем работать вместе. На моей шее висит газетенка — «Вести с родины». Выпускается она Посольством для советских граждан, освобожденных из плена. Весь матерьял, от первой до последней строчки, передается по телеграфу из Москвы, — нам остается только типографская работа. По этой части мне помогает один паренек из военной миссии, совершенно не сведущий в типографском деле. Вы — опытный газетчик, у вас эта работа не займет много времени, — будете изучать французский, смотреть Париж. На-днях я поеду в Москву, — по крайней мере, за газету у меня будет душа спокойна.

В Москве открывалась юбилейная сессия Академии наук СССР. На сессию ехали из Парижа гости — Андрэ Мазон, Ланжевен и т. д. Видясов их сопровождал. Он зашел в Москве ко мне домой, повидался с родными. Те были в страшном беспокойстве: полевая почта только что вернула с фронта адресованные мне письма. На конвертах стоял почтовый штамп: «адресат выбыл». Мои же последние письма они получили в апреле — из госпиталя.

— Ваши дела в порядке, — сказал мне Видясов, вернувшись в Париж. — Родные теперь спокойны, — посылайте им письма дипломатической почтой. Не теряйте зря времени и учитесь французскому языку. Неизвестно, как долго придется пробыть вам в Париже.

Дела «Вестей с родины» приняли неожиданный оборот. В августе пошли широкие отправки советских военнопленных из Франции, — военная миссия уже отказывалась от газеты. Но газету решено было сохранить и пустить в продажу. Под заголовком переменили надпись: для советских граждан, проживающих во Франции (вместо «освобожденных из немецкого плена»). В действительности же газета предназначалась для русской эмиграции.

Русская эмиграция... Что знали о ней мы в России? Ничего! В советском режиме, среди множества уродливых его сторон, есть одна самая страшная: непроницаемость. Это тот «железный занавес», о котором так много говорят в Европе. Но принцип «железного занавеса» — не только во внешней

политике, но так же — во внутренней жизни. Жена, у которой ночью арестовали мужа, идет справиться о его судьбе и ей отвечают: «Нет, мы ничего не знаем», — перед нею «железный занавес» ... «Железным занавесом» была отделена и русская эмиграция от России: как будто она вовсе не существовала! Ни одна газета на моей памяти не обмолвилась об эмиграции ни словом. Ну, хотя-бы какой-нибудь злобный выпад, — ничего! Непроницаемая стена молчания ... Когда я приехал во Францию, «русский Париж был для меня, как таинственное «белое пятно» для географа-путешественника.

На мое счастье, на рю де Гренель не хватало квартир. Долгое время я оставался в казармах Рейи, — пользовался свободой которая недоступна отдельным сотрудникам Посольства. В сентябре все советские из Рейи уехали, я же, сказав на свой страх и риск, что по-прежнему остаюсь в казармах, переселился в эмигрантскую семью. Таким образом, я имел возможность исследовать «белое пятно», изучать жизнь «русского Парижа».

Но и мы, "tous les soviétiques", были для русских эмигрантов людьми экзотическими, таинственными. В Рейи, у широких ворот казармы, где постоянно толпились советские военнопленные, по вечерам я сталкивался с русскими парижанами: они приходили посмотреть на нас, послушать наши разговоры. Иногда — одни робко, другие же смело и запросто — подходили, знакомились. Меня на перебой зазывали на «чашку чая». Приятного в этих «чаях» было мало: «на меня» приглашали других гостей, «мною» угощали, — не очень то хотелось становиться принадлежностью чайного столика.

Так происходила встреча русских «белых» с русскими «красными».

В одной семье, с которой я сдружился, на звонок выбегала маленькая белокурая завитая девочка. Открыв дверь, она кричала в комнаты:

— Мама, наш soviétique пришел!

Это была семья старого полковника. В его комнате на стенах до потолка лепились портреты Государя, седоусых генералов царской армии, цветные военные лубки, вырезанные из журналов картинки походного быта.

— Победили — молодцы! — сказал мне полковник. — Отлупили немца!

Жесты и слова у полковника были простонародны. Он брал меня за плечи, поворачивал лицом, спиною, — любовался на русскую армейскую гимнастерку с прямым воротом, на ши-

рокие фронтовые, из зеленого сукна, погоны, с маленькими серебряными звездочками. Понять полковника было нетрудно: он прямо, непосредственно любил Россию. Взгляд его на вещи не отличался сложностью, — его можно сформулировать так:

— Катастрофа 1917 года была воспринята, прежде всего, как распад русской государственности. Не стало Российской Империи, — державной мощи, величия. Минуло четверть века, и Россия снова вышла в мировую ширь. Сталин собрал русскую землю: опять наша Прибалтика, наш Порт-Артур, можно считать, наша Польша. Чего еще? Русская государственность восстановлена. Если-бы Сталин короновался, — можно, пожалуй, и присягать.

Как-то вечером я застал полковника в веселом настроении. Он читал нашу газету «Вести с родины». Там была корреспонденция из Берлина — забавная сценка, как в полуразрушенном Рейхстаге сидел на подоконнике, свесив ноги, советский солдат, играл на балалайке и подпевал:

Ехал парень из Рязани,
Полтораста рублей сани . . .

Полковник смеялся до слез. Вытерев платком глаза, он, радостный, просиявший, сказал:

— Молодцы, спасибо! Снова . . . — как это в песне сказано?

Наша Матушка-Расея
Всему свету голова!

В комнату полковника иногда заходил его зять, — острый, худой, длинный. Он был вдвое моложе тестя: выехал из России прапорщиком. Теперь мыл окна где-то в пассаже на Елисейских полях.

— Как живется? — спросил я его однажды.

Он грустно улыбнулся:

— Одного приятеля на-днях встречаю, вот так же спрашиваю: живы-здоровы? Живем, говорит, как моль . . . последнюю шубу проедаем! А у нас уже и шубы нету . . .

Всегда усталый, как-то рано изживший свои силы, и потому неразговорчивый, он тут стал горько, с беспощадной откровенностью говорить об эмигрантской жизни:

— Вы хотите знать, сколько я переменил профессий. Шестнадцать! Был поваром, маляром, пек блины на тротуаре, торговал мехами, стал масоном . . . нет, нет, не тем масоном, а каменщиком, потом — поступил в один дом валетом, valet de chambre. Изобретал способ, как играть на рулетке без про-

игрыша. Поехал в Монте-Карло — проигрался. Нет, способ тут непричем, способ верный, — чистая математика! Не выдержал характера, нервы сдали...

У этого человека тоже была тяга к советским людям, к Москве. Но истоки ее были совсем другие, нежели у полковника. У того был «зов земли», а этот России не знал, не томился по русскому духу. Любовь к России у него вспыхивала, точно искра при ударе, когда он отталкивался от Франции, от эмигрантской жизни. Он смеялся, нередко — зло, над моей свежей, наивной, еще нерастраченной любовью к Франции и почему то непременно старался разрушить мою очарованность: все твердил о чудовищном эгоизме французов, об их мелком и грязном мещанстве, о скупости и всеобщей продажности и, главное, главное — о военном позоре... На «русский Париж» он смотрел не лучше: призрачность, какая-то вывернутая, ненатуральная жизнь. В самом понятии «русский Париж» — бессмыслица. Иногда он сидел и прикрыв тонкими веками печальные, как у птицы, глаза, задумывался. Наверное, ему грезилось, как хорошо — твердо, незыблемо — он мог бы жить там, в России, на неизвестной и, Бог весть, почему утраченной родине.

Круг моих знакомств мало-по-малу расширялся. Оживал Париж — пробуждалась и русская жизнь в Париже. Возникали уже общества, устраивались лекции, литературные встречи. После одной из «встреч» компания литераторов и не литераторов, а просто так называемых, ищущих, думающих людей, засела в кафе, и тут я услышал мысль, которая указывала на третий источник просоветских настроений, — совершенно отличный от только что мною описанных.

Дело было в августе, — не затих еще взрыв в Хирошиме. Разговор вертелся вокруг атомной бомбы, атомной энергии, «атомной эры», которая, как решительно заявил один из присутствоваших, вовсе не будет атомной, а, наоборот, синтетической — эрой консолидации наций, планетарного всеединения.

— В атомный век не будет атомизма в жизни, — развивал Х. свою идею. — Атомизм, — здесь, во Франции, он доведен до крайности — изжил себя. Ни нации, ни человек не могут больше жить в обособлении. Несправедливо, что секрет использования атомной энергии не передан советам. Как-раз у советов есть целостная концепция и даже практический опыт обобществления.

— Обобществления чего? — усмехнулся кто-то. Куриц, коров, телят...

— Если хотите — духа! — возразил Х. — В советском принципе обобществления духа, в духовной власти, которою обладает там партия, есть величие, мощь, — я бы сказал, очарование.

Нечего говорить, что подобные просоветские концепции ни мало не увлекали меня, советского человека. Но была одна — считавшаяся тоже просоветской — концепция, которая овладела и мною. Тот, кто ее создал, не обольщался «духовной целостностью» большевизма, — человека, духовную свободу он ставил превыше всего. Не был он слеп и глух к страданиям человека в советской России. Подлинная и глубокая религиозность была основанием этой концепции. В немногих словах, грубо, ее можно изложить так:

— Мир проходит сейчас через Крест, и Россия — первая подымается на Голгофу. Ночь окутывает народы на Крестном пути. Но впереди свет, и Россия придет туда первая. Начинается русский период истории. На Крестном пути надо быть с Россией (сказано у Достоевского: «Каждый за все и за всех виноват»). Надо пережить судьбу русского народа.

...Так открывалась мне жизнь «русского Парижа». В эмиграции происходили сложные, противоречивые и, как я видел, трагические процессы. Посольство следило за ними: пришел момент избавиться от эмиграции, существование которой всегда было неприятно советскому правительству. Теперь разделаться с «белыми» было легко, — они сами давались в руки. В посольской передней шныряли осведомители: некоторых я заставал в час и в два часа ночи. Курьезная вещь: один, тогда еще незнакомый мне, встретив меня в офицерской форме, разговорился, разоткровенничался и... сделал донос:

— В «Социалистическом Вестнике», что выходит в Нью-Йорке, вы «Письмо из Парижа» читали? Антисоветская штучка! Так я дознался, кто его написал. Такой-то... — назвал он фамилию.

Ночами же встречался в передней один бывший писатель — из «беляков». В передней со всеми курьерами он был на «ты». Однажды между нами произошел забавный разговор. Писатель пожаловался, что нью-йоркский Литфонд посылает в Париж посылки, а ему — отказано:

— Ни я, ни Х., ни У. не получили. Им, говорят, не надо, — они теперь советские.

— Не тот ли У., что сотрудничал в «Возрождении»? — спросил я. — От «Возрождения» ездил в Польшу и написал антисоветскую книжку.

— Был подлецом! Был подлецом, — залебезил писатель. — Но теперь исправился, — вполне наш человек.

Помолчав, он спросил:

— А вы и такие книжки знаете, как очерки У. о Польше?

— Ну, я многое знаю, — ответил я смеясь, — например, «Журавли» тоже читал.

Он покраснел, вытаращил стеклянно-пустые глаза. «Журавли» была его книжка, полная самой грубой брани по адресу «красной сволочи».

— Позвольте, позвольте, где вы ее достали? Такая книжка не существует больше!

Не брезгая услугами таких «бывших подлецов», Посольство обволакивало эмиграцию сетями. Конечно, для нас, — меня не стеснялись в Посольстве, я был свой человек в той среде, — для нас эмигранты по-прежнему оставались беляками. И сети раскидывались не с целью привлечения русских людей, «в рассеянии сущих», так сказать к общерусскому делу воссоздания России хотя бы и под заглавием «Советского Союза». Нет, то были сети единственно для уловления . . . В типографии, где печатались «Вести с родины», работал корректором В., человек большой честности и по-старинному доверчивый, наивный. В. просил, чтобы я помог ему получить советский паспорт и визу на въезд в Россию, и я свел его с одним атташе Посольства. Корректору выдали анкету, бланки, велели принести фотографические карточки.

— Куда он хочет ехать? — спросил меня атташе, когда мы остались наедине.

— В Ленинград. Там он родился, вырос.

— А в Якутск не хочет? — захохотал атташе, и мне представилась горькая участь В., если он попадет в Россию.

Всей душой хотелось мне помешать «уловлению» эмиграции. Преде всего — показать, в какое глубокое заблуждение она сама впадала. Конечно, эмигрантская жизнь ненатуральна, это лжебытие. Но нельзя на отрицании строить что-то положительное: если у эмигранта, переменившего двадцать профессий, в чужой стране шатается почва под ногами, то означает-ли это, что на советской земле он будет стоять твердо, незыблемо? Там советские люди — уж на что мы привыкли к бурям! — не находят опоры, твердости, даже повседневного маленького благополучия.

Бывая у эмигрантов на «чашке чая», я убеждался, что по нашим советским понятиям, эмиграция живет безбедно. Приходили гости, стол не был пуст . . . У бедной швеи я на столе

видел белый хлеб и очень часто масло. Когда, приглашенный ужинать, я по московской привычке предварительно ужинал у себя в Посольстве, а потом отказывался от угощения, — обижались ... Не понимали, что мы, москвичи, от гостеприимства давно отвыкли: само понятие «гости» выветрилось из нашей психики.

Мой заработок в Москве составлял в среднем 2000-2500 рублей в месяц. Никакого сравнения с простым советским служащим: счетовод получает 500-600 рублей, рядовой инженер — не больше тысячи. Но я не мог устраивать «чаи», «обеды». Гардероб у нас с женой был ужасен: у меня один костюм, а на каждый день — спортивная фланелевая куртка; у нее три платья да сарафан на лето. Осенью 1938 года — времена довоенные! — я ходил по Москве без пальто. Был октябрь, шли дожди, а я — с зонтиком в одном костюме. Почему? Старое пальто у меня украли, а новое купить нельзя. В Центральном Универмаге (бывший Мюр и Мерилиз) по утрам «выбрасывали» в продажу 60-80 пальто. Магазин открывался в 9 часов, но народ собирался затемно, начиная с 5-ти. Милиционеры отгоняли толпу от дверей, — публика бродила около, жалась к колоннам Большого театра. Но вот открывались двери и толпа ломилась в магазин. Выигрывал тот, у кого крепче ребра и кто знал кратчайшую дорогу на третий этаж — в отдел готового платья, к прилавку. Несколько раз я пытался — никогда не успевал. Поехал на толкучку, и, при всем моем отвращении к чужой, поношенной одежде, купил подержанное пальто.

Надо сказать, что за четыре года войны московская нищета как-то изгладилась из моей памяти: меня в армии одевали, кормили, каждый день я имел свой кусок масла. Из армии почти сразу, — не прошло и месяца, — попал в Посольство, в Париж. Но один маленький случай напомнил мне нашу невероятную, даже для самого бедного эмигранта непонятную нищету. В Париж приехала из Москвы певица Л. Александровская. Однажды она шла и остановилась на дворике в Посольстве — как раз перед окном той комнаты, где помещалась редакция «Вестей с родины». В редакции работали две женщины — машинистка и секретарша. Первая была за границей уже несколько лет, а другая только-что приехала из Москвы.

— Интересно, сколько теперь в Москве стоят такие ботики? — спросила машинистка, глядя в окно на Александровскую, у которой на ногах были обыкновенные резиновые ботики.

— Тысячи три, — ответила секретарша. — Как мне сюда

ехать, я продала на толкучке свои, такие же, немного поношенные, за две тысячи двести.

2.200 рублей! — едва удержался я от восклицания. Тогда же, сидя за столом, прикинул: счетовод, получающий 600 рублей, должен вложить в ботики почти четыре полных месячных заработка. В Париже счетовод получает 8.000 франков. Ботики здесь не носят — надо считать туфли. Хорошие туфли на заказ стоят 3.000. В один месяц парижский счетовод зарабатывает три пары туфель, а московский — одну пару в четыре месяца.

Так я мог бы ответить тому бедному русскому эмигранту — повару, масону, изобретателю способов играть без проигрыша на рулетке. Вместо Ленинграда и Москвы он получил бы Якутск, Колыму, Печору. Вместо белого хлеба Франции — голод и нищету современной России. Ответить не для того, чтобы удержать его от хлопот о визе на въезд в Россию, — нет, главным образом, для того, чтобы он по-другому отнесся к Франции, которая дала ему хлеб и кров.

Но что ответить полковнику? Это правда: отлупили немца, победили страшнейшего завоевателя, — молодцы! Нет чувства сильнее, нежели чувство национальной гордости. Полковник в своих просоветских симпатиях опирался не на отвлеченные рассуждения, а на это положительное и простое, как земля и небо, чувство. Оно владело и мною и потому мне трудно было возражать полковнику. Даже мучительно трудно! Только религиозное чувство подкрепляло меня и предохраняло от обольщения. Полковника обольщала внешняя сила, внешняя мощь — он отрешался от духовности. По моему же глубокому убеждению, — зародившемуся давно, окончательно укрепившемуся в Польше, — внешняя мощь — преходяща, временна, в ней нет подлинности. Подлинна только сила духа. Это — общее принципиальное возражение. Что же касается победившей России, то тем более нельзя было обольщаться внешним фактом победы. Война была карой Божией не только для Германии, — но и так же для России. Не о пустырях, заваленных камнями, не о пепелищах я говорю, — гораздо больше об усталости народа. Дьявольская горделивость и надменность, та самонадеянность, которая возводит человека в сан божества и ставит возгордившуюся нацию госпожей мира, сокрушалась не только в Германии ,но и в России. Однако, Россия, все же дошла до финиша, и в этом — новое искушение, опасность, что наш народ не узнает Божьей кары. История знала победы хуже всякого поражения. Больно было бы мне, русскому человеку, слишком больно прилагать эту формулу к родной стране.

Несомненным мне кажется только одно, что перед лицом победы Россия стоит как перед величайшей и, может быть, роковой опасностью. Это великое испытание духовных сил России. Болезнь немецкого народа излечивается тем, что Германия низвержена совершенно. Болезнь нашего народа может быть излечена лишь при условии, если нынешняя наша победа не безусловно выиграна. Полковничьи увлечения: «Наша матушка-Расея всему свету голова!»» — опасны и вредны для нашей родины.

У каждого свои вкусы, свои обольщения . . . Кто прельщается внешней, вещественной мощью советской державы, кто — духовной властью большевистской партии. Вдуматься, — в этом обольщении есть свой глубокий смысл. Живя в Париже, я присматривался, конечно, не только к русской эмиграции, — более меня интересовал неизведанный мир Запада. В разных местах: в типографии, где печатались «Вести с родины», в Школе восточных языков, куда я ходил в библиотеку, в бистро и в купальнях на Сене — повсюду я старался знакомиться с французами. У меня были знакомые коммунисты, католики, молодые люди из «Аксьон франсез» . . . Не пропускал я художественные выставки, два раза, чтобы лучше понять, слушал в Сорбонне одну и ту же лекцию о Пикассо и, преодолевая недостаточное знание языка, просиживал ночи над газетами, еженедельниками, журналом "Les Temps Modernes", издававшимся Ж.-П. Сартром, который слыл в Париже за «ведетту», «человека дня». Большая утрата ощущалась во всей этой интеллектуальной жизни, — утрата религиозной идеи. Хаос Пикассо, его отталкивание от Прекрасного, свидетельствовали, что этот, наверное, гениальный художник совершенно не верит в сотворение Богом мира и не чувствует откровения Бога в мире. Нарочитая уродливость, растаптывание красоты мира содержалось и в журнале Сартра. В хаосе нет цельности, хаос — это раскол, распад. Между тем, без общей идеи человек существовать не может: к чему-то должна прилепиться его душа. Отталкиваясь от атомизма, литератор Х. обольщался большевистским опытом «обобществления духа». Возражения мои литератору Х. отличались наибольшей страстностью: я лично страдал от «обобществления духа» в советской России, и это были самые тяжелые мои страдания. Мне было хорошо знакомо то, чего не знал Х. — м н и м а я целостность советского общества.

Коммунистическая партия в России прилагает все усилия, чтобы добиться монолитности. Жизнь насквозь «политична»,

пронизана теоретизированием. Превыше всех внутренних фронтов — фронт идеологический. Ни о чем так не заботятся, как о том, чтобы граждане СССР овладели «наукой Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина». Наука эта изложена в «Кратком курсе истории ВКП (б)», особенно в четвертой главе «О диалектическом материализме», написанной самим Сталиным. Теоретизирование доходит до смешных курьезов: на собрании интеллигенции в Туле, где мне случилось присутствовать в качестве делегата от Ясной Поляны, выступал один врач и рассказывал, как изучение «Краткого курса истории ВКП (б)» помогает ему в . . . лечебной практике. Конечно, это анекдот, обыкновенный случай подхалимства, и партийные руководители знают цену таким выступлениям. Партия заботится о бесконечно более важном: о фабрикации людей с материалистическим типом мышления. Вспоминаю, как приходилось мне в Институте философии и литературы сдавать экзамены по «Основам марксизма-ленинизма». Профессор Москалев, заведующий так называемой «кафедрой диамата», экзаменуя студента, исследовал не только, пожалуй, даже не столько практические знания, но прощупывал, выработано-ли, скажем, у меня правильное, т и п и ч е с к и - правильное материалистическое, марксистско-ленинское мышление.

Добилась ли партия того, чего она хочет? Ничуть! Психологическая обстановка в Советском Союзе и до войны, и в особенности после войны, отличается апатией, равнодушием, стремлением к аполитичности, к «маленькой жизни маленького человека». Народ устал, у него подгибаются колена. Вот аппарат партийной и советской власти теперь занят только одним: накладыванием обручей, завинчиванием гаек, чтобы человек, плотно сжатый со всех сторон, все же стоял и шел . . . ну, еще одну военную пятилетку, ну, другой отмерянный и рассчитанный Госпланом, пятнадцатилетний путь! Как никогда, сейчас усилилась борьба на идеологическом фронте. Характерны новые мотивы в обвинениях: аполитичность, обывательщина. Нужны ли примеры? Если угодно, вот грустная история, приключившаяся с известным советским писателем Михаилом Зощенко. Это — офицер старой русской армии, человек большой отваги: он отличался в боях, — заслужил пять боевых орденов, был тяжело контужен. Писатель он — редкостного литературного таланта. В 1943 году М. М. Зощенко написал автобиографическую повесть «Перед заходом солнца». Повесть напечатали в журнале «Октябрь» и приготовились издать отдельной книгой, как вдруг прочитали ее в высших сферах и

нашли «эгоцентричной», «обывательской». Последние два слова долго мелькали на столбцах газет. После «идейного осуждения» последовали, как это всегда бывает, «организационные выводы»: Зощенко исключили из редакционной коллегии юмористического журнала «Крокодил», запретили — на год — печататься, а редактор журнала «Октябрь» М. М. Юнович получила выговор по партийной линии. Другой писатель, Константин Федин, тоже недавно написал автобиографическую повесть, вещь большой душевной теплоты и огромного интереса, в особенности там, где он рассказывает о русских писателях в Париже, о ладанке с русской землею, которую носил на своей груди А. М. Ремизов. Повесть не была еще напечатана, а только представлена в Государственное издательство, как в «Правде» появилась большая статья об этом «аполитичном» и «обывательском» произведении. Книга К. А. Федина так и не увидела света. Так партия ведет борьбу за «оздоровление» психологической обстановки в России. Так наколачиваются обручи на все — экономику, политику, быт, всяческие проявления, и разума, и сердца.

Небезынтересно отметить вот что: беспринципность, аполитичность находят свое выражение не только в стремлении к «маленькой жизни маленького человека», но в стяжательстве, иногда — грабеже, откровенном, циничном разбойничестве. Центральная Европа имела случай близко познакомиться с такими фактами: советские солдаты и советские военнопленные будут здесь долго памятны. Вдумчивый наблюдатель, присматривавшийся к молодому человеку сталинской эпохи, не мог не заметить, что человек этот, если брать его обобщенно, как тип, — опустошен! Воспитание, основанное на материалистических принципах «марксистско-ленинской науки», прививает человеку надменность, самомнение, но не дает внутренней прочной опоры — это самомнение пустоты. Пока такой человек в коллективе, сдерживаемом обручами, он может быть направлен на осуществление какой-либо цели. Но как только он выпал из обручей, он впадает в полнейшую деморализацию. Порою он страшен, этот нескованный "soviétique", и, вероятно, поведение советских военнопленных, оказавшихся на свободе во Франции, подействовало на французов так, как не подействовала-бы никакая антисоветская агитация.

Коммунистической партии вообще никогда не добиться единства советского общества. Единство возможно лишь в обществе, не отвергающем благовестия Христа о свободе, Его учения о внутреннем, а не внешнем обращении человека к

правде и любви. В христианском мировоззрении заложена идея абсолютного добра, идея доверия. Идея не добра, но классовой ненависти, не доверия, а напротив, недоверия — вот руководящая идея, посредством которой партия Ленина-Сталина формирует мировоззрения советского молодого человека. На основании такой идеи можно ли достичь единства? Тут есть забавный парадокс: кажется, что можно. Идея добра и доверия — это принцип: все за всех. Идея ненависти и недоверия: каждый против каждого. Парадокс состоит в том, что внутреннее равновесие в обществе может поддерживаться именно посредством последнего приема. И не только равновесие — даже кажущееся единство. На основании многочисленных наблюдений я убедился, что недоверие, подозрительность — неотъемлемая, наиболее характерная черта советского человека. Именно в силу этого создается атмосфера единодушия, которая так восхищает порой иностранного наблюдателя и которая обольстила литератора Х. Но это — только кажущееся единство. От «единства» не остается ни малейшего следа, как только перестает действовать принцип «каждый против каждого». А он перестает действовать, когда советский человек оказывается — волей судеб и капризом случайностей — вырванным из советского общества. Для него одиночество — страшная вещь: он оказывается на распутье и легко примыкает ко всему, что подвернется.

На просоветскую концепцию «обобществления духа», к которой припадает не один литератор Х., я мог бы в немногих словах ответить так:

— «Духовная власть» большевизма — это власть обручей с завинченными гайками, и там, где вы видит «обобществление духа», на самом деле хаос, разброд. Не стоит отталкиваться от духовного распада Запада, чтобы тут же попасть в духовный распад советского Востока. Надо понять другое — что от второй мировой войны, покаравшей по-разному, но за одно и то же, Германию и Россию, начинается новый период в истории не одного русского, но мирового сознания. Во многих умах совершается поворот — к религиозной культуре. Это — знаменье времени. Человек хочет стоять в свободе, которую даровал ему Христос, и не хочет подвергаться игу языческого рабства — ни национал-социалистического, ни большевистского.

Так, на протяжении многих месяцев, начиная с мая 1945 года, я прислушивался и присматривался к русской эмиграции в Париже и полемизировал с ее просоветскими настроениями.

Полемизировал, конечно, внутренне, про себя. Отвечал «полковнику»», отвечал его «зятю», отвечал «литератору Х.» — беру их в кавычки, потому что имею в виду не конкретные личности, но рассмотренные на предыдущих страницах тенденции и идеи. Несмотря на различный характер и различное происхождение, тенденции эти были сходны в одном — в незнании советской жизни. Эмигранты видели нашу советскую жизнь издалека. Мне представлялось: сидят эти люди в старинном иллюзионе и движение плоских теней на экране принимают за настоящую жизнь. На Россию они смотрели, как на очарованную, увы, недоступную даль. Тоска по родине обострялась, очарованность овладевала душами. «Просоветская» эмиграция, в сущности, и не хотела знать нынешнюю Россию: она заранее, загодя признавала, что там все хорошо, как нигде на свете. Только все это смахивало на известную песенку: «Все хорошо, прекрасная маркиза . . . ».

У эмигрантов стало считаться шиком: иметь какого-нибудь мало-мальски знакомого человека в советском Посольстве. Нередко меня спрашивали:

— Ах, вы из Посольства? Такого-то знаете?

— Да.

— Я с ним тоже знаком. Не правда-ли, очень милый человек?

— Ничего . . . — отвечал я сдержано.

Но «очарованная душа», не замечая ни сдержанности, ни некоторого конфуза, обращалась к присутствовавшему обществу:

— Там они все, все такие милые!

Она не знала, «очарованная душа», что все эти «милые люди» живут в несвободе, удушающей атмосфере подслушивания, подсматривания, взаимной подозрительности. Характерный факт: в Посольстве много — двадцать или тридцать — ребятишек не старше десяти лет, и эти несчастные дети вечно толкутся на асфальте запертого со всех сторон двора. Развлечься им там нечем, они придумывают разные занятия: однажды, например, во всем посольстве поснимали колпачки с электровыключателей, — у каждого мальчика нашли по 10-15 колпачков. Неподалеку, у Севр, есть сквер, где играют дети, перейти через Сену — Тюильрийский сад, где по четвергам и воскресеньям устраиваются школьные праздники. Почему бы не повести детей туда? Неужели их схватит капиталистическая зараза? Или, может быть, восьмилетнего Кольку завербуют в иностранные шпионы?

Нет спора, люди хорошие, но если брать их только как людей, отвлеченно, не в советском, а в обыкновенном, человеческом качестве. Как-то вечером я засиделся в кабинете первого секретаря Ф. И. Видясова. Были вдвоем, опять вспоминали Москву, чудные весны в Сокольническом парке, где находился наш Институт, потом я рассказал про Ясную Поляну, где безвыездно провел два года.

— Мечтал и я — заниматься историей литературы, научной работой, — с грустью сказал Видясов. — А вот, стал чиновником.

— Почему же чиновником? — удивился я. — Дипломат. Во Франции. Интересная, занимательная страна. Встречи с интересными людьми, этими западными интеллектуалами... У вас живая и творческая работа!

— В принципе — да, конечно... — ответил он. — Представляете, приезжает какой-нибудь англичанин: — работать в английском посольстве в Париже. Он здесь живет как дома — всюду вхож, со всеми общается. У него интересная жизнь. И у нас могло бы быть так же, если бы только не разность систем...

Опять — «капиталистическое окружение»! Опять — «железный занавес». Хороший человек? Бесспорно! Но в путах режима, в тисках несвободы. Кто виноват? Режим не есть абсолютная данность, режим это люди, вот эти самые «милые» и «хорошие» люди. Почему у них такое терпение к тискам и путам? Почему бесчувственность и ограниченность в отношении к вольности, к золотой свободе? Почему такое отсутствие страсти и мужественной правдивости? Наверное, так покойнее — не слишком задумываться, не обрекать себя на мучения, а оставаться чиновником и служить режиму.

Не обрекать себя на мучения? Коммунист Паршин, чтобы не мучиться, стал эсэсовцем. Коммунист Видяев, чтобы не мучиться, стал советским чиновником. Такие разные люди и связаны все же одной веревочкой. Идея Креста, идея страдания — величайшая бессмертная идея Христианства. Коммунизм — отрицание этой идеи. И вот, мы видим, как коммунист становится воплощением мещанина.

Но ход истории таков, что мир проходит через Крест и Россия — первая подымается на Голгофу. Концепция сопереживания судьбы русского народа глубоко религиозна. Она поражает широтою, емкостью. Как всякая философская идея, — именно в силу широты, синтетичности, — она далека от политики, узкой задачи дня. Из нее нельзя делать непосред-

ственных и прямых, практических выводов. Что значит: «надо пережить судьбу русского народа»? Означает ли это, что эмигрант должен записаться в «советские патриоты» и, не пытаясь прорвать сетей уловления, ехать в Советский союз? И там — в концентрационном лагере в Колыме, на принудительных работах на Печоре переживать незадачливую судьбу? К сожалению, есть эмигранты, которые так искаженно воспринимают идею сопереживания, придают философской концепции узкий просоветский смысл. Переживать судьбу русского народа — это значит носить в себе б о л ь Р о с с и и! Нашествие германских армий на нашу страну пробудило боль России в каждом честном русском человеке, где бы он ни находился, внутри ли России или за ее пределами. Боль не должна притупляться и ныне: утверждение большевизма, искажающего русскую национальную сущность, не есть утверждение России. Боль не притупится — не ослабнет негодование, не потухнет страсть к борбе!

Надо пережить судьбу русского народа... Пережить — в борьбе! Отдать силы великому делу освобождения родины, устроения ее на началах и в духе Христовой Правды. Борьба — это Крест и сопереживание. Это верно, что каждому из нас дано узнать свою Голгофу. Мой крестный путь, начатый весною 1944 года, продолжался. Война для меня не кончилась. Продолжая до поры до времени работать в советском Посольстве, я при встрече с верными друзьями из русских эмигрантов в Париже заранее сказал им о своем решении:

— Не возвращаться в СССР, оставаться на фронте, противоположном фронту большевизма.

Михаил Коряков.

ОСАДА ЗИМНЕГО ДВОРЦА*)

Трудно, соблюдая большую или меньшую точность в деталях, рассказать о том, что происходило в последние часы в Зимнем Дворце. Слишком субъективны восприятия и слишком противоречивы показания очевидцев. Конечно, эти детали не могут изменить общей картины.

В сущности, мы не знаем даже точно количества защитников Временного Правительства. Большевики исчисляли их цифрой от 1500 до 2000 человек. К вечеру ряды эти сильно поредели и в огромном здании Дворца казались ничтожными. Покидали Дворец «изголодавшиеся», покидали в одиночку и группами павшие духом, покидали обманутые. Едва ли не самым ярким эпизодом в этом отношении был уход артиллерии — он на многих произвел удручающее впечатление. Около 6 часов вечера юнкера Михайловского артиллерийского училища по приказу начальника училища покинули Зимний Дворец. Впрочем, не все — часть отказалась подчиниться приказу. По большевицкой версии, распоряжение оставить Зимний Дворец было дано начальником училища «под давлением» Военно-Революционного Комитета. В действительности, артиллерия была уведена обманным путем политическим комиссаром при училище, назначенным на этот пост еще в дни корниловского «мятежа». Он сам рассказывал в «Былом» этот эпизод и историю о том, как он в Зимнем Дворце разыгрывал роль волка в овечьей шкуре. При выезде из ворот юнкера были арестованы (повидимому, одной из «застав» Павловского полка) и отправлены в Училище. Ушли и казаки, по воспоминаниям Синегуба, крайне смущенные тем, что единственной пехотой у правительства оказались «бабы с ружьем». Перед уходом они пожелали переговорить с правительством — хотели узнать, на что оно расчитывает. О беседе рассказывает Малянтович. Правительство казакам отвечало то, что говорило юнкерам — оно не может отдать военного приказа: биться до последнего человека; может быть, кровопролитие будет бес-

*) Глава из неизданной книги «Как большевики захватили власть».

цельно и поэтому оно предоставляет свободу действий. Казачий полковник «ничего не сказал» и только «вздохнул». Казаки ушли — «мне казалось», с недоумением в глазах, а, может быть, и с готовым «решением».

В своих воспоминаниях Малянтович несколько резонерствует. Он искусственно придумывает тот ответ, который должно было дать правительство на вопрос военной молодежи в тот критический момент, когда пришлось бы действовать. День прошел в ожидании. Изредка раздавались одиночные выстрелы. К вечеру они стали учащаться. «Нам докладывали, что наша стража . . . отвечала на выстрелы или стреляла, когда на Дворец надвигались большевики. Стреляли в воздух. И этого пока оказывалось достаточно: толпа отступала». Но вот и пушечный выстрел. «Мы или нас?» — спросил Малянтович адмирала Вердеревского. «Мы» — отвечал тот. «Вероятно, в воздух», «для острастки». Пальчинский доложил: «дан выстрел из пушки в воздух» — толпа отхлынула. Но должен наступить момент, когда «надо будет дать короткий решительный приказ. Какой? защищаться до последнего человека, до последней капли крови? Во имя чего? Если власть не защищали те, кто ее организовывал, нужна ли она? И к нам пришли и спросили». «Мы не могли отдать приказ биться до последнего человека, потому что, может быть, мы уже защищали только самих себя». Но «мы не могли отдать и другой приказ — сдаться, потому что не знали, наступил ли такой момент, когда сдача неизбежна» . . . «Какой же военный приказ могли мы отдать? Никакого». Таким образом «мы предоставляли свободному решению наших защитников связать свою судьбу с нашей судьбой». Такой приблизительно ответ, по утверждению Малянтовича, дали на митинге юнкеров он сам, Коновалов, Карташев, Маслов, когда явилась делегация от имени защитников, настаивающая на том, чтобы правительство выступило в полном составе . . .

«Какие то юнкера ушли» — мысленно как бы записывает в свой дневник Малянтович. Эта «запись» методично повторяется и последняя относится к 12 часам ночи: «часть юнкеров Ораниенбаумской школы ушла». «Чем меньше осталось, тем лучше». Это, действительно, под пером Малянтовича резонерство, потому что сам же Малянтович среди других начинает усиленно взывать к общественной помощи. В 6½ часов вечера из Петропавловской крепости в Штаб прибыли двое самокатчиков и предъявили ультиматум за подписью Антонова-Овсеенко с требованием сдачи Временного Правительства и разоружения всех его защитников. На размышление было дано

20 минут, после чего осаждающие грозили открыть огонь из орудий Петропавловской крепости и с военных судов, стоящих на Неве. Ультиматум не был принят правительством; вернее, решено был ни в какие переговоры с ВРК не вступать. Вместе с тем правительство постановило обратиться в Городскую Думу за моральной поддержкой. Одновременно начались усиленные поиски какой-либо физической помощи. Делалось это при посредстве телефона, который оказался невыключенным. Несколько раз звонил Никитин друзьям с просьбой оповестить все демократические организации о создавшемся положении и указать на необходимость привлечь хоть какие-нибудь части войск для поддержки утомленных защитников Дворца. В непрерывных телефонных переговорах с Никитиным, Малянтовичем, Терещенкой находилась и энергичная Кускова. Все взывали о помощи. Но помощи не нашли. «Демократия или вернее подделка под нее этой помощи не дала» — с горечью замечала Кускова в своей статье «Ночь». Кое кто отправился в Городскую Думу, обошел фракции с сообщением, что наступает трагическая развязка и что необходимо выступить на защиту правительства и обратиться с соответствующим призывом к населению. Милюков упоминает, что и Кишкин пытался говорить с Хрущовым и просить подкреплений: что это за партия, которая «не может послать нам хотя бы триста вооруженных человек». Но сам Кишкин был одним из главных технических организаторов своей партии. В газетах того времени можно найти немало объявлений от имени военной комиссии партии народной свободы — комиссия насчитывала целых четыре специальных отдела. Но она ничем не проявила себя в день, когда оружие решало ближайшую судьбу страны.

Из реальных попыток помочь правительству мы знаем только одну, которую пытался организовать Савинков и которая цели своей также не достигла. Днем Савинков отправился, по его словам, отыскивать ген. Алексеева для того, чтобы с ним посоветоваться, что можно предпринять на помощь правительству.[1]) «Ген. Алексеева я разыскал только ночью —

---

[1]) В статье в «Русских Ведомостях» Савинков передавал характерную для тогдашних переживаний деталь. Он посетил предварительно Филоненко, который советовал «не предпринимать ничего против большевицкого выступления, доказывая, что большевиков победить будет легче после того, как они, взяв Петроград и захватив власть, проявят полную неспособность к управлению государственными делами».

рассказывает Савинков — мы решили сделать попытку освободить Зимний Дворец. Был первый час ночи. Я пошел в Совет Союза Казачьих Войск и мне удалось убедить представителей казачьих полков и военных училищ собрать хотя бы небольшую вооруженную силу, чтобы попытаться дать бой осаждающим Зимний Дворец большевикам. В половине второго генерал Алексеев принял депутацию юнкеров и, переговорив с ней, наметил план предстоящих военных действий. Этим военным действиям не суждено было осуществиться. В два часа ночи, раньше, чем казаки и юнкера успели собраться, Зимний Дворец был взят большевицкими войсками».

Деникин со слов близкого Алексееву человека, ротмистра Шапрона, опровергает версию Савинкова. Действительно, Савинков вечером появился на конспиративной квартире, куда друзья увезли Алексеева, принимая некоторые меры к его безопасности. Савинков очень театрально и с пафосом обратился к Алексееву с призывом выполнить свой долг и ехать к казакам. Тогда Шапрон стал доказывать бессмысленность такой авантюры, которая могла привести только к выдаче Алексеева большевикам. Алексеев отклонил предложение Савинкова, как безнадежное. Савинков был склонен и к театральности и к пафосу и тем не менее я не могу себе представить, чтобы он так изменил в своих воспоминаниях сущность дела. Мог запамятовать и Шапрон, несочувствовавший предприятию — тем более, что Савинков в статье, напечатанной в «Русских Ведомостях» по свежему следу (21 ноября), дал ту же версию, что и в позднейших воспоминаниях. Воспоминания Грекова отчасти подтверждают изложение Савинкова и во всяком случае свидетельствуют о более длительных и серьезных переговорах казаков с Алексеевым. Греков прямо говорит, что председатель Совета казачьих войск Аникеев и его заместитель Михеев вернулись с «тайного заседания», созванного ген. Алексеевым. На вторичном совещании будто бы обсуждалась совместная поездка Алексеева и Савинкова навстречу 3-му корпусу генерала Краснова . . . В конце концов неосуществленные решения и предположения в историческом обзоре событий значения не имеют — из инициативы Савинкова ничего не вышло.

*
**

Не имея никакой помощи со стороны, осажденные в Зимнем Дворце начинают принимать реальные меры к самозащите — так, чтобы продержаться до утра, когда подойдут войска с фронта. Прежде всего все силы сдвигаются во Дворец — Штаб

оставлен. И немудрено, что большевики его занимают отрядом всего в 50 человек. В Штабе был арестован генерал-квартирмейстер Параделов и несколько человек, находившихся с ним. Повидимому, Параделов сам остался в Штабе,[2]) будучи не согласен с тем, что правительство не приняло ультиматума (Параделов подал даже рапорт об отчислении от должности в виду того, что у него «нет уверенности в правильности избранного Временным Правительством пути»). Отказался нести обязанности командующего и генерал Багратуни.[3]) Начальником обороны был назначен подполковник Ананьин, стоявший во главе школы инженерных прапорщиков, которой суждено было сделаться, как наиболее организованной единице, основной опорой осажденного правительства. Распределены были роли защитников на случай приступа, расставлены на баррикадах оставленные казаками пулеметы.

Военная власть не препятствовала выходу из Дворца юнкеров, колеблющихся и сомневающихся. Она не руководилась теми соображениями, которые выставляет Малянтович и которые больше характеризуют его личные ощущения. Спаянное меньшинство — более крепкая опора, нежели распыленная масса, подверженная разлагающему влиянию пропаганды. А последняя проникала разными путями. Одним эпизодом можно охарактеризовать положение. Около 8 часов вечера в Зимний Дворец, приведенный уже в боевое состояние в ожидании атаки, легко проникает один из руководителей осады Чудновский. Прибывает он по приглашению делегата Ораниенбаумской школы юнкера Киселева для переговоров о «сдаче», при чем юнкера «честным словом» гарантируют Чудновскому полную неприкосновенность. Чудновский и Киселев по распоряжению Пальчинского были арестованы, но по настоянию юнкеров были выпущены. Вместе с ними ушла и часть юнкеров, не желавших больше сражаться.

---

[2]) Параделов в «Днях» напечатал описание захвата большевиками Штаба. Сделано это слишком картинно и поэтому не внушает к себе доверия. Не очень, например, верится, чтобы начальник большевицкого отряда обратился к нему на чистом немецком языке... (по сведениям большевиков этим сводным отрядом командовал Склянский).

[3]) При выходе из Дворца он был арестован матросами. И только случай сохранил ему жизнь. Раньше днем был арестован помощник военного министра князь Туманов. Он погиб. Это один из немногих эксцессов «исторического» дня.

Положение все еще не казалось безнадежным. В 7 часов вечера Дитерихс из Ставки беседует с поручиком Данилевичем. Передавая [4]) наштаверху телеграмму правительства с просьбой ускорить присылку войск, Данилевич от себя добавляет: «ныне и несколько ранее шла и идет стрельба сравнительно редкая и думаю нервная, так как нападения пока не произошло и большевики держат себя сравнительно пассивно. Во время моего разговора с вами было 3-4 орудийных выстрела, которые, судя по звуку, идут из нашего стана. Временное правительство в полном составе сейчас в Зимнем Дворце и не думает отсюда уходить до ликвидации конфликта . . . Понемногу налаживается организация и руководство теми немногими частями, которые у нас есть. Лично я думаю, что если действительно будет использовано то, что есть, то положение правительства не безнадежно». Дитерихс, сообщая о казачьих полках, которые должны придти в Петербург утром и вечером 26-го, высказывает полную уверенность в том, что «тяжелое положение пройдет почти само собой».

В 9 часов вечера Правительство обратилось к населению со следующей радио-телеграммой: «Петроградский Совет Р. и С. Д. объявил Временное Правительство низложенным и потребовал передачи ему власти под угрозой бомбардировок Зимнего Дворца из пушек Петропавловской крепости и крейсера «Аврора», стоящего на Неве. Правительство может передать власть лишь Учредительному Собранию, а потому постановило не сдаваться и отдать себя под защиту народа и армии, о чем послана телеграмма в Ставку. Ставка ответила о посылке отряда. Пусть страна и народ ответят на безумную попытку большевиков поднять восстание в тылу борющейся армии». Около этого же времени, после холостого сигнального орудийного выстрела из Петропавловской крепости, началось фактическое

---

[4]) Я не знаю, из какого места вел переговоры Данилевич. Большевицкие повествователи говорят, что осаждающие не обратили внимания при захвате Штаба на то, что в чердачном помещении находился аппарат Юза, но провод сохранился и в военном министерстве. Вопреки официальным утверждениям, что здание военного министерства было захвачено восставшими еще за час до захвата Штаба, в действительности о военном министерстве забыли — по крайней мере управляющий политическим управлением Шер после 3 часов ночи информировал Ставку и говорил: «Военное министерство случайно не занято еще восставшими войсками и провод является, должно быть, единственным в Петрограде незахваченным».

наступление на Зимний Дворец. Дело, впрочем, ограничилось на первый раз ружейным и пулеметным (при участии броневиков) обстрелом Дворца.[5]) Интенсивный обстрел и ответный огонь осажденных продолжался примерно около часа. Затем перестрелка замерла. Исполнительный Комитет Почтово-Телеграфного Союза разослал сообщение: «первое нападение на Зимний Дворец в 10 часов вечера отбито», а правительство доводило «до сведения»: «Положение признается благоприятным... Дворец обстреливается, но только ружейным огнем без всяких результатов. Выяснено, что противник слаб».

Картина, действительно, была приблизительно такая: «Беспорядочная толпа матросов, солдат, красногвардейцев то наплывают к воротам дворца, то отхлынивают». Это характеристика Антонова-Овсеенко. Пальчинский в кратких отметках в своей записной книжке подчеркнул, что наличных сил для защиты было достаточно; трагично было отсутствие командного состава — всего пять «действующих» офицеров. Это приводило к дезорганизации.

Первое наступление на Зимний Дворец имело последствием сдачу ударниц женского батальона — они не выдержали огня, по утверждению большевицких источников. Очевидно, эта сдача была связана с тем выступлением на «освобождение» ген. Алексеева, которого не мог предотвратить начальник обороны полковник Ананьин. Ему пришлось донести правительству, что вылазка, произведенная ударницами, «привела их к гибели». Это, конечно, было лишь фигуральным выражением в словесном докладе, который был сделан правительству поручиком Синегубом. У Малянтовича просто «записано»: женский батальон ушел... В ближайшие дни в газетах того времени сообщались фантастические сведения о женском батальоне в Зимнем Дворце. Например, во «Власти Народа» 28-го, со слов приехавших из Петербурга авторитетных свидетелей, рассказывалось, что после ухода юнкеров Дворец самоотверженно защищал только женский батальон, расстрелянный из пулеметов бронированных автомобилей. Батальон потерял 500 женщин. Невероятно, конечно. Едва ли в таком числе женщины вообще были во Дворце.[6]) Повидимому, при самой сдаче или вернее при захвате Дворца ударниц уже не было...

---

[5]) Броневики, которые были у правительства, вынуждены были покинуть площадь из-за отсутствия бензина.

[6]) Ильин-Женевский, насчитывавший ударниц в количестве 200, вероятно, более прав.

*
**

Почему большевики так медлили с захватом Зимнего Дворца? Еще утром был заготовлен Антоновым-Овсеенко тот ультиматум, который вручен был правительству через Штаб в 6 часов вечера. Уже в 10 часов утра ВРК было выпущено извещение: «Временное Правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета Р. и С. Д. — ВРК». В 2 часа 35 минут дня на экстренном заседании Петроградского Совета Троцкий заявил, что «Временное Правительство больше не существует» и что в действующую армию послана радио-телеграмма о падении старой власти. «Судьба Зимнего Дворца — говорил он — должна решиться в течение ближайших минут». Впервые на заседании Совета открыто появился Ленин и произнес речь о задачах советской власти. До этого момента Ленин скрывался в задних комнатах Смольного в замаскированном виде. «Он был обвязан платком, как от зубной боли, с огромными очками, в плохом картузишке» — вспоминает Троцкий. «Вид был довольно странный», но проходивший случайно мимо Дан, у которого глаз был «опытный и наметанный», разобрал маскарад, «толкнул локтем Скобелева, мигнул глазом и прошел». «Владимир Ильич тоже толкнул меня локтем: «Узнали подлецы». «Но это было не опасно, потому что в этот момент мы были господами положения». Если было «не опасно», зачем понадобился маскарад (по словам других Ленин был даже загримирован) в неприступной большевистской цитадели — в Смольном, который охраняли «100 пулеметов»? [7])

Минуты, исчисленные Троцким, следовали одна за другой, проходили часы, а Зимний Дворец не только не был взят, но даже не было сделано попыток его захватить. В ожидании фактического падения Временного Правительства не открывался и съезд Советов — ведь его надлежало поставить перед совершившимся фактом. Из Смольного шли настойчивые требования взять немедленно Зимний Дворец. Штаб ВРК назначил окончательный срок на три часа — в момент, когда в Совете Ленин

---

[7]) Финский коммунист Рахья, у которого Ленин проводил последнюю ночь, рассказывает довольно картинно, как он с «вождем» тайком пробирался вечером 24-го в Смольный. Они встретили юнкерский патруль, принявший Ленина, одетого в самую худшую одежду и потрепанную старую кепку, за пьяного. Вид был таков, что их не хотели даже свои пропускать в Смольный.

произносил здравицу во имя грядущей социалистической революции. Затем срок был перенесен на 6 часов — момент предъявления ультиматума. Истекли и назначенные ультиматумом минуты, великодушно «по настоянию» Штаба осажденных срок ответа был продлен еще «на 10 минут». Так нетерпеливы были осаждающие. Началась перестрелка, но Зимний Дворец все еще не был взят.

Наконец, открылся съезд в 10 часов 40 минут. Ленин на съезде не появился. Он, как «лев» в клетке, метался в маленькой комнатке подле заседания и «ругался». Отсюда он слал одну записку за другой Подвойскому, Антонову и другим.[8]) На съезде, открытом Даном и давшем большевикам 390 голосов из 650, происходила обычная фракционная волокита. Представители с. р., меньшевиков, бунда, фронтовых групп выступали со внеочередными заявлениями протеста против заговора и захвата власти. Протестанты покидали съезд. Ушли с него и меньшевики-интернационалисты во главе с Мартовым, предложившие прервать работы съезда до выработки платформы мирного разрешения кризиса путем создания общедемократического правительства. Левые с. р., высказываясь за создание «единого революционного фронта», но против предложенной Троцким резолюции с приветствием «победоносному восстанию», на съезде остались.

А Зимний Дворец все еще не взят. На съезде, где остались только единомышленники, объявляется перерыв. Зачем? Очевидно, заговорщики не очень верили в прочность настроений серой съездовой массы — боялись «нервировать» съезд, по выражению Троцкого; другими словами — той психологической изоляции большевиков, которая могла создаться на съезде. Только окончательная развязка, реальный конец Временного Правительства, ставившая съезд перед совершившимся фактом, могла поднять настроение и заставить съезд идти вслепую по трафарету за «вождем». До этого момента успех восстания стоял еще под вопросом.

При таких настроениях трудно понять, почему медлили восставшие с захватом Зимнего Дворца, раз у них, действительно, была сила. Предположения, которые делал генерал Левицкий в утреннем разговоре с Духониным, как будто бы

---

8) По утверждению Троцкого, вместе с «Ильичем»» они лежали на полу в соседней комнате и отдыхали и только изредка Троцкий выходил в зал заседаний для того, чтобы подать реплику Дану или иному оратору.

не были основательны. Свой разговор он закончил словами: «Малая решительность большевиков, давно уже имеющих фактическую возможность разделаться со всеми нами и дает мне право считать, что они не посмеют пойти в разрез с мнением фронтовой армии и дальше указанного не пойдут». Центр настойчиво и многократно требовал активных действий против Зимнего Дворца. Действующие на местах «революционные штабы» выдвинули внушительные, по крайней мере по внешности, силы по сравнению с тем, чем располагали защитники Зимнего Дворца. «Цепи» Чудновского, включавшие артиллерию, броневики, пулеметы и пехоту, подступили к самому Дворцу; Петропавловская крепость, где обосновался Подвойский, грозила артиллерийским обстрелом; с «Авроры», окруженной миноносцами, грозно смотрели шестидюймовки под бдительным надзором Антонова-Овсеенко. И все-таки что то мешало приступом захватить Зимний Дворец.

Едва ли можно поверить тому, что не наступали по какому-то неожиданному сантиментальному чувству — желая сохранить жизнь членов правительства и защищающих его юнкеров и не желая производить разрушения во Дворце.[9]) Едва ли можно поверить Подвойскому в том, что замедление диктовалось стремлением добиться сдачи Зимнего Дворца, заставить защитников его сложить оружие и тем морально унизить правительство. Такая тактика не соответствует злобным и бессильным «рычаниям» Ленина в Смольном. Придется откинуть и версию, которая объясняет задержку в последнем акте восстания желанием избежать тех сотен героических жертв со стороны «красных», которые были бы неизбежны при штурме.

Было что то другое, что мешало активным действиям. Какие то случайности врывались в командные распоряжения. Случайности подчас даже мелкие и комические. Так было условлено с новым комендантом Петропавловской крепости Благонравовым, что по окончании окружения Зимнего Дворца на крепостной мачте будет поднят красный фонарь. И вот, никак не могли поднять на мачту этот злочастный фонарь — забыли приготовить заранее, а во всей Петропавловской крепости красного фонаря найти не могли. Был, наконец, получен приказ

---

[9]) Эту никчемную легенду поддерживал впоследствии склонный к неуместному подчас скоморошеству Луначарский («Бывшие люди»): большевики де у Зимнего «хлопали своими пушками, как хлопушками» и действовали с такой «осторожностью и деликатностью, словно боялись оцарапать каких-нибудь женщин и детей».

вести артиллерийскую стрельбу из Петропавловской крепости боевыми снарядами. Но орудия . . . не стреляли — не доставало каких-то частей. Пришлось наскоро искать не столько недостающих частей, сколько других артиллеристов. Присланы были два моряка. Пушки застреляли, но снаряды ложились вне зоны пристрела. Из 35 выстрелов попадание было только два раза и то по карнизу Дворца. «Я вышел после полудня» — записывал на другой день Бьюкенен, «чтобы взглянуть на повреждения, причиненные Зимнему Дворцу в прошлый вечер длительной бомбардировкой, и, к моему удивлению, несмотря на близость прицела со стороны реки имелось всего три отметки в тех местах, где ударила шрапнель. Со стороны площади стены были испещрены тысячами пуль от пулеметов, но ни один выстрел из полевых орудий . . . не попал в здание».

Троцкий должен признать, что, очевидно, и самые верные артиллеристы давали преднамеренно перелеты. Когда захотели пустить в ход шестидюймовки «Авроры», то оказалось, что крейсер в силу своего расположения по Зимнему Дворцу стрелять не может. И дело ограничилось устрашением — холостым выстрелом.[10])

*
**

Я несколько опередил события. Обстрел из орудий начался только в 11 часов вечера, когда в Смольном открылся съезд советов и когда наступил, как бы, последний час для выполнения плана, которому мог грозить срыв. Вернемся к хронологически прерванному повествованию.

В тот самый момент, когда начался обстрел Зимнего Дворца, т. е. около 9 часов, собралась Городская Дума. Там Станкевич нашел атмосферу «бодрую и уверенную». Вероятно, более прав другой свидетель, Игнатьев, характеризующий обстановку в Думе как «тревожную». За день ни Дума, ни руководящие в ней политические партии никакой помощи правительству сорганизовать не сумели. «Революционная демократия разговаривает, революционное правительство погибает» — с горестной язвительностью заметил Никитин в последнем своем телефонном разговоре с одним из друзей.

---

[10]) Все большевицкие свидетельства опровергают слова Подвойского, что «Аврора» стреляла из своих шестидюймовок боевыми снарядами. Это отрицали на другой день и сами матросы в «дружественной» беседе с корреспондентом «Народного Слова», посетившим крейсер.

При открытии заседания Думы городской голова Шрейдер сообщил, что через «несколько секунд» начнется обстрел Зимнего Дворца. Дума решила послать три делегации в целях предотвратить катастрофу — на крейсер «Аврору» (во главе с графиней Паниной), в Смольный (сам Шрейдер) и в Зимний Дворец (председатель Думы Исаев). Заседание Думы было прервано. Через два часа делегации вернулись — они не были пропущены патрулями... Возобновилось заседание Думы. Хоры полны публики, в проходах — общественные деятели и представители районных Дум. На кафедру «вбегает» с. р. Быховский и взволнованно сообщает, что ему только что удалось переговорить по телефону с министром земледелия с. р. Масловым в Зимнем Дворце. Маслов просил его передать, что положение во Дворце тяжелое, что министры готовы погибнуть и что последнее его, Маслова, слово перед смертью будет «проклятие той демократии, которая послала его в правительство, а теперь изменила». Заявление это при нервной обстановке произвело «потрясающее впечатление». Более экспансивные, как всегда, женщины, Панина и Нечаева, взволнованно призывают Думу идти и умереть вместе со своими избранниками во Дворце. Дума поименным голосованием принимает решение идти ко Дворцу — решение было принято 62 голосами против 14 голосов большевиков и при 3 воздержавшихся.

После решения — умереть с Правительством — прошло полтора часа. Звонили по телефону в партийные организации, в Исполнительный Комитет Совета Крестьянских Депутатов и т. д., созывали ночью людей идти умереть на Дворцовую площадь. Сносились с Зимним, уславливались о порядке шествия, устанавливали сигналы — три раза махнуть зажженным фонарем и т. д. Возвышенная, граничащая с героическим экстазом атмосфера постепенно рассеивалась. Настроение спадало. И когда уже пошли, не было ни подъема, ни вдохновения. Шли, по словам Зензинова, стройными рядами и с пением «марсельезы». Прошли шагов двести, и на Казанской площади были остановлены патрулем. Двигалась, вероятно, очень нестройная толпа — к думской процессии присоединилась и публика. И вряд ли эта ночная «демонстрация бессилия» во главе с Прокоповичем и Шрейдером могла произвести импозантное впечатление на патруль, остановивший процессию. Потолкавшись с час на месте, продрогнув и промокнув, процессия вернулась в здание Городской Думы.

Алданов (в «Картинах октябрьской революции») с большой иронией говорит об этой «исторической и истерической»

сцене в Думе. Интеллигентная масса, вероятно, подвержена коллективному психозу, как и всякая толпа. Революционная фразеология тождественна во все эпохи. Одному наблюдателю того времени (Амари) казалось, что в эти дни в русской действительности плохие актеры разыгрывали пьесу из истории французской революции. О готовности умереть говорили слишком часто, не сознавая, что подобные слова могут к чему то обязывать. Говорили все, вероятно, искренно и с подъемом. Так и в Думе 25-го сознание того величественного, что должно произойти, исторгало слезы восторга. Думское решение вызвало подъем и у осажденных во Дворце. И объективно бессмысленный жест превращался в положительный фактор — людям, идущим на гибель, всегда нужна моральная поддержка: это была нравственная поддержка защитникам Зимнего Дворца. Ночная «демонстрация бессилия» со стороны Думы имела и другие, более значительные результаты. Она совершила перелом в рядах антибольшевицкой революционной демократии и сделала возможным тот факт, что дальнейшее сопротивление большевикам велось под ее флагом — наряду с идеей изоляции мятежа оказалась возможной и идея вооруженного ему отпора.

И не так уже наивен был официоз народных социалистов («Народное Слово»), усмотревший «здоровое государственное чувство» в «героическом, полном великого самозабвения акте Петроградской Думы». Так что В. А. Оболенский совершенно напрасно впоследствии со стыдом вспоминал свое участие в думской процессии, ходившей спасать Правительство («На чужой стороне»).

Когда думское шествие вернулось назад около 3 часов ночи, в Думе собрались представители всех организаций, принявших решение организовать «Комитет спасения родины и революции» в составе представителей Думы, старого ЦИК, Исп. Ком. Кр. Деп., ушедших со съезда советских фракций с. р. и с.-д., Предпарламента, фронтовых комитетов, профессиональных организаций и социалистических партий. Постановлено было обратиться к стране с призывом бороться против большевиков за восстановление Временного Правительства — правда, правительства уже нового, а не старого состава. И все-таки — какая огромная дистанция между Комитетом Спасения и думским Комитетом Безопасности, который вел переговоры с большевиками и в политической борьбе склонен был занимать позицию нейтральную! — Дума не должна вмешиваться в политическую борьбу — доказывал за несколько часов перед тем с. р. Капица: у Думы нет основания защищать

«персональные интересы» (?) и в частности Керенского (по отчету «Дело Народа»).

*
**

«Посмертному» письму Маслова суждено было сделаться последней каплей, нарушившей душевное равновесие многих и многих представителей революционной демократии — даже того ее крыла, которое никакого участия в последующей вооруженной борьбе не принимало, а частью даже поддерживало большевиков.

Только что, в перерыве на съезде советов, принята фракцией меньшевиков-интернационалистов, т. е. группой Мартова, резолюция, осуждающая «военный заговор»: переворот грозит вызвать кровопролитие и торжество контр-революции, которая задавит в крови все движение пролетариата; единственным исходом из такого положения могло бы явиться соглашение восставшей части демократии с остальными демократическими организациями. Частное письмо от того же 25 октября, адресованное из Петербурга в провинцию, раскрывает скобки и объясняет психологию этих людей в момент, когда, казалось бы, торжество большевизма обеспечено. Они в него не верят — они осуждают большевицкое восстание, но противодействовать ему не будут; они дадут вооруженный отпор правительству, если последнее будет силою оружия подавлять восстание, и сами готовы умереть на баррикадах вместе с пролетариатом.

В Смольный доносится гул орудийных выстрелов. У Мартова «истерика», по выражению большевицких наблюдателей... Взволнована и группа бундовцев во главе с Абрамовичем, который предлагает отправиться к Зимнему Дворцу и «погибнуть с правительством». Каменев предпочитает «победить или умереть со всероссийским съездом»...

И, быть может, несколько неожиданно мы встречаем на минном заградителе «Амур», который должен был начать обстрел Зимнего Дворца в виду «неприспособленности» «Авроры», «советскую» делегацию с целями, аналогичными тем, с которыми почти одновременно посылались делегации из Думы. Эта советская делегация из двух левых с. р. и двух меньшевиков-интернационалистов пытается убедить матросов не стрелять по Зимнему Дворцу — там находятся и министры социалисты. Кто то из состава делегации «с дрожью в голосе» сообщил, что «Маслов проклинал демократию»... В это время влетает посланец с приказом немедленно начать стрельбу...

Другая «советская» делегация направляется к Зимнему Дворцу. Она дошла до помещения Штаба и оттуда по телефону старается соединиться с Зимним Дворцом для того, чтобы «без крови сговориться». Уходили эти делегации из Смольного под «хохот и издевательства» большевицкой толпы — вспоминает Бонч-Бруевич.

И не только «толпы». Мстиславский пытается в своих воспоминаниях опошлить чувство пробудившейся общественной совести у той фракции социалистов-революционеров, от имени которой он делал предложение «немедля прекратить видимость боевых действий, так как слишком ответственны, слишком велики стоящие перед нами решения, чтобы принимать их — отвлекаясь, волнуясь гулом канонады». Слово это подхватывает Троцкий: кому могут мешать звуки перестрелок? Напротив. Они помогают работать . . .

*
**

Мы не знаем, стали ли бы в действительности стрелять шестидюймовки с «Авроры» или орудия минного заградителя «Амур». Выполнение «приказа», который мог бы иметь «роковое значение» было задержано. «Мы порешили выждать еще четверть часа, инстинктивно чуя возможность смены обстоятельств» — слова эти, принадлежащие одному из руководителей боя, соответствовали моменту. Парламентеры с новым ультиматумом, во главе с Чудновским, проникли с среду осажденных. Цитадель Временного Правительства решено было сдать — это было решение начальника обороны. Наступили последние минуты. Еще раз Никитин соединился по телефону со своими друзьями и передал через них «привет» демократии. Когда один из говоривших (Хижняков) пытался вновь вызвать Зимний Дворец, он услышал лишь «дикий шум с отдельными возгласами обезумевших людей» . . .

Надо прочесть исключительно талантливые воспоминания Синегуба, по внешности как будто бы сумбурные, но тем самым с поразительной образностью передающие атмосферу в последние часы Зимнего Дворца. Внешняя хаотичность для автора только литературный прием. Синегуб с подлинной яркостью изображает свое собственное, граничащее с невменяемостью, состояние, чувства и мысли защитников правительства и весь окружающий хаос. Залы дворца кишат просачивающимися из задних входов матросами и красногвардейцами. Часто не разберешь, где свой, где чужой. Матросы разоружают отдельные

группы юнкеров. С револьвером в руках, окруженный десятком юнкеров, появляется Пальчинский, самый действенный из всех начальствующих в Зимнем Дворце. Победители переходят на положение пленных. Но там, за стенами, тысячи, а здесь сотни неорганизованных, подчас без руководства, без офицеров...

Шум снаружи — это «аккомпанимент к тишине», жуткой уже тишине, воцарившейся в министерской комнате. «Тревожный шум в самом дворце» — ворвались откуда то 30-40 человек. Бросили бомбы. Опять тишина. Опять ворвалась толпа. Уже большая — человек 100. Пальчинский доложил, что юнкера приняли ее за делегацию от Думы. Толпу обезоружили. «И вдруг возник шум где-то и сразу стал расти, шириться и приближаться». «Шум зазвучал иначе». Ясно «нас берут приступом» — так снова полузаписывает, полувоспоминает Малянтович...

Большевицких мемуаристов — из тех, кто руководил осадой Зимнего Дворца, не удовлетворяет такая проза при описании «героического момента революции», «прекрасного», «незабвенного» захвата Зимнего Дворца. В патетических тонах стремятся они описать «подвиги красных героев» в ночь с 25 на 26 октября. Визжат ядра орудий, рвутся гранаты, трещат пулеметы. Идущие на приступ «перелетают» баррикады. Защитники смяты.[11]) Двор занят. Врываются в Дворец. Разметывают защитников Правительства. Юнкера бросают оружие. Ищут «виновников». Взламываются двери запертых комнат. Вот дверь, у которой стоят окостеневшие от ужаса, скованные долгом юнкера. Временное Правительство! Наставляют штыки — долой! Массы врываются в комнату... Все арестованы. Низвергнутые «лепечут о защите от масс». Так приблизительно в вечер воспоминаний в 1920 году изображал дело Подвойский.

Трудно себе представить, каким образом при такой «бешеной атаке» захват Зимнего Дворца стоил «всего лишь шести жертв» со стороны наступавших. Это почти официально заявил после переворота Зиновьев и позже (10 ноября) подтвердил В. Р. К. — «несколько раненых с обеих сторон и шесть убитых среди войск В.Р.К.».[12]) Наблюдателю со стороны этот «беше-

[11]) Один из участников штурма, входивший в состав тысячной кронштадтской когорты (Колбин) вспоминает даже, как ударницы из окон «бешено метали ручные гранаты».

[12]) Настоящие цифры были, вероятно, несколько иными. Например, руководители рабочим отрядом Балтийского Судостроительного завода исчисляют свои потери также в 6 человек. Эти «шесть» фигурируют и у кронштадцев.

ный» приступ не покажется действительным боем. И он, конечно, будет более прав в своих оценках. «Организованной защиты не было и несчастных случаев с той или другой стороны было сравнительно немного» — запишет сэр Дж. Бьюкенен, наблюдавший из окон английского посольства в самый разгар бомбардировки, в 11 часов вечера, как трамваи продолжали спокойно проходить через Троицкий мост.

Троцкий, написавший историю октябрьского переворота — пока единственную, если не считать соответственных страниц общего труда Милюкова и «записок» Суханова, — не последовал в своей книге целиком за версией большевицких апологетов; на его изложении операции вокруг Зимнего Дворца сказалось влияние «белогвардейских» источников. Но всетаки «дворец не сдался, а взят штурмом». Правда, в такой момент, когда «сила сопротивления осажденных успела окончательно иссякнуть». Он повторяет рассказ Малянтовича, как в корридор ворвалась уже не потайным ходом, а через защищаемый двор, сотня врагов, которых деморализованная охрана приняла за депутацию Думы. Вероятно, такой ошибки и не было. Ворвалась толпа за парламентерами и действительно тем самым разрушила «штыковую и огненную преграду» между наступающими и обороняющимися: площадь стала вливаться во двор, из двора во дворец и растекаться по лестницам и корридорам. «В корридорах фантасмагорические встречи и столкновения. Все вооружены до зубов. В поднятых руках револьверы. У поясов ручные гранаты. Но никто не стреляет и никто не мечет гранат, ибо свои и враги перемешались так, что не могут оторваться друг от друга» ... Вот дверь, у которой юнкера застыли в последней позе сопротивления. Их разоружают. Победители врываются в комнату министров. «Объявляю вам, членам Временного Правительства, что вы арестованы» — провозглашает Антонов от имени ВРК. Часы показывают 2 часа 10 минут ночи. Члены Временного Правительства подчиняются насилию и сдаются, чтобы избежать кровопролития — отвечает Коновалов. Неизбежная часть ритуала соблюдена.

К словам Троцкого нужны поправки. Их делает Синегуб. Начальник обороны послал Синегуба предупредить правительство, что он вынужден сдать Дворец и что юнкерам обещано сохранение жизни. О Правительстве «парламентеры» отказались говорить. Среди министров происходит совещание о капитуляции. Толпа, сопровождавшая Антонова, останавливается перед юнкерской охраной и в комнату, где находится правительство, Пальчинский ввел лишь одного Антонова. К юнкерам

вышел затем Пальчинский и объявил решение: принять сдачу без всяких условий, выражая этим подчинение только силе, что предлагается сделать и юнкерам. Последних пришлось убеждать — и Пальчинскому, и Коновалову, и кому-то еще, и доказывать, что дальнейшее сопротивление приведет лишь к бесцельной и бессмысленной гибели. Юнкера молчали, а «шляпенка» — как окрестил Синегуб Антонова-Овсеенко — надрывалась в призывах к «революционной дисциплине» по адресу наступавшей толпы.

Фальшива в значительной степени театральная инсценировка, которую пытаются изобразить и Троцкий и сам Антонов. Министры расселись за столом — словно происходит заседание каких-то авгуров, но авгуров испуганных: «все тринадцать застыли они за столом, сливаясь в одно трепетное бледное лицо». Сцена выросла из фразы в воспоминаниях Малянтовича: «сядем за стол» — сказал Кишкин.[13]) Более правдиво и жизненно рассказал Синегуб: «с величайшим спокойствием, какое может быть лишь у отмеченных судьбою сыновей жизни, смотрели частью сидящие, частью стоящие члены Временного Правительства». «Мы не сдались и лишь подчинились силе и не забывайте, что ваше преступное дело еще не увенчалось окончательным успехом» — слышится чье-то мужественное заявление...

Ни растерянности, ни колебаний. А момент был все-таки жуткий. Во Дворец ворвалась не революционная когорта большевицкой рати, а в полном смысле слова разношерстная толпа с присущими ей эксцессами и насилиями; толпа, возбужденная боевой обстановкой стрельбы, порохом, бомбами. Хулиганские элементы начали свои подвиги с разграбления Дворца — этого не отрицают ни большевицкие мемуаристы, ни советские историки. Вероятно, здесь собрался весь тот «деморализованный хаос», который некоторые исследователи нашего недавнего прошлого так склонны выдвигать на авансцену при описании октябрьских дней.[14]) В отношении министров раздавались не-

---

[13]) Эту фразу приводит, правда, и Смирнов, добавляя: «Все последовали его призыву».

[14]) Специальная комиссия Городской Думы через 5 дней после штурма произвела обследование разгрома Зимнего Дворца и установила, что в смысле ценных художественных предметов искусства Дворец «потерял немного», хотя там, где прошли грабители, комиссия натолкнулась на картины полного вандализма — у портретов прокалывались глаза, на креслах срезаны кожаные сидения, дубовые

двусмысленные угрозы расправы. Правда, и Малянтович, и Синегуб, и Карташев указывают и на другое — на какое-то добродушие и недоумение при индивидуальном соприкосновении представителей двух разных как будто миров. Стража и арестованные перекидываются замечаниями, которые переходят в беседы. Даже Антонов-Овсеенко отмечает, что Терещенко «наседает» на матроса с «Авроры»: как вы управитесь без интеллигенции; Карташев чуть ли не ведет богословский спор с каким то матросом; третий — анархист, уверяет, что большевики захватили власть не надолго — власть должна принадлежать им, анархистам, эту власть отрицающим. Среди охраны уже выделяются защитники. Нет того ненавистного классового врага, которого так старательно хотела бы отыскать большевицкая литература.[15])

Министров под охраной 25-ти конвоиров выводят на двор — их должны отвести в Петропавловскую крепость Перебираются через полуразбитые баррикады. Стража в темноте растеривает арестованных. Малянтович должен ухватиться за кушак своего матроса, чтобы не очутиться одному в новой враждебной толпе. Кто-то ударил Ливеровского, министра путей сообщения. Два матроса ведут Карташева — один все заводит в сторону, к стене, словно хочет его прикончить, другой оберегает своего недавнего оппонента в религиозной дискуссии. Он назвал даже Карташеву свою фамилию — со временем она войдет в историю. Арестованные выведены на площадь и окружены конвоем. Толпа кругом не так велика, как это может показаться по описаниям большевиков. Это —

ящики с фарфором пробиты штыками, ценные миниатюры, иконы, книги и прочее валялись на полу и т. д. Краткое описание разгрома дано в воспоминаниях инженера Ларсона, бывшего председателя думской комиссии. В первый момент грабителям не удалось проникнуть в винный погреб, представлявший ценность в несколько миллионов золотых рублей. Все попытки замуровать погреб ни к чему не привели и пришлось в конце концов винные бутылки расстрелять ружейными пулями.

15) Очень характерны обстоятельства, при которых в последнюю минуту самому Синегубу удалось выбраться из Дворца — его вывел мастеровой, пришедший с товарищем «посмотреть, как берут Дворец». Товарищ остался в дворцовом винном погребе. Для уяснения различных настроений того дня столь же показателен и рассказ Синегуба о том, как он попал в офицерский бест при Павловском полку — его ангелом-хранителем тут был солдат запаса.

не тысячи, запрудившие дворцовую площадь и сплошной стеной окружавшие дворец, скорее — «кучка людей», по утверждению Смирнова, теряющиеся в обширном пространстве и как то неожиданно выступающие из царящей темноты. В толпе много пьяных. Так утверждали в своих тогда же напечатанных рассказах и министр труда Гвоздев и министр земледелия Маслов («Дело Народа»). «Настроение становится враждебным» — характеризует положение Малянтович. Был момент, когда толпа прорвала охрану и, по свидетельству Никитина («Рабочая Газета»), последствия могли бы быть тяжелыми, если бы не энергичное вмешательство Антонова-Овсеенко. Толпа раздраженно ищет Керенского, на личности которого агитация и демагогия искусственно сосредоточили ненависть и раздражение. Будь Керенский среди арестованных министров, может быть, самосуда нельзя было бы избежать — таково впечатление самих арестованных ... Угрозы самосуда повторились на Троицком мосту, когда произошла встреча с новой толпой — может быть, всего «несколько десятков». Какие то провокаторские или озлобленные голоса кричали: «в воду их, кровопийцев, изменников, продавших Россию немцам». «Эй вы, до победного конца! Потопить их всех и короток суд». «Чудесная случайность спасла нас» — утверждает Малянтович: броневик «по недоразумению» стал обстреливать мост. Толпа разбежалась. Конвой и арестованные полегли на землю ...

Наконец, Петропавловская крепость и в ней Трубецкой бастион, в казематы которого новая власть заключила членов Временного Революционного Правительства.[16]) «Мякинные люди» — назвал их печатно один из наблюдавших ход событий в октябрьские дни. Но эти «мякинные люди» своим мужеством и достойным поведением сумели в последние трагические часы запечатлеть в летописной книге судеб поистине красивую и достойную страницу. Их подвиг был тогда же оценен современниками: общегородское собрание 350-ти меньшевиков-оборонцев 27 октября приветствовало «непоколебимое мужество, которое проявили министры Российской Республики, оставшиеся на посту до конца под пушечным обстрелом и тем показавшие высокий пример истинно революционной доблести».

---

[16]) В Петропавловскую крепость был заключен и арестованный большевиками Бурцев — он поспешил возобновить свой боевой орган и сумел 25-го выпустить вечерний номер. Это была единственная газета, сообщившая факты за этот день.

В резолюции прозвучал голос демократии. И все-таки каждый, кто прочитает слова Алданова: «тут русской демократии стыдиться нечего», написанные о «страшном вечере на Дворцовой площади», законно спросит — при чем здесь демократия? Организованная демократия, может быть, более других повинна в том, что этот «страшный вечер» 25 октября протекал при такой полной изоляции Временного Правительства и что честь демократии, судьбы страны защищали ударницы из женского батальона смерти, 2-3 роты юнкерской молодежи и 40 инвалидов георгиевских кавалеров во главе с капитаном на протезах . . .

Какова же была судьба этой молодежи? Надо быть объективным. Все волновавшие общество слухи о расправах, последовавших за сдачей Зимнего Дворца, слухи, попавшие на столбцы тех органов социалистической печати, которые продолжали выходить после переворота, и зарегистрированные потом в дневниках (например, у Гиппиус), следует приписать скорее напряженным нервам. «Жуткие дни» — записывает Милицын: «город полон слухов о кровавых расправах большевиков с юнкерами и женщинами из батальона смерти. Неистовствуют матросы и красногвардейцы». Естественно, что стоявшей в стороне, недавно выпущенной из тюрьмы Вырубовой уже казалось, что «убивали и резали» даже «на улицах».

В данном случае прав Троцкий, заметивший в своем историческом труде: никаких расстрелов не было и «по настроению обеих сторон в тот период быть не могло».

С. Мельгунов.

ЛЕНИНЕЦ СЕРЕДИНЫ ПРОШЛОГО ВЕКА:

ЭРНЕСТ КЭРДЕРУА (1825-1862)

Имя Кэрдеруа (Coeurderoy) ничего, конечно, не скажет читателю. Это писатель в полном смысле слова забытый. Библиограф анархизма Неттлау, посвятивший Кэрдеруа восторженную статью во втором выпуске «Архива по истории социализма» (1910 г.) и переиздавший, с обширным биографическим введением, три тома его заграничного дневника «Дни изгнания» (1911 г.) — буквально открыл его читателю 20 века.

Между тем Кэрдеруа личность незаурядная. Неттлау считает его выдающимся художником слова, достойным занять в мировой литературе место непосредственно рядом с Ницше. Мы здесь хотим познакомить читателя лишь с политическим обликом Кэрдеруа — с его боевой, социально-философской платформой, полной, как убедится читатель, самого живого современного интереса. В своей революционной грезе Кэрдеруа не только прозрел ленинизм, разглядел в тумане грядущего российский «Октябрь» в его европейском разрезе, он духовно был как бы современником этой эпохи: «Внешне, — писал он, — я живу в нашем веке, а душою принадлежу грядущему».

Политическая карьера Кэрдеруа, молодого интерна парижских больниц, началась активным участием в революции 1848 года и во всех последующих боевых манифестациях и выступлениях этого и следующего года. После уличной демонстрации 13 июня 1849 года он, в числе многих других, бежал заграницу — сперва в Швейцарию, затем в Бельгию, Англию и Испанию. Политическим изгнанником окончил он и свои дни (1862 год).

Декабрьский переворот 1851 года буквально потряс Кэрдеруа и перевернул прежний ход его мыслей. Из классического французского революционера, подражателя героям 93 года, из скромного социалиста филантропического уклона он превратился в ярого «анархиста» (как он сам себя теперь называет), апостолом революции бакунинского разрушительного стиля. Недавних политических друзей своих — Мадзини, Ледрю

Роллена, Луи Блана, Пьера Леру — он, в полном желчи и яду памфлете «Перед битвой», с презрением отталкивает от себя, почти как врагов.

Крах революции 48-49 года, в том же направлении разочарования в политической демократии (всеобщем избирательном праве) и всей западно-европейской цивилизации — отразился на чувствах и воззрениях не одного Кердеруа. Наш Герцен — яркий пример. Именно к этой эпохе относятся его письмо к Гервегу, открытое письмо к Мишле, статьи в прудоновском «Голосе Народа» (под общим заглавием «Россия») и его французская книга «О развитии революционных идей в России» — произведения, отразившие новое направление его идей. Европейские впечатления последних сороковых и первых пятидесятых годов явились ушатом холодной воды для его прежнего западничества и, в одном, по крайней мере, пункте, в вере в историческую миссию России и славянства — сблизили с идеями славянофильства: славянство сильно своей первобытностью, своей молодостью, тем, что жизнь его протекла вне русла европейской цивилизации, что она не несет на себе проклятия европейского прошлого... Кроме самого краха революционных движений и революционных надежд середины прошлого века, на настроениях Герцена особенно глубоко отразилось одно из последствий этого краха — стихийная ненависть к России и русским, разлившаяся по демократической Европе после усмирения русскими войсками революции в Венгрии. Несправедливое смешение русского народа, в представлении европейцев, с его правительством, вызвало в душе Герцена патриотическую реакцию вместе с желанием заступиться за свой народ, показать его Европе таким, каков он на деле, в своей истории, есть. Так возникла его книга «О развитии революционных идей в России» и другие, смежные с ней по духу произведения этого периода. Разделял Герцен и всеобщее почти тогда ожидание близкого вторжения русских армий в Европу. Россия, перед Крымской войной, рисовалась Европе несокрушимо мощным военным колоссом.

Герцен, с ужасом рисуя себе подобную перспективу, вместе с тем связывал с ней, и для России, и для Европы, радужные надежды: война вызовет в России социальную революцию, а спасенная Россия спасет и Европу. Нельзя представить себе, чтобы русский народ осуществил свою миссию, оставаясь в рабстве и под игом петербургского диктатора. Конечно, рабство это отвечает каким то элементам национального русского харктера, но они преходящи: элементы эти

должны быть, и будут, побеждены другими, противоположными, элементами. Должны быть, будут..., а что если не будут? если победят они сами? Мысль об этом наполняет Герцена ужасом: «Если бы Россия сжилась с существующими порядками, если бы она продолжала свой петербургский период или вернулась к московскому, у нее не осталось бы другого призвания, как броситься на Европу полуварварской, полуразвратной ордой, опустошить цивилизованный мир и погибнуть самой среди всеобщих развалин... Так и случится, если в Европе восторжествует консерватизм. Императорская российская власть сокрушит тогда цивилизацию, истребит весь цивилизованный класс, а затем...» (многоточие Герцена)... «Это она, солдафонская (soldatesque) Россия, хочет силой штыков разрушить все волнующие наш мир вопросы. Это она рычит и воет как море у входа в гавани цивилизованных стран, каждую минуту готовая их затопить, трепещущая желанием вторгнуться, как будто дома у нее нет своих задач, как будто бы повелитель ее омрачен укорами совести или приступами безумия. Только реакция может открыть ей ворота: Гогенцоллерны, Габсбурги, — вот кто способен призвать к себе на помощь русские армии и довести их до сердца Европы. Русское правительство двадцатилетним усилием, не сознавая того, создало нерасторжимую связь российской судьбы с судьбой революционной Европы» ("Developpement des idées révolutionnaires en Russie", *passim*).

Мысль о возможном вторжении «солдафонской» России в Европу будила в душе Герцена ужас. Совсем с другими чувствами думал о нем Кэрдеруа. Он прочел статьи Герцена в прудоновском журнале, прочел и «Развитие революционных идей», и пришел от прочитанного в полный восторг. В идеях Герцена он схватил все, что отвечало его собственным настроениям, и, отбросив остальное, объявил себя его единомышленником. Одно за другим, он послал Герцену два восторженных письма. Второе из них сохранилось в бумагах Герцена, и издано, с его комментарием, в томе «Посмертных произведений» (1871 г.).

Французские республиканцы, писал там Герцен, любят итти по проторенной дорожке, играть в монтаньяров первой республики. «Изредка, впрочем, я встречал среди них людей эксцентричных, сорвавшихся с гуртовой, торной дороги. Зато уж в этих случаях французы закусывают удила и, усвоив мысль, не входящую в сумму оборотных идей, доводят ее до того

через край, что человек, подавший ее, сам с ужасом отпрядывает от них».

Так случилось у Герцена с Кэрдеруа. «Такого озлобленного крика против современной Франции и ее последних революционеров мне редко приходилось слышать», пишет Герцен, прочтя письмо Кэрдеруа и присланную им брошюру «Ура! или революция через казаков!»: «Он сомневается в уме, в силе, в самой крови своей нации и зовет казаков для поправления выродившегося народонаселения. В моих статьях он обнаружил собственные воззрения. Я отвечал ему, что до исправительной трансфузии крови не иду . . . »

Второе, изданное в «Посмертных произведениях», письмо Кэрдеруа начинается с восторженного отзыва о «Развитии революционных идей»: «Это молодо и сильно, как славянская раса. Чувствуется сразу: не парижанин, не Палеолог, не германский филистер писал эти жгучие строки, и не конституционный республиканец или социалистический теоретик, а казак (Вы не испугаетесь, ведь, этого имени?), подлинный анархист, утопист и поэт, смело, до конца, идущий и в отрицаниях и в утверждениях. Возрождение континента в социальной и демократической форме — наша общая с Вами цель, но для меня разгром (sac) цивилизации призван совершить абсолютизм. Каждый день больше и больше утверждает меня в моих положениях: 1) в делах нашего микрокосма насилие имеет сказать свое слово; 2) насилием же осуществляется революция, неизбежность которой подсказана разумом; 3) идея не может осуществиться без крови и разрушения; 4) деспотизм, в смысле быстроты, верности, самой возможности исполнения, лучше, чем демократия способен дать встряску миру; 5) монархическая русская армия может быть легче двинута в путь, чем демократическая фаланга славянства; 6) в Европе одна лишь скованная абсолютизмом Россия достаточно защищена от разлагающего влияния партийных и собственнических интересов, чтобы образовать собою ту глыбу, дубину, клин, палицу или меч, который сокрушил бы Запад, разрубил бы ее Гордиев узел . . . Вы сами высоко оценили революционную роль Петра Первого, почему же не допустили бы Вы, что другой кто-нибудь, — Николай, *или один из его преемников* (курсив мой) совершит столь же огромное дело? Какую другую руку, более могучую, более длинную, более способную сплотить народы-завоеватели, видите Вы еще на Востоке? Прежде, чем славянская демократия отыщет свой лозунг, раскроет смутную тайну своих устремлений, царь успеет сотрясти

всю Европу. Судьба цивилизованных наций, если он только захочет, в его руках... Да и революционеры настолько сознали, как будто, неизбежность в деле разрушения диктатуры, что сами, на случай успеха будущей революции, готовы ее учредить. Что касается слепых и глухих революционной традиции 93 года, то я боюсь, что из них Вы никогда не создадите универсальных социалистов, людей свободы...»

«Казакизм» (тогдашний большевизм) Кэрдеруа представляет из себя смесь сумасбродных фантазий и чего то похожего на проблески гения. Это отказ революционера от «буржуазной Европы» с е буржуазными демагогами и буржуазным же пролетариатом, обращение мечтой к новому молодому миру — к России... Цивилизации породила социализм, но ч т о б ы в о с т о р ж е с т в о в а л с о ц и а л и з м, д о л ж н а п о г и б н у т ь ц и в и л и з а ц и я. Такова руководящая мысль Кэрдеруа. Ему вспоминается судьба христианства. Породил его античный мир, но для торжества христианства понадобилось разрушение античного мира германскими варварами. Разрушительно-созидательную роль, сыгранную когда-то христианством, должен сыграть ныне универсальный социализм. Первым актом новой исторической драмы должно быть разрушение цивилизации новой внеевропейской и внекультурной силой, новыми варварами — славянством, казаками... «Пока они (казаки) не хлынут в Европу, социалистическое преображение мира немыслимо». Отыскав свою формулу, Кэрдеруа становится ее фанатиком, однодумом. Ни веселые насмешки врагов, ни «заговор молчания» бывших друзей, не заставят его усумниться, на минуту хотя бы, в прогнозе, на шаг хотя бы отступить от своих идей. Однодум он и от природы и оттого что думать ему приходится одному — союзников у него нет; единственный найденный было, Герцен, отказался им быть. Тезисы Кэрдеруа, как мы отчасти видели уже, таковы: 1) как революционное средство деспотизм выше демократии — действует легче, быстрее, надежнее; 2) европейскую революцию способна совершить только сила, готовая без оглядки резать, жечь, проливать без колебания кровь (припоминается: «Революцию не делают в белых перчатках»); 3) такую силу Европа имеет в лице казацкой России.

Но согласуется ли такое «средство» Революции с ее принципами, ролью и силами? Кэрдеруа склонен, как будто думать, что нет. Роль «могильщика», которую должен взять на себя деспотизм, Кэрдеруа называет «гнусной» (odieux). Энтузиаст нашествия на Европу казаков, в начале по крайней мере, —

отличает их разрушительную варварскую работу от созидательной и культурной работы социализма. В момент переписки с Герценом он, при всей своей прозорливости, не мог рассмотреть в тумане грядущего, что дело, на которое он прочил царя Николая и его казацкую рать, согласятся, в одно прекрасное время, взять на себя сами «социалисты».

Вскоре, впрочем, Кэрдеруа смягчил и сам свое первоначальное противопоставление. В книгах, вышедших после обращения к Герцену, граница между казацкой войной и пролетарским восстанием как будто стирается, образы «казака» и «пролетария» путаются в его голове, в монополии разрушительства деспотизму отказано. Революции в обществах он сравнивает с физиологическими кризисами организмов — рождением, наступлением зрелости, смертью. Революция каждый раз оставляет г о л о е п о л е, девственный грунт для всхода свежих семян. Только внешний лик революции различен, только детали определяются местными особенностями страны.

«В России это заговор, — мрачный, как ее небо, холодный, как волны Невы, роковой и смертельный, как уральская медь . . . Смотри и слушай! Вот ангел разрушения послан на землю. От зычного клика его рвется черное облако, скрывавшее небо. Сверкают молнии, низвергаются макушки деревьев, кресты колоколен, геральдические украшения барских усадьб. Холодные потоки дождя утоляют жажду горящей земли. Запах серы и крови встает с горизонта. Звучат боевые рожки от Черного моря до Белого, от Урала до Тэхо. Блестят наконечники шлемов. Воздух с грохотом режут снаряды. Широкими взмахами косит целые армии смерть, и реки, в потоках крови, уносят к морю обломки корон. Над широкой равниной смерти реет черный орел России, впивая взоры в кровавый солнечный шар . . . ». «Не ждите революции с Запада: народы Запада свое слово в истории революции сказали. Силы революции — силы хаоса. Революция — катаклизм, дуновение все сметающей смерти. Революция — дело умирающих с голода пролетариев — мясо для пушек, для виселиц и для баррикад». «Мало вас? — обращается Кэрдеруа к пролетариям. Сила отчаяния вашего не может одна сломить стену? Но тогда ищите подальше. Там, на севере вы найдете народ, лишенный всего, народ солдат, не знающих пощады и колебаний. Пусть их обзывают «казаками»: от слова не исчезнет их сила, как не исчезнет сила и моих предсказаний. Словом «казак» наши буржуа заклеймят и своих пролетариев и крестьян, когда они кинутся навстречу революционному натиску русских. Будут и тогда воображать,

что революция может погибнуть от слова. Но знайте все вы, лукавые адвокаты: казаков много, десятки миллионов, и там в России, и здесь. Казаки — это все обездоленные, все готовые штыками добывать себе пищу и кров ... Сколько их и в прекрасной Франции, сосчитайте-ка вы, статистики Института!.. Измученный, ограбленный, забитый народ, подражай французам 1815 года. Те призвали из России своих казаков — аристократов, а ты широко распахни двери, открой границы перед твоими братьями — *казаками пролетариями*. Они бесчисленны, как песок морской. В руках их горящая пакля: ружейный свинец стал бессилен один опрокинуть феодальную власть серебра ... Страшное кричит социальный сфинкс: — Социализм или смерть человека!.. Мой выбор сделан: Социализм — отвечаю — откуда бы он ни шел — от деспота, от республики, казацкий или китайский!..»

***

Таков один «ленинизм» — праздничный, так сказать, — пригрезившийся в октябре и нашему обезумевшему народу — тот, каким доселе рисуют его себе «казацкие» элементы, каким рисовали его себе, вероятно, и наши идейные большевики, в момент, когда мужицко-солдатская волна неожиданно вскинула их на свой гребень. И «горящая пакля», и «кровавый солнечный шар», и поход через Европу «до Тэхо» — все это входило как-то в праздничную мечту Октября. Дикая, разбойничья, но какая-то все же «поэзия», в минуту отчаяния способная опьянить и зажечь ...

Но есть другой «ленинизм» — менее дикий, может быть, но несомненно более гадкий — холодная мещанская революционная проза, ленинизм, каким высидело его большевицкое подполье и каким его, четверть века тому назад, приняла ограбленная и обессиленная «великой войной» Россия. Кэрдеруа прозрел и его: «Провозгласят республику, социальную, может быть. Запоют марсельезу и гимн рабочих. Пойдут брататься с народной гвардией и солдатами. Разрядят себя в красный цвет... Потом Конституанта, Конвент или Совет скольких там сот, возьмет в свои руки народную власть, пока ... в холодное декабрьское утро, власть исполнительная — Комитет Спасения, Директория, Федеральный Совет — не вышвырнет законодателей за дверь. И будет, именем большинства или именем сабли править кучка или один — владыка жизни и смерти всех. Для охраны и поддержания его возникнут новые армии солдат,

чиновников, полицейских и палачей: будет-ли это Гизо, Бонапарт, Луи Блан, императорская гвардия или «сила рабочих» — новая армия, как старая, будет орудием угнетения масс. Установят монополию просвещения с готовой программой, моралью и методами. Введут религию какой-нибудь Добродетели, с сенсимонистскими «Парами» вместо попов, в изъятие всех других религий. А потом, поработив человека, обратятся к имуществу: под предлогом, что капиталисты и банкиры грабят народ, монополизируют банки, и проценты будет взимать правительство. Под предлогом, что права владельцев земли чрезмерны, революционно конфискуют в руки правительства землю и будут эксплоатировать ее «революционно» сформированными ассоциациями (курсив мой) по революционно преподанным методам... Под предлогом, что конкуренция крупного капитала машин и промышленных монополий (трестов, И. Х.) душит мелких работников, правительство конфискует машины и приберет к своим рукам рабочих. Их разместят в городах, в рабочих казармах и будут на их спинах конкурировать, в убыток, с частной промышленностью ...» («Революция в человеке и в обществе», стр. 129 и след.).

В этой картине реакционной, беспомощной революции легко узнать впечатление его, Кэрдеруа, современности — Ледрю Роллен, Луи Блан, Пьер Леру с одной стороны, Луи Бонапарт — с другой. Но интуиция общественного мыслителя и на этот раз пересилила в нем умозаключение политика-публициста: картина снова получилась пророческая. Только не думал, конечно, Кэрдеруа, что и это его пророчество осуществится все в той же «казацкой» России, которую он прочил на роль «могильщицы цивилизации» и освободительницы Европы, — что и «казаки» — «законные и старшие дети социализма» — окажутся бессильной игрушкой в руках демагогов. Сами-то «казаки» не обманули ожиданий Кэрдеруа — пришли. Но «казацкая революция» обманула и его и на минуту, в момент «переполненной чаши» — поверивший в нее русский народ. На пожарищах барских усадеб и на политых «буржуйскою» кровью равнинах взошли не новые семена свободы, а старые плевелы деспотизма, только приукрашенные «рабочими гимнами», началами «рабочей полиции» и планами «рабочей казармы»...

Литературная деятельность Кэрдеруа оборвалась в 1855 году в возрасте 30 лет. Он успел зарисовать только «казацкую» половину революционной картины. За ней открывались для

него проблемы собственно социалистического строительства. Им Кэрдеруа предполагал посвятить особую книгу. О содержании ее можно только гадать по там и сям разбросанным указаниям и намекам. Позволительно думать однако, что и в толковании собственно социалистической проблемы Кэрдеруа оказался бы современником нашего века.

С ноября 1855 года Кэрдеруа ничего не писал. Причина — тяжелый, наследственный недуг, грозивший безумием. «Тридцать лет — роковой возраст для таких, как я», писал про себя Кэрдеруа: «Приближается полоса прозябания и ужасных, невыносимых мук, пока милосердная природа не сменит их сном смерти или бредом безумия» ... Но Кэрдеруа не пожелал отдать себя в его власть. «Доставить радость врачам картиною своего разложения, мучить заботами близких людей и друзей, и слышать за спиной соболезнующий шопот и улавливать в нем роковые слова ... Нет, в тысячу раз лучше смерть от своей руки» («Дни признания», т. III).

26 октября 1862 года для Кэрдеруа настало время выполнить данное себе обещание. Он почувствовал приближение безумия и не отдался живым в его руки.

Ив. Херасков.

ГЕНЕРАЛ ДЕНИКИН

Для окончательной оценки исторической роли генерала Деникина время еще не настало, как не настало оно ни для одного из деятелей нашей сложной и бурной эпохи. Но уже целое поколение отделяет нас от дней гражданской войны — дней, в которые ген. Деникин впервые приобрел всероссийскую известность, — и независимо от оттенков наших политических воззрений, мы можем уже отнестись к его личности и к делу его жизни с той долей беспристрастности, которая тогда для многих была еще недоступна.

Ген. Деникин навсегда и неразрывно связал свое имя с тем, что вошло в историю России под именем «белого движения». В движении этом, как и во всяком историческом движении такого размаха, объединялись разнообразные элементы и были в нем как светлые, так и темные стороны. Научная объективная история гражданской войны пока не написана, и долго еще будут спорить о том, что привело к поражению «белых»: какую роль сыграли в этом поражении общие условия внутри страны и за ее пределами, и что в нем надо отнести за счет ошибок руководителей движения. Но, кажется, уже и теперь ясно, что нельзя считать «белое движение» заранее и неизбежно обреченным на неудачу, что огульное осуждение его как «реакции» и «контр-революции» есть грубое упрощение и даже извращение исторической действительности и что в исторической перспективе оно не оказалось от начала до конца бесплодным. Для первоначального, основного его ядра вооруженное сопротивление большевицкой диктатуре, насилием захватившей власть, поправшей народную волю, а затем заключившей сепаратный мир с Германией, было актом патриотического долга и стало патриотическим подвигом. С этой изначальной, патриотической и героической стихией «белого движения» ген. Деникин связал себя с первых же дней Добровольческой армии и ей он остался верен до конца.

Можно оспаривать целесообразность тех или иных его политических и военных решений, но нельзя сомневаться в том, что взяв на себя, после гибели ген. Корнилова, бремя руководства «белым движением» он твердо верил, что

только оно может спасти честь русского имени, освободить русский народ от большевицкой тираннии и восстановить национальную целость и государственную мощь России. В нем не было ни тени личной или классовой корысти, политического лукавства или диктаторских вожделений.

Ген. Деникин был плоть от плоти старой русской армии, которой он посвятил такие теплые и красноречивые строки в одной из своих книг. Но в нем не было ничего кастового, ничего «милитаристического». Его можно назвать солдатом-гражданином. Прекрасно образованный специалист в своей военной области, он был вместе с тем человеком широких интересов, знал и любил русскую историю, был хорошо осведомлен в международных отношениях и обладал незаурядным литературным талантом. Из всех вождей «белого движения» он был человеком наиболее «гражданского» духа.

В эмиграции он держался с большим достоинством, с присущей ему прямотой и нравственной стойкостью. К нему относились с уважением и к голосу его прислушивались даже его политические противники. Вот почему статьи ген. Деникина, продолжавшего считать себя носителем традиций «белого движения», могли появляться на страницах органа П. Н. Милюкова, задолго перед тем занявшего позиции «новой тактики». В этом было проявление не только взаимной терпимости, но и наличия известной общей почвы, на которой могли сойтись два столь различных политических деятеля.

Были, однако, пределы, за которые терпимость ген. Деникина не распространялась. Он был непреклонен в неприятии каких-либо уступок там, где дело шло о защите русской свободы и национального бытия России. Он не допускал никаких компромиссов в отношении к советской диктатуре, но в борьбе с этой диктатурой он с одинаковой решительностью отвергал всякие расчеты на помощь со стороны врагов России. Стойкость свою он доказал еще раз в последние годы своей жизни, с честью вынеся испытания, выпавшие на его долю при немецкой оккупации во Франции. В Америку он приехал уже больной и усталый, но до последнего дня жил в сущности только одним: — мыслями о России и надеждой на ее освобождение. Каковы бы ни были окончательные исторические итоги его деятельности, о нем сохранится память как о большом русском патриоте.

М. Карпович.

ПАМЯТИ М. В. БЕРНАЦКОГО

Смерть М. В. Бернацкого, скончавшегося в Париже в годы войны, прошла как-то мало замеченной в русской эмиграции. А между тем покойный был многогранной личностью, совмещавшей в себе ученого, политика и делового работника. Его общественная деятельность казалась иной раз почти противоречивой. И все же Бернацкий никогда не изменял своим двум основным идеям: патриотизму и преклонению перед личной свободой. Столь же характерно было для него и непрестанное искание социальной правды.

По окончании Киевского Университета Бернацкий слушал в Берлине лекции маститого Адольфа Вагнера и с тех пор навсегда остался под влиянием «кафедрального социализма», проповедовавшего введение социальных реформ мирным путем. Однако, в начале своей научной карьеры в Петербурге, где преподавал политическую экономию в Тенишевском Училище, а позднее в Политехническом и Технологическом Институтах, М. В. Бернацкий примкнул к марксистам. В 1906 году он выпустил книжку под заглавием: «К аграрному вопросу», в которой он рекомендовал марксистам воздержаться от выработки социалистической аграрной программы, ратовал (с ссылкой на Энгельса) за выкуп частновладельческих земель по рыночной цене и настаивал на проведении выкупной операции не за счет крестьянства, а путем государственных займов и введения общего прогрессивного подоходного налога. Первая книга Бернацкого была выдержана в антинародническом тоне: автор утверждал, что Россия не имеет «особого экономического пути», что ее крестьянское общинное хозяйство аналогично сельским общинам голландской Индонезии, что русская деревня уже не может выйти из менового оборота и т. д. В том же 1906 году Бернацкий издал в русском переводе книгу немецкого социал-демократа Дейча под заглавием: «О государстве будущего». Предисловие к этой книге уже свидетельствовало о перемене во взглядах Бернацкого, так как он в ней впервые отверг идею государственного социализма, отрицал возможность создания замкнутого народного хозяйства и высказался за международное экономическое сотрудничество. Формаль-

ный разрыв Бернацкого с марксизмом произошел лишь в 1911 году, когда он защитил свою магистерскую диссертацию на тему: «Теоретики государственного социализма в Германии и социально-политические воззрения князя Бисмарка». Здесь он выступил против «иссеченных жизнью рыцарских доспехов Родбертуса», осмеял идею введения «трудовых денежных знаков» и открыто отверг коллективизм в хозяйстве. Диссертация Бернацкого выдвинула его две излюбленных идеи — что социально-окрашенный капитализм обеспечивает наибольшую степень личной свободы и что мировая золотая валюта может привести к братскому сотрудничеству народов.

Февральская Революция временно прервала научную деятельность Бернацкого и привела его на пост фактического управляющего министерством финансов. За месяц до советского переворота он был назначен формальным главой министерства. Бернацкий стал на путь «демократизации» русских финансов, но помешал совету рабочих депутатов провести радикальную меру в виде принудительных займов и единовременного поимущественного налога. Вместо этих революционных приемов он прибег к введению всеобщего подоходного налога, к повышению наследственных пошлин и к налоговому обложению военных сверх-прибылей. Когда наступившая разруха вызвала сильную инфляцию и уронила золотое покрытие кредитных билетов до 9%, Бернацкий старался изъять излишнюю покупательную способность населения путем усиления косвенных налогов и введения государственной монополии на чай, сахар и спички.

Падение Временного Правительства привело М. В. Бернацкого в ряды Добровольческой Армии ген. Деникина, где он немедленно же стал членом Особого Совещания и министром финансов. Положение его было крайне затруднительным, так как Дон и Кубань противились экономическому объединению Юга, а ген. Деникин не разрешал открыть юг России иностранному капиталу. Единственным методом было печатание кредитных билетов, наталкивавшееся на самостоятельный выпуск денежных знаков Доном и Кубанью и на невозможность выпускать мелкие купюры. Когда наступление Добровольческой Армии на север приняло большие размеры, Бернацкий провел (при поддержке ген. Деникина) свое решение аннулировать «пятаковские» денежные знаки, полагая, что иначе они наводнят освобожденную территорию и облегчат подрывную работу большевиков в тылу армии. Его политика встретила серьезную критику со стороны проф. П. П. Гензеля, который приписывал быстрый рост цен недоверию крестьянства к бумажным день-

гам, вызванному аннулированием советских кредитных билетов. Гензель настаивал на том, чтобы Бернацкий допустил пользование мелкими советскими купюрами и гарантировал неприкосновенность «керенок». Бернацкий остался глух к этим советам, так как приписывал рост цен недостатку товаров. Если в сфере денежного обращения практически возобладала точка зрения Бернацкого, то в области налогового обложения ему пришлось подчиниться решению ген. Деникина, склонившегося в пользу финансовой программы проф. Гензеля и Н. И. Астрова, рекомендовавших усиленное взимание прямых налогов и обложение разницы в старой и новой цене на недвижимость. Сам же Бернацкий, опиравшийся на поддержку профессоров Струве и Мануйлова, настаивал на желательности сильного повышения косвенных налогов с тем, чтобы изъять излишнюю покупательную способность крестьянства.

В начале 1920 года Бернацкий пользовался на юге столь большим авторитетом, что ген. Деникин сделал его главой своего последнего правительства, а пришедший затем к власти барон Врангель оставил за ним пост министра финансов. В этот период гражданской войны Бернацкий имел полную свободу действий, так что мог попытаться привлечь иностранный капитал в Крым, ввел государственную монополию на вывоз зерна и выработал новый бюджет, согласно которому из 20 миллиардов рублей, поступавших казне от налогов, 18 миллиардов приходились на долю косвенного обложения.

Финансовая политика Бернацкого при ген. Врангеле была непопулярной; тем более, что печатный станок Феодосии выпустил кредитных билетов на 170 миллиардов рублей, тогда как правительство ген. Деникина и Дон в течение более долгого времени и на большей территории напечатали бумажных денег только на 30 миллиардов. Правые круги были недовольны тем, что Бернацкий запретил частный вывоз зерна, а левые круги считали, что косвенные налоги затронут интересы крестьянства. Объективность требует, однако, признать, что бесконтрольный вывоз зерна из Таврии осложнил бы положение, так как хлеб уже выдавался по карточкам; что взимание прямых налогов, требовавшее долгого времени, было бы бессильно против инфляции и что печатный станок должен был работать полным ходом, если принять во внимание, что Крыму приходилось содержать 150 тысяч пришлого населения — и это при почти полном отсутствии промышленности, при отказе иностранцев предоставить кредит и при возможности экспортировать лишь вино, табак, яблоки и небольшое количество зерна.

После падения Крыма и эвакуации Бернацкий стал руко-

водителем Финансового Комитета в Париже, основанного Земгором и совещанием бывших послов. В распоряжение этого комитета были переданы заграничные фонды русского правительства. Одновременно Бернацкий вернулся к научной деятельности. В 1922 году он, совместно с А. Рафаловичем, издал книгу на французском языке о денежном обращении в России; в 1924 году, вместе с австро-швейцарским экономистом Аммоном, — книгу на немецком языке о валютных реформах в Чехословакии и СССР, а в 1928 году объемистую работу на английском языке о русских государственных финансах во время первой мировой войны. В этих своих последних печатных трудах Бернацкий выступал по-прежнему защитником золотой валюты. В период 1929-1939 он напечатал ряд статей в русской и французской периодической печати, в которых он либо защищал золотое денежное обращение, либо осуждал Кейнса за его экономический радикализм, либо высказывался в пользу социальных реформ, не нарушающих частной инициативы. Иной раз Бернацкий сам позволял себе некоторый «радикализм», выступая в пользу умеренного планового хозяйства или в защиту «гражданской ренты». Кроме того, приблизительно с 1924 года Бернацкий принимал ближайшее участие в экономическом отделе Русского Института Права и Экономики, основанного при Парижском Университете.

Со смертью М. В. Бернацкого русская общественность и русский научный мир лишились одной из колоритнейших фигур последнего времени, одного из идеалистических защитников свободы и одного из подлинных джентльменов уходящей в историческую даль эпохи.

Б. С. Ижболдин.

БИБЛИОГРАФИЯ

Е. В. ТАРЛЕ. Крымская Война, том I, 567 стр., 1944 г. т. II, 505 стр., 1945 г. Издательство Академии Наук СССР, Москва-Ленинград.

В своем исследовании о Крымской войне Е. В. Тарле поставил себе в качестве основной цели «анализ тех дипломатических конфликтов, которые непосредственно привели к войне, и тех дипломатических комбинаций, которые так влияли на развертывание событий во время войны и особенно в конце ее, перед Парижским миром и в дни парижской конференции». Первоначально автор предполагал ограничиться только этой, дипломатической, стороной войны. В ходе работы он пришел, однако, к выводу, что дипломатические документы не могут быть «вполне поняты без параллельного и синхронистического ознакомления с военными событиями». Вместе с тем оказалось невозможным довольствоваться имеющимися общими трудами военных историков, т. к. за немногими исключениями, последние «основывают свой рассказ прежде всего на официальных реляциях», оставляя почти сплошь в стороне «литературу воспоминаний, частной переписки», и т. п. Поэтому, автор решил произвести основательное обследование архивных материалов по части военных операций и пересмотреть давно изданные печатные материалы, которые «покоятся мирным сном, никогда не тревожимые и почти никем даже не цитируемые».

Первый том был подписан к печати в начале сентября 1943 года. Этой датой объясняется тон предисловия к первому тому, в котором встречаются, например, следующие строки: «Дальновидность и глубокий ум Уинстона Черчилля, который всегда, с самого 1933 года, настойчиво, красноречиво, убежденно предостерегал и свою родину, и всю Европу, не переставая твердить о фашистской опасности и о необходимости сближения и сотрудничества с Советским Союзом». Упоминая о том, что некоторые части его работы, появившиеся в печати в 1939-1941 г.г., были переведены на английский язык, автор добавляет: «Это — одно из проявлений характерного стремления наших союзников к культурному сближению с советской исторической наукой ..., с ее установками и использованными ею архивными богатствами, которые наше правительство с такой готовностью и

щедростью предоставляет в распоряжение исследователей». Où sont les neiges d'antan!

В предисловии ко второму тому (подписанному к печати 6-го апреля 1945 года), автор отмечает, что этот том его исследования по характеру своего содержания резко отличается от первого. «Война в период обороны Севастополя окончательно превратилась в борьбу за Русскую землю». В центре изложения стоит оборона Севастополя, «Русская Троя». От русских читателей этого тома автора ожидает, что они будут сравнивать обстановку, в которой боролись защитники Севастополя в 1854-55 г.г., с обстановкой, в которой сражались «доблестные герои Красной Армии и флота — потомки Корнилова, Нахимова, Хрулева — в 1941-1942 г.г.», и сам он пишет свою работу не только как ученый историк, но и как русский патриот. В этом смысле характерно его заявление, что хотя «самодержавный строй политически проиграл войну, но русский народ... одержал такую блестящую моральную победу, которая еще увеличила историческую славу России».

Исследование Тарле основано на обширных архивных изысканиях. Из списка «источников и литературы», помещенного в конце первого тома, видно, что он обследовал материалы тринадцати советских архивов, также как и бумаги генерала С. А. Хрулева, высланные ему Казахстанской публичной библиотекой. Он обстоятельно ознакомился с печатной литературой вопроса, как на русском, так и на иностранных языках, включая и памфлетную литературу, доступную ему в СССР.

По вопросу о причинах войны Тарле в своем введении утверждает: «Было бы неправильным стараться объяснить возникновение Крымской войны исключительно непосредственно-хозяйственными интересами, т. е. исключительно борьбой за турецкий рынок между воюющими державами. Маркс и Энгельс, например, столько написавшие об этой войне, никогда к такого рода исключительным объяснениям и не думали прибегать». Это показывает как далеко советская историография ушла от установок М. Н. Покровского (в особенности более ранних, выработанных им без давления со стороны, как это было в последние годы его жизни).

В том же введении автор уделяет место сжатому разбору связи между внутренней и внешней политикой стран, принявших участие в войне. Заявив, что его работа не ставит себе целью изображение внутреннего состояния этих стран, он, тем не менее, пишет: «возможно ли забыть о внутренней истории, когда анализируешь этот великий международный конфликт?» и дает краткую, насыщенную и заостренную характеристику течений во внутренней политике Англии-Франции, Австрии, Пруссии и Пьемонта. Таким же образом, отказав-

шись от мысли дать подробный обзор внутренней истории России за рассматриваемый им период, Тарле все же вкратце упоминает о крестьянских волнениях и о надеждах ополченцев на освобождение и ссылается на существование своеобразного «внутреннего фронта», с которым также нужно было считаться и наличие которого связывало значительную часть вооруженных сил империи.

Первая глава открывается оценкой основных черт дипломатической деятельности Николая I перед войной. Автор признает за императором природную способность к дипломатии, «уменье (утраченное им впоследствии) во время понять ошибку и свернуть с опасного пути, уменье (тоже потерянное в последние годы царствования) терпеливо ждать, не теряя из виду поставленной цели, но и не форсируя событий, наконец, стремленье до последней возможности стараться достигнуть желаемого результата чисто дипломатическим путем, не прибегая к войне».

В числе главных недостатков Николая I, как правителя, Тарле указывает на его невежественность, которая простиралась не только на западные страны, но и на многие стороны русской жизни. Вместе с тем, чем более возрастало международное влияние царя, «тем более он начинал признавать науки вообще делом не только совершенно излишним, но даже определенно вредным».

Долгий период успеха оказал крайне отрицательное влияние на императора, закрыв собою мрачную картину внутреннего положения страны. В этом отношении, внешние успехи имели такое же влияние на многих русских людей. «Даже очень критически настроенные наблюдатели сплошь и рядом успокаивали свое возмущенное сердце, когда обращались от внутреннего состояния николаевской России к ее положению в области международной политики и дипломатии».

Николай I, с годами, постепенно терял «былую способность к сдерживанию своих порывов и своего нетерпения при сношениях с иностранными дипломатами», в атмосфере лести, обожания, и придворной лжи, которая его окружала. «Русскую внешнюю политику делал только царь», а министр иностранных дел, Нессельроде был, «по существу дела, ловко округлявшим французские фразы писарем». К. В. Нессельроде представлен человеком бездарным и ограниченным, угождавшим и льстившим царю, старавшимся угадывать куда склоняется воля царя, чтобы «спешно забежать вперед в требуемом направлении». Послы императора в западных столицах характеризованы как «люди умные и средне способные». Но они следовали указаниям Нессельроде и иной раз писали то, что «по их мнению, будет приятно прочесть властелину в Зимнем дворце». Невольно возникает вопрос, насколько эта черта свойственна только министрам

Николая I? Не является ли она принадлежностью всех авторитарных режимов?

Центральным во внешней политике Николая I был вопрос о проливах, стремление избавиться от опасности со стороны Англии и обеспечить русское побережье Черного моря от нападения враждебных флотов и, вместе с тем создать условия, гарантирующие свободу экономических сношений с бассейном Средиземного моря. В этом стремлении Николай I впервые натолкнулся на «упорное противодействие английской дипломатии» в 1829 году, вскоре после Адрианопольского мира. Русско-турецкая дружба, начавшаяся с посылки в 1833 году эскадры к.-а. Лазарева с десантом для защиты Константинополя от флота и войск Мехмет-Али, серьезно встревожила Англию и Францию, а договор, подписанный А. Ф. Орловым в Ункиар-Искелесси, давший, как казалось, столь желанный контроль (хотя и не прочный) над Дарданеллами, взволновал не только эти две державы, но и Австрию. Тарле подчеркивает, что хотя Николай I хорошо понял натуру Пальмерстона, «очень агрессивного при уступчивости противной стороны, но быстро снижающего тон при серьезном отпоре», он не разобрался в том, какую могучую поддержку неизменно оказывала Пальмерстону, «в подавляющей своей массе английская крупная буржуазия», т. е., «что против его восточной политики идет сомкнутым строем могущественная экономическая сила» Англии. По поводу назначения барона Бруннова послом в Лондон Тарле говорит, что на него было возложена задача «вбить клин между Англией и Францией, расколоть, уничтожить именно в восточном вопросе солидарность» между этими двумя государствами. Царь отказался от возобновления Ункиар-Искелессийского договора и пошел на заключение в 1840 году договора с Англией, Австрией и Пруссией, гарантировавшего целостность турецкой территории. «Клин между обеими морскими державами казался вбитым очень прочно». Автор обращает особое внимание на то, что заместителя Пальмерстона, лорда Абердина, Бруннов считал «созданным богом за русские добродетели», и что царь долго разделял это мнение. Разговор с Робертом Пилем во время поездки императора в Англию в 1844 году, дал Николаю I некоторые основания думать, что Англия пойдет на раздел Турции.

Успех Венгерской кампании привел Николая I к мысли, что ему обеспечен в случае осложнений на Востоке прочный союз с Австрией. «Та помеха на пути к проливам, которой была Австрия еще при Меттернихе, отныне устранялась совершенно». И так царь продолжал думать до 1853 года. Но уже в 1854 году он с горечью сказал: «а самый глупый из русских государей... я, потому, что я помог австрийцам подавить венгерский мятеж».

Эпизод с императорским титулом Наполеона III и вскоре последовавший инцидент с Портой относительно выдачи польских повстанцев, прошли в обстановке, по поводу которой Тарле пишет: «Николая обманули... официальные доверительные заявления английского премьера в 1852 году о том, что Англия боится французского нашествия и только поэтому не идет нога в ногу в его выступлении против Наполеона III». Царь продолжал верить, «что никогда не будет и не может быть союза между Англией» и Францией, управляемой наполеонидом. В свою очередь, Наполеон III «старательно искал любого предлога для войны с Россией» и в 1852 году, «хватался за все поводы к ссоре»... «Война и только война могла бы не только длительно охладить революционные настроения, но и окончательно привязать командный состав... и надолго упрочить династию». И Наполеон III и Пальмерстон понимали и учитывали всю ненависть к Николаю I со стороны либеральных и радикальных кругов Европы, эту «боязнь русского нашествия на Европу... с уничтожением всех материальных ценностей под копытами казацких лошадей». Между тем, царь сделал свое роковое предложение английскому послу в январе 1853 года относительно раздела Турции, уступая Египет и Крит Англии, и предлагая создание болгарского и сербского княжеств под протекторатом России, также как и легализирование фактического протектората России над Дунайскими княжествами, и «временное» занятие Константинополя русскими войсками. «Отдать царю Турцию значит отдать ему Индию», думали английские дипломаты школы Пальмерстона, пишет Тарле. Кроме того, «из двух соперников один опасался, что ему меньше достанется и что другой отнимет у него потом еще и его долю добычи».

Тарле подробно и умело разбирает те интриги и в Париже и в Лондоне, которые дезинформировали русских дипломатов и самого императора. С посылкой Меншикова в Константинополь конфликт вступил в острую фазу. О Меншикове Тарле говорит, что он был «от природы... бесспорно умен; был очень образован», но был «усталый циник и сибарит». Поняв, что царь рассчитывает воевать только с Турцией, «он очень охотно, с легким сердцем, решил поспособствовать скорейшему исполнению тайных царских желаний».

По мнению Тарле, роль английского представителя в Константинополе Стратфорда «именно в том и заключалась, чтобы провоцировать царя на дальнейшую агрессию». Он даже совершил подлог в тексте русской ноты Порте, посланной им в копии в Лондон. «Это сообщало всей русской ноте дерзкий, повелительный, вызывающий характер». Тарле подробно разбирает ход переговоров в Константинополе относительно с е н е ф а о Святых Местах, настойчиво развивая мысль о провокационной роли английского посла, привед-

шей Меншикова (а через него и царя) к утверждению в мысли, что нет никакой опасности вооруженного выступления Англии. В этом пункте анализ автора, вопреки его собственному утверждению (в предисловии) резко расходится со взглядами английских историков, включен и Темперли.

Позиция Австрии в отношении конфликта была вопросом огромной важности. Царь сделал попытку предложить и ей участвовать в разделе Турции, через Петра Мейендорфа, русского посла в Вене. Последний был «человек звезд с неба не хватавший, но не глупый и порой не лишенный проницательности». Царь предложил Австрии Герцеговину и Сербию, с тем, чтобы Молдавия и Валахия отошли к России.

Когда царь понял (в ноябре 1853 года), что война с Турцией сможет повлечь за собою войну с Англией, уже было поздно отступать, т. к. война с первой уже фактически началась. Как Нессельроде писал Бруннову: «нам не оставляют другого выхода, представляя нам условия мира, которые мы не можем принять без унижения». Но и тогда Нессельроде не совсем еще потерял надежду на сохранение мира с морскими державами Запада. Однако, после Синопского сражения «война с западными державами становится почти несомненной». Это событие, которое «вписано золотыми буквами в книгу славы русского народа», не дало радости победителю. Нахимов считал, что он невольно сделался причиной, давшей англичанам и французам предлог ввести свои морские силы в Черное море. Радоваться действительно было нечему. Над Россией нависла угроза со стороны 150,000 австрийской армии, сосредоточенной на границах Дунайских княжеств. Австрия находилась под «определенным и очень давнишним страхом установления вассальных отношений Австрии к великой русской империи». Этот страх преодолевал тенденцию высших кругов австрийской аристократии смотреть на Николая I, как на прочный оплот «всех привилегий феодальной знати». Постепенно политика Австрии «становится вполне уже откровенно враждебной». Даже предложение, сделанное графом А. Ф. Орловым о совместном протекторате России и Австрии над балканскими княжествами не изменило положение вещей. Грозная опасность со стороны Австрии стала совершенно ясна. Надежды на длительный благожелательный нейтралитет Пруссии были также поколеблены. Россия оказалась лицом к лицу со всей Европой, за исключением некоторых государств, не обладавших серьезной военной силой. Император Николай переживал «положение человека, очертя голову ступившего в сыпучие пески, страшную природу которых он не понял, и чувствующего, что каждое движение ... лишь ускоряет процесс засасывания» ... «И он шагал дальше по трясине ..., потому что стоять на месте оказывалось не менее опасно, чем двигаться вперед».

Роль Меншикова в неудачах кампании в Крыму обрисована автором в самых черных тонах. С его «губительным умственным сибаритством, мешавшим ему до последней минуты думать о тревожном и неприятном», он даже не потрудился правильно организовать свой штаб. Главная роль в обороне Севастополя пала на долю Корнилова. Произошло это крайне своеобразным путем — оттеснения г.-л. Моллера и отказа Нахимова в пользу Корнилова. Корнилов был гуманный человек, «матросы его любили, но все же не было между ними и Корниловым той сердечной близости, переходившей прямо в какое-то обожание», которое было в отношении к Нахимову. Корнилов был «начальник прежде всего, барин, как все начальники, хоть и хороший, добрый, благородный барин», обладавший большими административными способностями, чем Нахимов. Корнилов представил Меншикову проект укрепления Севастополя еще за шесть месяцев до высадки союзников. Эти укрепления офицеры Черноморского флота и некоторые жители Севастополя предлагали возвести на свой счет, по подписке. Меншиков резко отверг этот проект. Севастополь остался почти совершенно неукрепленным ко времени Алминского сражения, и только ошибка уже больного Сент-Арно спасла город и порт от захвата союзниками тотчас же вслед за отступлением русских войск после боя.

Севастопольская эпопея описана необычайно ярко. Героизм защитников представлен во всем своем величии. У Тарле крупный дар в отношении описания боевых операций. Он рисует их ясно, дает возможность читателю, не знакомому с военной наукой, следить за ходом событий, понять маневры войск и уяснить себе соотношение сил противников.

Согласно одной из основных идей книги, главным героем обороны Севастополя является матрос и солдат. Как Тарле пишет: «Историческая роль матросов и солдат и многих из рядового офицерства и тех единичных личностей в командном составе, какими явились Корнилов, Нахимов, Истомин, Тотлебен, Хрулев, А. Хрущов, Васильчиков, была исключительной. Эти люди были брошены в полном смысле на произвол судьбы — сначала без верховного руководства вовсе, потом при таком руководстве, которое делало одну за другой грубейшие ошибки» . . .

Резко осуждая высшее руководство войсками, Тарле утверждает, что при Николае I проводилось сознательное понижение умственных запросов и всего духовного уровня офицерства и генералитета армии, что из Военной Академии при нем выпускались офицеры, не только не имевшие серьезных и сколько нибудь точных представлений об истории военного искусства, но «просто лишенные тех элементарнейших познаний в стратегии и тактике, без которых сколько-нибудь полезная служба в штабе невозможна».

Переговоры о мире нарисованы совершенно в другой манере, чем дипломатия России накануне войны. Тарле благоволит не только к графу А. Ф. Орлову — «тонкий дипломат и лукавый царедворец» — но и к будущему канцлеру, А. М. Горчакову. Про него он говорит: «Это был умный, даровитый, нравственно чистоплотный человек... с честью, достоинством и уменьем старался парировать вражеские удары», когда был назначен в Вену вместо Мейендорфа.

Но, конечно, не только искусство Орлова дало России сравнительно сносные условия мира, о которых французский посол в Вене сказал: «Никак нельзя сообразить, ознакомившись с этим документом, кто же тут победитель, а кто побежденный». Сыграли тут свою роль и успехи русского оружия на кавказском фронте, в собенности взятие Карса. Героическая оборона Севастополя, так дорого обошедшаяся союзникам, также склоняла весы в пользу России. Однако, одним из самых важных факторов, работавших на пользу России во время мирных переговоров, было отношение Наполеона III, который желал предотвратить всякое серьезное ослабление России. По формулировке автора, «требовалось... начать дружбу с Александром II, не приканчивая этим самым дружбу с Пальмерстоном». К тому же Император Французов уже готовился к изгнанию Австрии из Италии.

Тарле заканчивает свою книгу следующею мыслью: «Внимательный анализ как военных, так и дипломатических событий, связанных с Крымской войной, приводит нас к непоколебимому убеждению, что поражение потерпел самодержавный строй, но не русский народ»... «И самое изумительное — это та потрясающая картина геройской самозащиты русского народа, которую дает нам изучение Крымской войны. Нахимовские львы не были исключением».

В журнальной рецензии трудно дать полную оценку этого замечательного труда. Ограничусь некоторыми общими замечаниями.

В свете событий Первой и Второй Мировых войн, Крымская война представляется историку совершенно иначе, чем историкам, жившим до начала этих катастроф. При преувеличенном мнении о военных рессурсах России, потеря Севастополя и занятие союзниками некоторых пунктов на побережьи Черного моря произвели на современное русское общество удручающее впечатление, заслонившее в его сознании ряд замечательных фактов. Несмотря на то, что Россия боролась (на поле брани или дипломатически) со всеми великими державами Европы, весь результат усилий таких могущественных и технически передовых стран, как Франция и Англия, которым еще помогали Турция и Сардиния, свелся к занятию (после огромных потерь) части Крыма и нескольких укрепленных и населенных пунктов на побережьи Черного моря. На Балтийском море

союзники имели успех только у Бомарзунда. На Дальнем Востоке они потерпели решительное поражение под Петропавловском и даже на русском севере Соловецкий монастырь отбил неприятельскую попытку высадить десант.

То, что Россия отстояла свои широко раскинутые границы против усилий огромных флотов морских держав и одержала решительные победы над Турками на кавказском фронте, показывает, что и при Николае I страна обладала крупным военным потенциалом.

Факты эти наводят на серьезные размышления относительно той поразительно мрачной картины Николаевского режима, которую дает автор. Мог ли насквозь прогнивший режим оказать такое сопротивление? Представляется, что в системе Николая I были не только слабые, но и сильные стороны. Вот о них то Тарле и не говорит. Одна ли «самозащита русского народа» отстаивала Севастополь и отбивала покушения врага на другие части империи? Ведь и Черноморский флот, и Корнилов с Нахимовым, да и князь Васильчиков с Хрулевым, Завойко с князем Максутовым, — все они были колесиками государственного аппарата. Явление лазаревской школы Черноморского флота и замечательного духовного единения между офицерами и матросами, также как общая и тем и другим жертвенность, не объяснены Тарле ни исторически, ни социологически. Как будто выходит, что это было делом случая, творением одного—двух лиц. На самом же деле, школа эта имела глубокие корни в прошлом русского флота, имела живые связи с русской общественностью. Она создалась на основе заложенной морским кадетским корпусом, на традициях Сенявина и лучших его капитанов, на трудах А. С. Грейга, на заботах Николая I о флоте после того запущения, в котором его оставил Александр I. Тарле говорит: «В смысле своей выучки и сноровки русские моряки и на Черном и на Балтийском морях, и на Тихом океане оказались нисколько не ниже личного состава неприятельских флотов». Почему же флот оказался на такой высоте? На это Тарле ответа не дает.

Трактовка автором сражений на Альме и Инкермане сводит русския поражения к неудовлетворительному тактическому руководству со стороны военного командования. Создается такое впечатление, что сражение на Альме могло быть выиграно русскими войсками, несмотря на плохое вооружение их и численное превосходство союзных войск (55 тысяч против 35 тысяч), если бы князь Меншиков проявил военные таланты и генерал Кирьяков был на высоте положения. Таким образом, Тарле как бы допускает мысль, что при наличии полководца, хотя бы талантов Паскевича (а ведь в этом не было ничего невозможного) кампания в Крыму могла бы быть выиграна Россией, несмотря на устарелую тактическую подготовку

войск и несовершенное вооружение. Почти неизменный успех действий против превосходных сил турок на кавказском фронте показывает, что русская армия имела и искусных генералов, и не потеряла своего прежнего умения маневрировать на поле сражения и добиваться успеха своим упорством. В отношении же военно-инженерного дела и его руководителей (Шильдер, Тотлебен) Тарле, повидимому, признает за русскими даже превосходство над союзниками. Остается впечатление, что Тарле не всегда хорошо разбирается в вопросах военной истории. Он пристально и внимательно изучил документы и книги, относящиеся к военным операциям Крымской войны, но недостаток специальной военно-исторической подготовки делает некоторые его заключения лишенными перспективы, и иногда даже наивными.

Книга Тарле написана очень хорошо. Многие страницы читаются, как захватывающее беллетристическое произведение. Батальные картины набросаны художественно и ярко. Тем более странно видеть местами недочеты в смысле языка. В частности Тарле не вполне освоился с военно-морской терминологией. Встречаются ошибки и в переводе английских технических терминов и транслитерации английских имен.

Но все это мелочи. За исключением слабых сторон, о которых было сказано выше, книга представляет собою образец, как в отношении метода, так и повествования; образец того, как надо писать историю войн. Именно такое одновременное исследование дипломатии и стратегии в их взаимодействии дает гораздо лучшие результаты, чем чисто дипломатическая или чисто военная история.

Д. Федотов-Уайт.

JAMES F. BYRNES. Speaking Frankly. N. Y., Harper, 1947.

Для периода от Ялтинской конференции (февраль 1945 года) до начала 1947 года книга Бэрнса является историческим источником, ценность которого было бы трудно преувеличить. Вряд ли когда-либо бывший министр иностранных дел рассказывал о своей деятельности так откровенно, без всяких прикрас и без существенных умолчаний, как это делает Бэрнс в соответствии с заглавием своей книги. К тому же точности его рассказа способствовало еще то, что он владеет стенографией и многое — когда сам он не был активным участником переговоров — он тут же на месте записывал стенографически. А правдивость рассказа в особенности подтверждается тем, что Бэрнс отнюдь не старается показать себя более умным и дальновид-

ным, чем он был на самом деле. Можно только позавидовать историку, который, изучая политику Соединенных Штатов по отношению к России в 1945-1946 годах будет иметь в своем распоряжении такой первоклассный источник. Но с большой пользой прочтет книгу Бэрнса и каждый активный политик нашего времени.

Разочарованы книгой Бэрнса будут только те, кто будут искать в ней откровений, сенсационных разоблачений и совершенно неизвестных до сих пор фактов. Нового в этом смысле в книге почти что нет. Она, напротив, обнаруживает как мало было по существу секретного в американской внешней политике даже военного времени. Разве только некоторые важные факты становились известными с опозданием на несколько месяцев. Но за то было не мало легенд, кривотолков или противоречивых версий. В этом отношении книга Бэрнса призвана сыграть, так сказать, очищающую роль, устраняя много мусора, внесенного в освещение американско-советских отношений пылкой, а иногда и злонамеренной фантазией людей, распространявших информацию, в основном часто даже правильную. В других случаях, как в рассказе о советско-германских переговорах после заключения пакта до нападения Германии на Россию, Бэрнс рассказывает о фактах, уже ставших известными, но, пользуясь имевшимися в его распоряжении документами, уточняет прежние версии и дополняет их некоторыми очень характерными деталями. Так теперь является уже несомненным, что в ноябре 1940 года Москва готова была примкнуть, как четвертый партнер к «треугольнику» Берлин-Рим-Токио на следующих четырех условиях: 1) чтобы немецкие войска немедленно оставили Финляндию; 2) чтобы советская безопасность в Дарданеллах была гарантирована договором о взаимном содействии между Советским Союзом и Болгарией, и установлением в проливах баз для советских сухопутных и морских сил; 3) чтобы были признаны советские притязания в области к югу от Баку и Батума в общем направлении на Иран и к Персидскому Заливу и 4) чтобы Япония отказалась от прав на угольные и нефтяные концессии на Северном Сахалине (стр. 290).

Бэрнс приступил к внешне-политической деятельности после долгого опыта в американской внутренней политике и как своего рода мастер в ведении переговоров и в тактических (внутренне-политических) маневрах. В известных пределах это — человек умный и уже во всяком случае очень ловкий и находчивый, к тому же неутомимый работник и, повидимому, способный администратор. Но прежний опыт ему скорее повредил, чем помог. Свою дипломатическую деятельность он начал, как сотрудник Рузвельта, а затем был его продолжателем, разделяя все иллюзии Рузвельта и проявляя прямотаки поразительную наивность, на преодоление которой понадоби-

лось много времени, обильного горькими разочарованиями. Впрочем, полностью от своей внешне-политической наивности Бэрнс еще не был свободен и когда он писал свою книгу (законченную 1-го июля 1947 года). Он и тогда все еще продолжал думать, что заключение пяти мирных договоров открыло дорогу для вывода оккупационных войск из значительной части Европы (что теоретически верно), и что когда эти войска уйдут, пять стран с населением в 80 миллионов будут иметь возможность выбрать себе правительства по своему желанию и будут сами определять свою судьбу (стр. 159). Бэрнс лишь медленно учился понимать методы советской дипломатии, а существа советской внешней политики он так и не понял. Он переживал одно разочарование за другим. В первых словах его книги постоянно повторяется одно и то же замечание: «Мы считали, что достигли соглашения, но потом оказалось, что этого не было, что советская сторона интерпретирует то, что было договорено, совсем иначе». Так было с вопросом о польском правительстве, об установлении демократии в «освобожденных странах», о германских репарациях — да чуть ли не со всеми вопросами. Бэрнс радовался, что ему удавалось сговориться, добившись от Молотова «уступок», а потом он убеждался, что в сущности никаких уступок не было, и что советская сторона получила все, что она хотела. Читая такие места, я вспоминал свою первую поездку в Италию. Опытные люди предупреждали меня, что итальянцы всегда сильно запрашивают и что с ними надо энергично торговаться. Я принял этот совет к сведению и последовал ему в первый же день, когда я высадился на Капри. Извозчик запросил с меня 30 лир. Я твердо ответил: 10. После некоторого времени мы сговорились на 15 лирах, и я был очень рад проявленным мною умением торговаться. Но на следующий день я узнал, что по таксе я должен был заплатить всего 4 лиры... Постепенно Бэрнс убедился в том, что советская сторона часто предъявляет новые требования, о принятии которых она всерьез и не думает, чтобы иметь возможность «уступить», на самом деле ни от чего не отказываясь. И все же главная беда была не в непонимании приема советской дипломатии, а в том диллетантизме и часто просто невежестве, с которыми с американской стороны подходили к основным международным проблемам, вытекавшим из участия Советской России в мировой войне. Не было понимания ни советской системы вообще, ни целей советской внешней политики. Было представление, что советское правительство хочет того же, что и союзные демократии — безопасности против германской угрозы, освобождения подпавших под германское иго стран, прочного мира, международного сотрудничества. Все такие иллюзии оказались постепенно разбитыми. Бэрнс заговорил о «терпении и твердости» — проявляя однако сначала

гораздо больше терпения, чем твердости. Постепенно он становился все более пессимистичным, и теперь он уже видит опасность новой войны. Конечно, неверно, будто бы он к ней призывает. Его мысль искренне направлена на то, какими средствами можно ее предотвратить. Он считает необходимым оказывать «твердое сопротивление» всякой агрессии. Органом этого сопротивления должны быть Объединенные Нации, которые должны заявить о своей решимости защищать угрожаемые государства. Нужно неустанно призывать руководителей советской политики к сотрудничеству, но нужно и быть готовым на случай непримиримого конфликта. Бэрнс продолжает верить, что можно совместными усилиями осуществить справедливый мир. Раньше он считал, что для этого нужны «терпение и твердость», теперь он переставил слова: «твердость и терпение (стр. 316). В главе, посвященной целям советской внешней политики (What are the Russians After?), Бэрнс правильно замечает, что лишь немногие американцы хорошо знают русскую историю, и признается, что он к этим исключениям не принадлежит. Тем не менее он думает, что узнал достаточно, чтобы прийти к заключению, что цели большевистской дипломатии очень мало отличаются от целей дипломатии царской. В подтверждение он цитирует то, что Карл Маркс в 1853 году писал о русской завевательной политике (стр. 282). Это сближение является теперь очень модным и все чаще приводит к очень опасному заблуждению — что в с я к а я Россия так же опасна, как Россия сталинская. Конечно, сходство между царской и советской политикой экспансии существует, что является следствием... географии. Так как Россия — держава прежде всего сухопутная, а не морская, то ее империализм неизбежно должен направляться против смежных областей, которые остаются теми же самыми. Но советский империализм не ограничивается этой «естественной» сферой, а как бы перескакивая ее, посредством своих пятых колонн прокладывает себе пути буквально по всему миру. Его экспансия, это — осуществление мировой революции согласно теперешней большевистской ее концепции. И это отличие советского империализма от империализма царской России является основным. А раз такое различие существует и если цели в действительности чрезвычайно различны, то нельзя заключать что империализм должен быть присущ и России, вставшей на путь демократического развития.

Ю. П. Денике.

GEORGE S. COUNTS and NUCIA P. LODGE (translators). *I Want to Be Like Stalin.* New York, The John Day Co., 1947, 150 pages.

MAURICE J. SHORE. *Soviet Education: Its Psychology and Philosophy.* New York, Philosophical Library, 1947. XXII. 346 pages. $4.75.

Из вышедшего в 1946 году в советской России учебника по педагогике проф. Каунтс, с помощью г-жи Лодж, русской по происхождению, выбрал несколько глав, снабдил их довольно толковым введением и выпустил продукт на рынок под несколько сенсационным и не совсем оправданным заглавием: «Хочу быть подобным Сталину». Переведенные главы представляют значительный интерес. Они, во-первых, позволяют судить о том, какой фонд мыслей, по воле властителей России, передается в школах молодому поколению. Мысли эти явно продолжают линию, сложившуюся за предвоенные и военные годы; это так сказать равнодействующая между «любовью к отечеству и народной гордостью» доброго старого времени и не знающей никаких границ личной преданности Сталину, с малым сравнительно числом элементов чисто марксистского происхождения. Обращают на себя внимание превознесение великорусского народа, как первого среди советских народов, подчеркивание родительского авторитета и почитания старших и настойчивое внедрение ненависти к врагам, внешним и внутренним; эта ненависть, объясняется в учебнике, нисколько не противоречит советскому гуманизму, так как направлена к защите трудящихся от хищников. Во-вторых, переведенный материал свидетельствует о довольно низком интеллектуальном уровне советских педагогов — авторы усиленно разжевывают самые элементарные соображения и приемы. В-третьих, переведенные главы дают интересные сведения о строе современной советской школы. Даются очень детальные правила о выставлении отметок по поведению, от пятерки до двойки, и подробно разработанный дисциплинарный кодекс, т. е. правила о применении разных наказаний, от замечания до исключения из школы; вопрос о том, практикуется ли исключение с «волчьим билетом», остается открытым, но есть любопытное упоминание о практике, хотя и неодобряемой, вызова в школу родителей, которые, говорится, нередко подвергают непокорных детей телесному наказанию.

Серыми буднями, возродившейся деляновщиной, веет со страниц новейшего советского учебника педагогики. При таких условиях как-то странно говорить о философии советского воспитания — но только что вышла и такому вопросу посвященная книга, написанная г. Шор. Правда, как сообщает автор в предисловии, книга в основном

была написана в 1937 году, но затем была дополнена на основании материалов, поступивших по окончании войны. В противоположность выше рассмотренной книге, эта крайне бестолкова. Автор весьма подробно изучает возникновение у Маркса идеи политехнического образования, соединяющего сообщение элементарных знаний с подлинной промышленной работой. Затем он останавливается на восприятии идеи Лениным и на воплощении ее в партийных программах, но совешенно теряется в попытках изобразить применение идеи на практике; в его рассказе есть почти невероятное упущение: читатель ничего не узнает о том, что в 1923-1931 годах делались настойчивые, хотя и калейдоскопически менявшиеся попытки перестроить советскую школу на началах «прогрессивного образования», с планом Дальтона во главе. Автор повествует о бесславном конце педологии, ничего не рассказав о ее начале; под конец книги он явно скорбит о том, что и в настоящее время отношение к педологии остается резко враждебным. Наиболее ценной частью книги являются главы, посвященные обзору, скорее перечислению, новейших школьных мероприятий; они по большей части усиливают дисциплинарную тенденцию, возобладавшую с 1934 года. Интересно сообщение о введении в 1947 году обязательного преподавания в старшем классе десятилетки логики и психологии, а также «основ дарвинизма».

Н. С. Тимашев.

Н. БЕРДЯЕВ. Русская идея (основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века). YMCA-Press. Париж, 1946. 259 стр.

Задачей новой книги Н. Бердяева является «определение русского национального типа». По справедливому указанию автора, «строго научное» определение народной индивидуальности дать невозможно. Но и соглашаясь с этим, можно всетаки усомниться в законности того радикального решения методологической проблемы, которое было принято Н. Бердяевым. «Меня — говорит он — будет интересовать не столько вопрос о том, чем эмпирически была Россия, сколько вопрос о том, что замыслил Творец о России, умопостигаемый образ русского народа, его идея». Автор заранее отводит упреки со стороны «историков-позитивистов», что для характеристики русского народа он выбирает «немногое и исключительное». Он настаивает на том, что «умопостигаемый образ народа можно начертать лишь путем выбора», в котором решающая роль принадлежит интуиции.

Не надо, однако, быть позитивистом для того, чтобы поставить ряд вопросов, связанных с методом и выводами Н. Бердяева. Верно, конечно, что русский национальный тип, как впрочем и национальный тип всякого народа, строго научному определению не поддается и что во всякой народной индивидуальности есть что-то «непостижимое до конца». Но полного разрыва между эмпирической жизнью народа и его «умопостигаемой» сущностью все-таки быть не может, и интуиция исследователя, пытающегося проникнуть в «последнюю глубину» народной индивидуальности, должна находиться в каком-то соответствии с тем, что может быть установлено путем изучения конкретных исторических фактов. Казалось бы, что и с точки зрения самого Н. Бердяева, «замысел Творца о России» должен как-то обнаруживаться в исторической жизни русского народа. За авторской интуицией нельзя признать, поэтому, права на полную, ничем неограниченную свободу. Интуиция эта не должна быть произвольной в выборе фактов и она должна быть исторически правдоподобной в своих выводах.

Этой-то правдоподобности я и не нахожу в книге Н. Бердяева. Он сам настойчиво подчеркивает разрыв между «умопостигаемым образом русского народа» и его историческими судьбами, между «русской идеей» и ее воплощением. Так, одним из основных элементов «русской идеи» автор считает мессианизм. «Мессианская идея — говорит он — проходит через всю русскую историю вплоть до коммунизма». И вот оказывается, что эмпирическая история России была сплошным извращением этой мессианской идеи, ее постоянным «духовным провалом». Извращение состояло в том, что Третий Рим представляли как проявление государственной мощи. Таким извращением идеи Третьего Рима были, по Н. Бердяеву, и Московское царство и Петербургская империя. Таким же извращением является и Третий Интернационал, то-есть Советская Россия. Получается своеобразный исторический парадокс, вызывающий в читателе невольное смущение: втечение пятисот лет «русская идея», по крайней мере в этом ее аспекте, воплощалась в истории как собственное свое извращение. Смущение увеличивается, когда в другом месте книги мы наталкиваемся на утверждение, что «огромность России провиденциальна и связана с идеей и призванием русского народа». Сомнителен уже исторический аргумент Н. Бердяева, согласно которому великая духовная культура может быть свойственна только «огромной стране и огромному народу» — вспомним древнюю Иудею, древнюю Грецию, Италию эпохи Ренессанса и Англию Шекспира. Но и помимо того остается непонятным, каким образом то, что сам автор признал империалистическим извращением русской мессианской идеи, вдруг оказывается провиденциальным условием ее осуще-

ствления и метафизическим ее свойством. В ряде конкретных случаев мы встречаемся в изложении Н. Бердяева с тем-же разрывом между идеей и ее воплощением: «коммюнотарность» русского народа «не прикреплена ни к каким экономическим формам»; в историческом русском православии «трудно найти хомяковскую соборность»; «правда» славянофилов не имеет ничего общего с действительной русской историей и т. п.

«Русский народ — говорит Н. Бердяев — есть в высшей степени поляризованный народ, он есть совмещение противоположностей». Эта характеристика дает автору возможность объединять под общим знаком «русской идеи» самые разнообразные и подчас взаимно враждебные идейные и духовные течения. Так, славянофилам, Достоевскому, Толстому, религиозным мыслителям начала XX века, с одной стороны, нигилистам и социалистам, с другой, одинаково присуща «устремленность к бесконечному» — в последнем случае, правда, не в сознательных идеях, а «в более глубоком слое». «Русскими» являются повидимому только крайности, тогда как срединные течения «русской идеи» никак не выражают. Отсюда пренебрежительное отношение Н. Бердяева к «бесцветному» либеральному западничеству. Отсюда же разделение Владимира Соловьева на «ночного (мистика и эсхатология) и «дневного» («синтезирующая примирительность» и рационализм), из которых повидимому только первый выражает «русскую идею». Но из такой концепции «русской идеи» в сущности выпадает Пушкин. Показательно, что в этой своей книге Н. Бердяев говорит о Пушкине лишь вкратце, при характеристике александровской эпохи. Правда, он видит в Пушкине представителя «русского универсализма, определившего характер века». Но очевидно, что при всем желании в Пушкине нельзя найти другие основные элементы «русской идеи» — поляризованность, мессианизм, эсхатологичность (на последней Н. Бердяев особенно настаивает: русский народ — «народ конца»; русские — «апокалиптики или нигилисты»). Сам же автор говорит, что в Пушкине было «что-то ренессансное» — черта, в его толковании, прямо противоположная писхологии «конца». Ни «апокалиптиком» ни «нигилистом» Пушкин явно не был. Но тогда в каком-же отношении стоит он к «русской идее»? Когда-то, в дореволюционной своей книге о Хомякове, Н. Бердяев говорил о Пушкине, как о «великом явлении национального бытия, а не национального самосознания». Похоже, что он и сейчас придерживается того-же разграничения. Если это так, то мы снова стоим лицом к лицу с удивительным историческим парадоксом: величайшее проявление русской национальной культуры оказывается в противоречии с глубинным существом русской народной индивидуальности.

Всякую индивидуальность, в том числе и национальную, легче

определить путем сравнения с другими индивидуальностями. Н. Бердяев широко пользуется этим методом, сравнивая русский народ с народами запада, но и здесь целый ряд его утверждений вызывает сомнения своей произвольностью. Почему, например, идея «братства людей и народов» есть специфически русская идея? И можно ли действительно утверждать, что искание нравственного смысла жизни свойственно только русским, тогда как западные люди пребывают «закованными в законническую цивилизацию»? Или что «величие и слава мира» являются для русских «соблазном и грехом», а для западных людей — «высшей ценностью»? Фактически неверны и такие более конкретные утверждения, как, например, то, что дарвинизм на западе остался только «биологической гипотезой», тогда как у русской интеллигенции он приобрел «догматический характер». Можно было бы привести многочисленные и яркие примеры «догматического» дарвинизма из истории западного мира, где одно время эта «дарвинова вера» играла очень большую роль, мало уступая такой же русской «вере» в напряженности. Точно также, когда Н. Бердяев говорит, что «слова буржуа, буржуазный в России носили порицательный характер в то время, как на западе эти слова означали почтенное общественное положение», он произвольно сбрасывает со счета всех западных противников «буржуазности», в числе которых были не одни социалисты, но и романтики, Бальзак, Флобер, Карляйль, Ницше, Ибсен и многие другие.

Книга Н. Бердяева, написанная с присущими ему блеском и воодушевлением, богата фактическим материалом и интересными мыслями, в ней можно найти яркие и часто проникновенные характеристики отдельных мыслителей и некоторых идейных течений, но основную ее задачу приходится признать невыполненной: ключа к «русской идее» она не дает и к пониманию «русского национального типа» нас не приближает.

М. Карпович.

ПОПРАВКИ:

В 16-й книге «Нового Журнала», в рассказе М. А. Алданова «Астролог», на стр. 39-й, стр. 14-ю снизу следует читать так: «Хотя о бегстве в Швейцарию больше не приходилось думать, профессор очень обрадовался. — В романе Г. Газданова «Призрак Александра Вольфа», на стр. 75, в строке 2-й сверху вместо «барышни» следует читать «барышники». — В романе Р. Б. Гуля «Конь рыжий», на стр. 137-й, в строке 10-й сверху вместо «половину» следует читать «половню». — В статье Г. П. Федотова, на стр. 169-й, строку 8-ю снизу следует читать так: «Тридцатилетие коммунизма и потом коммуно-фашизма оставило тяжелые раны на русской душе». — В рецензии М. М. Карповича, на стр. 302-й, в строке 11-й сверху, вместо «потокам» следует читать «истокам».

УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ «НОВОГО ЖУРНАЛА»

КНИГИ 1—17 (1942—1947) *)

1. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ (ПРОЗА И ПОЭЗИЯ):

Алданов, М. Астролог — 16 ; Грета — 1 ; Истоки — 4 ; 6 — 13 ; Командировка Тамарина — 2 ; Реквием — 3 ; Фельдмаршал — 1.

Антонова, Е. Стихи — 7, 13.

Бакунина, Е. Стихи — 11.

Балтрушайтис, Ю. Стихи — 12, 17.

Берберова, Н. Воскрешение Моцарта — 17.

Биск, А. Стихи — 4, 13.

Британ, И. Стихи — 3.

Бунин, И. В Париже — 1 ; Галя Ганская — 13 ; Генрих — 3 ; «Дубки» — 11 ; Ловчий — 14 ; Месть — 12 ; Натали — 2 ; Пароход «Саратов» — 11 ; Речной трактир — 11 ; Руся — 1 ; Таня — 4 ; Чистый понедельник — 10.

Варшавский, В. Первый бой — 14.

Веббер, Н. Стихи — 7.

Газданов, Г. Призрак Александра Вольфа — 16—17.

Голохвастов, Г. Святая могила — 9.

Гребенщиков, Г. В гостях у Полуяровых — 8 ; Страшнее смерти — 6.

Гребнев-Файнберг, Л. Стихи — 5.

Гумилев, Н. Стихи — 8.

Гуль, Р. Конь рыжий — 14—17.

Железнов, М. Стихи — 2, 5, 16.

Жигалова, О. Любовь к Ильюхе — 7 ; Полустанок Васьково — 10.

Зайцев, Б. Жуковский — 17 ; Путешествие Глеба — 12—15 ; Царь Давид — 11.

---

*) Произведения авторов помещены в алфавитном порядке названий. Цифры обозначают номера книг журнала.

Ильяшенко, В. Стихи — 17.
Иждина, К. Стихи — 7.
Калашников, Н. Не мир, но меч — 1 ; Скакун — 7.
Камышников, Л. Два портрета — 3.
Карелин, Ю. (П. Гарви) Стихи — 8.
Кнорринг, И. Стихи — 13.
Кодрянская, Н. Земля русская — 1 ; Мария Безрадостная — 5 ; Серафима — 10.
Крачковский, Д. Стихи — 15.
Кригер, М. Стихи — 17.
Кроткова, Х. Стихи — 6.
Крыленко, Е. Стихи — 5.
Кучеров, С. Стихи — 7.
Лахман, Г. Стихи — 14.
Лисицкая, А. Стихи — 14.
Макаев, И. В усадьбе — 10.
Набоков, В. Кн. С. М. Качурину — 15; Парижская поэма — 7 ; Русалка — 2 ; Слава — 3 ; Стихи — 10 ; Ultima Thule — 1.
Опалов, Л. Стихи — 2, 4, 6, 8.
Осоргин, М. Времена — 1—5 ; Субботний поезд — 6.
Остроумова, Т. Стихи — 1, 3, 5, 9, 10.
Прегель, С. Стихи — 1, 2, 4.
Рубисова, Е. Белая республика — 8 ; В Лувре — 10 ; Мерка масштаба — 5 ; Стихи — 11, 14.
Раевский, Г. Стихи — 11, 15.
Славина, К. Стихи — 2, 13.
Смоленский, В. Стихи — 16.
Сологуб, Ф. Стихи — 4.
Софиев, Ю. Стихи — 6.
Струве, Г. Стихи — 7, 11, 16.
Таубер, Е. Стихи — 15.
Терапиано, Ю. Стихи — 4, 5, 6, 11, 16.
Тимашева, Т. Стихи — 10, 13, 17.
Толстая, А. Предрассветный туман — 1—3.
Толстая, М. Стихи —1, 2, 4, 6.
Троцкая, З. Стихи — 13.
Успенская, К. Стихи — 4.
Федорова, Н. Мадам Бовари со станции Хинган — 3 ; Семья — 2 ; Талант — 5.
Франкфурт, Х. Стихи — 1.
Хаимсон, С. Стихи — 13.
Христианович, О. Там — 2.

Цетлин, М. Балакирев — 1 ; В зените («Борис Годунов») — 3 ; Глинка — 6 ; «Замерзание» Балакирева — 5; Конец Мусоргского — 4 ; Стасов и могучая кучка — 5 ; Стихи — 1, 3 ; Юный Мусоргский — 2.
Чехонин, М. Стихи — 16.
Шаховская, З. Стихи — 8.
Шувалова, Е. Стихи — 15.
Яблоновский, С. Стихи — 11, 13.
Яковлев, Г. Стихи — 13.
Яновский, В. Американский опыт — 12—15 ; На полпути — 9; Портативное бессмертие — 6.
Ян Рубан, А. Стихи — 14.
Яссен, И. Стихи — 11.

2. СТАТЬИ, ВОСПОМИНАНИЯ, ЗАМЕТКИ.*)

А. Второй фронт — 3 ; Три года войны — 3 ; Три месяца — 4; Рецензии — 2, 3.
Авксентьев, Н. Россия в войне — 1.
Авьерино, Н. А. Г. Рубинштейн — 14; Из моего прошлого — 7 ; Памяти А. И. Зилоти — 12.
Алданов, М. Памяти М. О. Цетлина — 11 ; Памяти П. Н. Милюкова — 5 ; С. В. Рахманинов — 5 ; Убийство Троцкого — 1; Рецензия — 8.
Александрова, В. Бунин — 12 ; Встреча с Европой — 15 ; Исторический роман в России — 8 ; Командиры Красной Армии — 6; Обзор советских журналов за 1943 год — 7 ; Первая военная зима в России — 4 ; Под прожектором войны — 5 ; По советским журналам — 9, 11 ; Проблема свободы в советской литературе — 2 ; Русский театр во время войны — 10 ; Советская молодежь 40-х годов — 13 ; Тридцатилетие советской литературы — 17 ; Рецензия — 15.
Альтшуллер, И. Воспоминания о Толстом — 2 ; Еще о Чехове — 4.

*) По недостатку места содержание рецензий не указывается.

Аронсон, Г. Англичане в Москве — 11 ; В советском тылу — 6 ; Московские зимы — 10 ; Отражения войны — 1, 4 ; Социализм в наши дни — 17 ; Эпизоды февральской революции — 14 ; Рецензия — 9.

Бабкин, Б. И. П. Павлов — 9 ; Политические взгляды И. П. Павлова — 12.

Бармин, А. Академия Генерального Штаба — 3.

Баулер, А. Воспоминания о Драгоманове — 8.

Берлин, П. Руссификация интернационализма — 12.

Бертенсон, С. На страже искусства старины — 6.

Бромберг, Я. Рецензии — 3, 7.

Букиник, М. Рассказ о художнике В. Э. Борисове-Мусатове — 9.

Вакар, Н. П. И. П. Демидов — 16 ; П. Н. Милюков в изгнании — 6 ; Христианская революция — 3 ; Эмиграция и советская власть — 10; Рецензии — 3, 11.

Васильев, А. Г. Л. Лозинский — 4.

В. Б. Из встреч и разговоров — 14.

Вейнбаум, М. Япония и Соединенные Штаты — 2.

Вельмин, А. Русское население в Польше во время оккупации — 14.

Вернадский, Г. Предисловие к «Воспоминаниям о Драгоманове» А. Баулер — 8 ; Рецензия — 9.

Винавер, Р. Вожди кадетской партии — 10.

Вишняк, М. Американские затруднения — 6 ; Владислав Ходасевич — 7 ; Вышинский — 17 ; Из 30-летнего далека — 15 ; Международный билль о правах человека — 9 ; На родине. На чужбине — 5 ; О советской цивилизации — 8 ; Правда анти-большевизма — 2 ; Проблема организации мира (ответ А. В. Гальперину) — 2 ; Россия, Европа и мир после войны — 1 ; Сан-Францискская хартия — 11 ; Соблазн патриотизма — 13 ; Эмиграция и советская власть — 10 ; Рецензии — 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16.

Войтинский, В. После победы — 7.

Галич, Л. Реализм Достоевского — 13.

Гальперин, А. Мир после войны — 2.

Г—ер, А. Рецензии — 7, 11, 14.
Гессен, И. Из воспоминаний — 5.
Гиевский, Н. Из театральных воспоминаний — 10.
Гинс, Г. Мир перестраивается — 3 ; Россия и Америка — 8.
Гольденвейзер, А. Президентские выборы — 9 ; Три программы американской внешней политики — 6.
Гребенщиков, Г. В просторах Америки — 4—5.
Грегуар, А. Византиноведение в Сов. России — 12.
Гречанинов, А. «Добрыня Никитич» — 5 ; С. И. Танеев — 3.
Гурвич, Г. М. А. Осоргин — 4 ; Памяти А. М. Кулишера — 2.
Далин, Д. Как Россия оборонялась — 14 ; Коминтерн в войне — 1 ; Красная Армия — 4 ; Советская сфера безопасности — 6 ; Рецензия — 7.
Д. Д. Рецензия — 5.
Денике, Ю. Гамлет 1947 — 15; Гитлеровская война — 3 ; Защита цивилизации — 12 ; Можно ли спасти Европу? — 2 ; Размышления о власти — 5 ; Революция без Термидора — 7 ; Что будет с Францией? — 9 ; Эмиграция и советская власть — 10 ; Рецензии — 3, 4, 17.
Дерюжинский, Г. В Академии Художеств — 13.
Добужинский, М. Встречи с писателями и поэтами — 11 ; Новгород — 15 ; Круг «Мира Искусства» — 3 ; О творчестве Фокина — 6 ; О Художественном Театре — 5.
Зайцев, Б. М. О. Цейтлин — 14.
Зак, А. Америка после войны — 9 ; Действительность и возможности в русско-американских экономических отношениях — 16.
Зензинов, В. В. Л. Бурцев — 4 ; И. А. Бунин — 3 ; По советским журналам — 8, 10 ; Трифоно-Печенгский монастырь — 1 ; Рецензии — 3, 10, 14, 16.
Иванов, Б. Советский строй и мы — 13.
Иванович, С. За что кровь проливаем? — 4 ; Кризис социалистического сознания — 1.

Игнатьев, гр. П. Совет министров в 1915-1916 г.г. — 8—9.
Ижболдин, Б. Памяти М. В. Бернацкого — 17 ; П. Б. Струве как экономист — 9.
Извольская, Е. Духовный фронт французского сопротивления — 10 ; После катастрофы — 2 ; «Третий час» (письмо в редакцию) — 15 ; Рецензии — 5, 10.
Ипатьев, В. Наука в современной России — 5 ; Воспоминание о Горьком — 3.
Карпович, М. Америка, Россия и Европа — 16 ; Генерал Деникин — 17 ; И. В. Гессен — 6 ; О смысле международного кризиса — 14; Памяти Н. Д. Авксентьева — 5 ; Памяти гр. П. Н. Игнатьева — 11 ; П. Н. Милюков как историк — 6; После победы — 10 ; Рецензии — 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17.
Керенский, А. Два Октября — 17 ; Накануне Версаля — 11 ; О границах и прочем — 7 ; О революции 1917 года — 15 ; Передышка — 1; П. Н. Милюков — 5.
Коварская, В. Выставки в Нью-Йорке — 1, 2, 4 ; Гибель и реставрация исторических памятников России — 11 ; И. Я. Билибин — 11 ; Искусство индейцев Северной Америки — 17 ; Искусство на островах Океании — 13 ; О течениях в американской живописи — 3 ; Пути живописи в современной России — 15 ; Русские успехи на фронте искусства — 6 ; Художественные заметки — 5, 7, 9 ; Художники «Мира Искусства» в Америке — 10 ; Юбилеи и выставки — 8 ; Рецензии — 7, 8.
Комаров, С. Рецензия — 10.
Коновалов, А. Эмиграция и советская власть — 11.
Коряков, М. В советском посольстве — 17 ; Костел Панны Марии — 16 ; Панихида — 15.
Кроткова, Х. Рецензия — 5.
Л. Рецензия — 1.
Лазерсон М. Рецензия — 3.
Ледницкий, В. «Польская поэма» Блока — 2-3.
Либерман, С. Народный Комиссар Красин — 7.

Лурье, А. Линии эволюции русской музыки — 9 ; О Шостаковиче — 4.

М. А. В. Н. Фигнер — 3 ; Д. С. Мережковский — 2.

М. В. Рецензия — 1.

Маклаков, В. Канун революции — 14 ; Перед Второй Думой — 12 ; Ф. И. Родичев и А. Р. Ледницкий — 16.

Мансветов, В. О советской художественной прозе — 1.

Мельгунов, С. Осада Зимнего Дворца — 17; Рыцарь свободы (декабрист Лунин) — 13-14; Эмиграция и советская власть — 11.

Милюков, П. Положение накануне войны — 6.

М. К. Послевоенные проблемы — 9 ; Россия и ее западные союзники — 7 ; Заключительный период войны — 8 ; Рецензии — 3, 10, 12, 15.

М. Ц. Власть и война — 8.

Н. В. П. Академик А. Е. Чичибабин — 12.

Николаевский, Б. Внешняя политика Москвы — 1, 3—4 ; Герценоведение в Советской России — 10 ; « Завашу и нашу вольность» — 7 ; Как Япония пришла к войне — 11 — 12; П. А. Гарви-Бронштейн — 8; Памяти С. О. Португейса (Ст. Ивановича) — 8 ; П. Б. Струве — 10 ; Революция в Китае, Япония и Сталин — 6-8 ; Смещение фельдмаршала фон-Браухича — 2 ; Советская каторга на Колыме — 15 ; Советско-японское соглашение 1925 года — 5.

Новиков, В. Встреча с советскими подданными — 12.

Н—ский, Б. Рецензии — 5, 13.

Оболенский, В. Памяти П. П. Юренева — 12.

Панина, С. Памяти д-ра И. Н. Альтшуллера — 6.

Поляков-Литовцев, С. Действительность и перспективы (ответ Г. П. Федотову) — 1 ; Залман Шнеур 4 ; Мелодии еврейского быта — 9.

Рашевский, Н. В. И. Вернадский — 10.

Редакция Франклин Д. Рузвельт — 10 ; Московская конференция — 6 ; От редакционной группы — 1 ; Памяти Л. Е. Эльяшева —

13 ; Памяти М. С. Кефали — 6 ; Памяти ушедших — 1 ; Эмиграция и советская власть — 10, 11 ; Юбилей Бунина — 12.

Робинзон, Я. Судьба европейских евреев — 4.

Сазонова, Ю. Владимир Соловьев — 10; Письма Райнер Мария Рильке — 5.

Седых, А. «Гидра», Керчь — 5 ; Памяти С. Л. Полякова-Литовцева — 11.

Соловейчик, С. О сепаратистах — 1 ; Пангерманизм — 3 ; Эмиграция и советская власть — 10 ; Рецензии — 2, 13, 14, 16.

Сорокин, П. Причины войны и условия мира — 7.

Струве, Г. Неизданные стихи Гумилева — 8 ; Три судьбы (Блок, Гумилев, Сологуб) — — 16—17.

Татищев, Н. Поэт в изгнании (Борис Поплавский) — 15.

Тимашев, Н. Война и религия в Советской России — 5 ; Мысли о России — 10 ; Обречена ли Россия? — 17. О. Сергий Булгаков — 9 ; О целях войны — 6 ; Перестройка Советского Союза — 8 ; Плановое хозяйство и демократия — 13 ; После Москвы и Тегерана — 7 ; Противоречия во внешней политике СССР — 11 ; Сила и слабость России — 2 ; Три победителя или один? — 15 ; Рецензии — 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17.

Толстая, М. Рецензия — 2.

Федотов, Г. Загадки России — 5; Запад и СССР — 11 ; Ирина Кнорринг — 6 ; Как бороться с фашизмом — 6 ; Между двух войн — 14 ; Новое на старую тему (к современной постановке еврейского вопроса) — 1 ; Новое отечество — 4 ; Рождение свободы — 8 ; Россия и свобода — 10 ; Судьба империй — 16; Рецензии — 9, 14.

Федотов-Уайт, Д. Рецензии — 7, 10, 11, 17.

Флоринский, М. Рецензия — 13.

Франк, С. Ересь утопизма — 14.

Херасков, И. Ленинец середины прошлого века : Эрнест Кердеруа — 17 ; Общество благородных — 14.

Ходасевич, В. Письма к М. В. Вишняку — 7.
Ц. Война и мир — 5. За железным занавесом — 4; Рецензия — 9.
Цетлин, М. Восьмидесятые годы — 14; А. Н. Толстой — 10; К. Д. Бальмонт — 5; Н. А. Теффи — 6; Рецензии — 7, 8, 9.
Чернов, В. А. П. Чехов — 7; Два полюса духовного скитальчества — 5; Литературные мытарства Чехова — 10; Н. Д. Авксентьев в молодости — 5; Русский и немецкий антисемитизм — 2; Стихия скитальчества у корифеев русской литературы — 4; Чехов и Суворин — 11.
Чехов, М. Жизнь и встречи — 7—11; Мысли об искусстве актера — 2.
Шабле, М. В доме предварительного заключения Н. К. В. Д. — 16—17.
Шварц, С. «Большая Волга» — 13; Демографическое лицо России — 8; Ф. И. Дан — 15.
Шик, А. Гоголь в Ницце — 12.
Шуб, Д. Европа и германский вопрос — 1; Рецензии — 3, 4, 5.
Юрьевский, Е. О советской бюрократии (письмо в редакцию) — 11
Яблоновский, С. Качалов и Москвин — 17.
Ясный, Н. Ахиллесова пята колхозной системы — 14.
Яссер, И. Мысли об искусстве — 5; Прогрессивные тенденции в творчестве Рахманинова — 6.
N. Рецензии — 1, 2.
X. Рецензия — 2.
Y. Рецензия — 1.
Z. UNRRA — 8; Оставшиеся в Европе — 1; Россия в стане демократий — 3; Юбилей В. Н. Ипатьева — 4.

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Периодическое литературно-политическое издание

●

Цена одной книги 2 доллара 75 центов.

Цена трех книг 6 долларов 50 центов.

●

Адрес редакции и конторы:

Mrs. M. E. ZETLIN, 112 West 72nd Street,
New York 23, N. Y.

Telephone: ENdicott 2-9893
ENdicott 2-4800

Там же принимается подписка